

Лолита

Исповедь Светлокожего Вдовца

Посвящается моей жене

Предисловие

«Лолита. Исповедь Светлокожего Вдовца»: таково было двойное название[1], под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам «Гумберт Гумберт»[2] умер в тюрьме, от закупорки сердечной аорты, 16-го ноября 1952 г., за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэрэнс Кларк (в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому Окружному Суду), попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки «Лолиты» к печати. На решение г-на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд («Можно ли сочувствовать чувствам?»), в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения. Моё задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных опечаток да тщательного изытия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого «Г. Г.», ещё уцелели в тексте, как некие вехи и памятники (указатели мест и людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие — пощадить), можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора — его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска — сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза — должна была остаться на месте согласно желанию её носителя. Меж тем как «Гейз» всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, её первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить; впрочем (как читатель сам убедится), в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершённом «Г. Г.», в газетах за сентябрь—октябрь 1952 г.; его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы.

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой «живых образцов» за горизонтом «правдивой повести», могу привести некоторые указания, полученные от г-на «Виндмюллера» из «Рамздэля», который пожелал остаться неназванным, дабы «длинная тень прискорбной и грязной истории» не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь «Луиза» сейчас студентка-второкурсница. «Мона Даль» учится в университете в Париже. «Рита» недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена «Ричарда Скиллера» умерла от родов, разрешившись мёртвой девочкой, 25-го декабря 1952 г., в далёком северо-западном поселении Серой Звезде. Г-жа Вивиан Дамор-Блок[3] (Дамор — по сцене. Блок — по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая её вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах «Г. Г.», не сообщают, встаёт ли кто из могилы. Для читателя, рассматривающего «Лолиту» просто как роман, ситуации и эмоции, в нём описанные, остались бы раздражительно-неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всём произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения; скажу больше: здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в «Лолите». Если же, ради успокоения этого парадоксального ханжи, редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться «соблазнительными» (смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьёй Джоном Вульси[4], 6-го декабря 1933 г., по поводу другой, значительно более откровенной книги), пришлось бы вообще отказаться от напечатания «Лолиты», ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструктивно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует

и профессиональный порнограф; эрудит возразит, что страстная исповедь «Г. Г.» сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12% взрослых американцев мужского пола, — по скромному подсчёту, ежели верить д-ру Биянке Шварцман[5] (заимствую из частного сообщения), — проходит через тот особый опыт, который «Г. Г.» описывает с таким отчаянием, и что, пойдя наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Всё это так, — но ведь тогда не было бы этой книги.

Да простится сему комментатору, если он повторит ещё раз то, на чём он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что «неприличное» бывает зачастую равнозначуще «необычному». Великое произведение искусства всегда оригинально; оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. «шокировать». У меня нет никакого желания прославлять г-на «Г. Г.». Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нём соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощрённость. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору! Как описание клинического случая, «Лолита», несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через десять лет термин «нимфетка» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, «Лолита» далеко выходит за пределы покаянной исповеди; но гораздо более важным, чем её научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное её воздействие на серьёзного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк — все они не только красочные персонажи единственной в своём роде повести; они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах; они указывают на возможные бедствия. «Лолита» должна бы заставить нас всех — родителей, социальных работников, педагогов — с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надёжном мире.

Джон Рэй[6], д-р философии

Видворт, Массачусетс

5 августа 1955 года

## Часть I

### 1

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у неё были? Как же — были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далёкое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.

Уважаемые присяжные женского и мужеского пола! Экспонат Номер Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы — худо-осведомлённые, простодушные, благороднокрылые серафимы...

Полнобуйтесь-ка на этот клубок терний.

### 2

Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, лёгкостью нрава — и целым

винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полуавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных, глянцевиито-голубых открыток.

Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками (распределяйте сами). В тридцать лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и Эоловым арфам (распределяйте сами). Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне же было тогда всего три года, и, кроме какого-то тёплого тупика в темнейшем прошлом, у меня ничего от неё не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми — если вы ещё в силах выносить мой слог (пишу под надзором) — садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкаркой над какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках — глухая теплынь, золотистые мошки.

Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца — вскоре, впрочем, бросившим её, — жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денёк, он лежкомысленно воспользовался её чувством — да всё позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость — роковую суровость — некоторых её правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тётки Сибиллы были лазоревые, окаймлённые розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрёт — а именно когда мне исполнится шестнадцать лет — и так оно и случилось. Её муж, испытанный вояжёр от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрёл кое-какое имущество.

Я рос счастливым, здоровым ребёнком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских дней и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирана Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, *mon cher petit papa*[7], брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне Дон-Кихота и «*Les Misérables*»[8], и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц — ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слёзы над моим вполне весёлым безматеринством.

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома; там я играл в «ракетс» и «файвс» (ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами так и с наставниками. До тринадцати лет (т. е. до встречи с моей маленькой Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания определённо полового порядка: торжественный благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трёх измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «*La Beauté Humaine*»[9], который я тишко?м однажды извлёк из-под груди мрамористых томов Лондонского «*Graphic*» в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три зимы); но именно л е т о м того года отец мой, увы, отсутствовал — разъезжал по Италии вместе с *Mme de R*[10]. и её дочкой — так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.

Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения: в её случае — английского и голландского. В настоящее время я помню её черты куда менее отчётливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода: при одном — удаётся искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не

закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то: «медового оттенка кожа», «тоненькие руки», «подстриженные русые волосы», «длинные ресницы», «большой яркий рот»); при другом же — закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на тёмной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту).

Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Её родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тётки, были столь же, как тётя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалёку от «Мираны». Этого лысого, бурого господина Ли и толстую, напудренную госпожу Ли (рождённую Ванесса ван Несс) я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населённых миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас то же острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодающей азиатской стране; я мечтал быть знаменитым шпионом.

Внезапно мы оказались влюблёнными друг в дружку — безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно; я бы добавил — безнадежно, ибо наше неистовое стремление ко взаимному обладанию могло бы быть утлено только, если бы каждый из нас в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого; между тем мы даже не могли найти места, где бы совокупиться, как без труда находят дети трущоб. После одного неудавшегося ночного свидания у неё в саду (о чём в следующей главке) единственное, что нам было разрешено, в смысле встреч, — это лежать в досягаемости взрослых, зрительной, если не слуховой, на той части пляжа, где было всего больше народу. Там, на мягком песке, в нескольких шагах от старших, мы валялись всё утро в оцепенелом иступлении любовной муки и пользовались всяким благословенным изъяном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке: её рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась всё ближе, переставляя узкие загорелые пальцы, а затем её перламутровое колено отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие; иногда случайный вал, сооружённый другими детьми помоложе, служил нам прикрытием для беглого солёного поцелуя; эти несовершенные соприкосновения доводили наши здоровые и неопытные тела до такой степени раздражения, что даже прохлада голубой воды, под которой мы продолжали преследовать свою цель, не могла нас успокоить.

Среди сокровищ, потерянных мной в годы позднейших скитаний, была снятая моей тёткой маленькая фотография, запечатлевшая группу сидящих за столиком тротуарного кафе: Аннабеллу, её родителей и весьма степенного доктора Купера, хромого старика, который в то лето ухаживал за тётей Сибиллой. Аннабелла вышла не слишком хорошо, так как была схвачена в то мгновение, когда она собралась пригубить свой *chocolat glacé*[11], и только по худым голым плечам да пробору можно было узнать её (поскольку помню снимок) среди солнечной мути, в которую постепенно и невозвратно переходила её красота; я же, сидевший в профиль, несколько поодаль от других, вышел с какой-то драматической рельефностью: угрюмый густобровый мальчик в тёмной спортивной рубашке и белых хорошо сшитых шортах, положивший ногу на ногу и глядевший в сторону. Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединённое место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были обронённые кем-то тёмные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душёнкой, как внезапно двое бородатых купальщиков — морской дед и его братец — вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

4

Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и всё допытываюсь у самого себя, не оттуда ли, не из блеска ли того далёкого лета пошла трещина через всю мою жизнь. Или, может быть, острое моё увлечение этим ребёнком было лишь первым признаком врождённого извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую

способность возможностями безграничными, так что всякий представляющийся мне прошлый путь делится без конца на развилины в одуряюще сложной перспективе памяти. Я уверен всё же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы.

Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворённость того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на всё просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после её смерти я чувствовал, как её мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства. В июне одного и того же года (1919-го) к ней в дом и ко мне в дом, в двух несмежных странах, впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любила так!

Я приберёг к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных, тонколистных мимоз, позади виллы, мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещённых окон виллы — которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами (отчасти, может быть, потому, что неприятель играл там в бридж). Она вздрагивала и подёргивалась, пока я целовал её в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россыпь звёзд бледно горела над нами промеж силуэтов удлинённых листьев: эта отзывчивая бездна казалась столь же обнажённой, как была она под своим лёгким платьицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось её лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Её ноги, её прелестные оживлённые ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности — не то боль, не то наслаждение — появилось на её детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одиночку своей неге тянулась к моим губам, причём голова её склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а её голые колени ловили, сжимали мою кисть, и снова слабели. Её дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с лёгким придыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко тёрла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне питаться её раскрытыми устами, меж тем как я, великодушно готовый ей подарить всё — моё сердце, горло, внутренности, — давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти.

Помню запах какой-то пудры — которую она, кажется, крапа у испанской горничной матери — сладковатый, дешёвый, мускусный душок; он сливался с её собственным бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краёв; неожиданная суматоха под ближним кустом помешала им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведённому, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавший дочь с дико нарастающими перекатами, и доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но эта мимозовая заросль, туман звёзд, озноб, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной, и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно — покуда наконец двадцать четыре года спустя я не рассеял наваждения, воскресив её в другой.

5

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя метель употреблённых бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вьются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору — такое томление); и я перешёл на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришёлся мне в пору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафе «Des Deux Magots»[12]. Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии — на Элиота, например:

Пускай фрейляйн фон Кульп, ещё держась за скобку двери, обернётся... Нет, Не двинусь ни за нею, ни за Фреской. Ни за той чайкой... Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к

Бенджамину Бейли», вызвала одобрительные ухмылки у шести-семи учёных, прочитавших её. Я пустился писать «Краткую историю английской поэзии» для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашёл службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слипшимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9—14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором водятся эти мои нимфетки и который окружён широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки — нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвящённые, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовётся вульгарностью в той или другой среде) не исключает непременно присутствия тех таинственных черт — той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, — которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова заморожённого времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых или просто «миленьких», или даже «смазливых», но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в чёрных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или гёрль-скаутов, он не всегда ткнёт в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ёжиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам — по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и ещё по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слёзы нежности — маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них, неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти.

И ещё: ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок — и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением преодолевает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной улады. «Когда я был ребёнком и она ребёнком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренёк и выжил; но отравка осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак, немудрёно, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Во вне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из

естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплён. Я чувал присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот, ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как мечта и мачта». Всё это я теперь рационализирую, но в двадцать — двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мною овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психологи манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сёстры Аннабеллы, её наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства. Иногда же я говорил себе, что всё зависит от точки зрения и что, в сущности, ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-ем году) о Детях и Молодых Особах, термин «гёрль-чайльд» (т. е. девочка) определяется, как «лицо женского пола, имеющее от роду свыше восьми и меньше четырнадцати лет» (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как «молодую особу»). С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетсе; термин «уэйуард чайльд» (непутёвое дитя) относится технически к девочке между семью и семнадцатью годами, которая «общается с порочными и безнравственными лицами». Хью Броутон, полемический писатель времён Джемса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Всё это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком — но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот ещё картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) «нимфетку в тоне пел одним», хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из ещё несозревших дочек короля Ахнатена и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких — нильских, бритоголовых, голеньких (ничего, кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трёх тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых принуждают сесть на фасцинии — кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожителство с детьми встречаются ещё довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими камнями, а было это в 1274-ом году, во Флоренции, на частном пиру, в весёлом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-Богу, старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребёнка, если была хотя бы отдалёнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребёнка-демона, «enfant charmante et fourbe»[13] — глаза с поволокой, яркие губы, десять лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на неё. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии груди рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак — это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек. Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я, бывало, воображал, сидя на твёрдой скамье в городском парке и притворяясь погружённым в мреющую книгу. Вокруг мирного эрудита свободно резвились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Как-то раз совершенная красotka в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооружённую ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька — и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как её русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на её икре, сиявшей так близко от моей

хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у неё под мышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона ночью, в освещённом окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении видение приобретало невероятно пряную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озарённый лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у отворённого окна в жаркой, влажной, безнадёжной летней ночи.

Скакание через верёвочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в чёрном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня — наглая ведьма — не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моём зацветающем парке, в моём мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

6

Кстати: я часто спрашивал себя, что случилось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решётчатом мире причин и следствий, не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей — и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не испортил ли я ей как-нибудь в её дальнейшей судьбе тем, что вовлёл её образ в своё тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брёл я как-то под вечер по оживлённой улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблукках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошёл к ней. Голова её едва доходила до моей нагрудной шерсти; личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились её длинные ресницы и жемчужно-серый *tailleur*[14], облегавший её юное тело, которое ещё хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмывом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному *fr?tillement*[15] её маленького ловкого зада. Я осведомился о её цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица — суцая птица!): «*Cent*»[16]. Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремлённых с такой высоты на её круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): «*Tant pis*»[17], — произнесла она, перемигнув, и сделала вид, что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или несвободен — унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой *petit cadeau*[18], и, как обычно, я спросил её имя (*Monique*) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это *dixhuit*[19] — чёткое чирикание с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей её компактного, как бы точёного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел её ручки и обратил её внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: «*Oui, ce n'est pas bien*»[20], — и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными тёмными волосами, светло-серым взором и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бёдра у неё были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «*Il ?tait malin, celui, qui a invent? ce truc!*?»[21], любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла. Я спросил, не даст ли она мне ещё одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретиться



меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда ещё никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: «Tu es bien gentil de dire ?а»[22], — а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно: ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в своё время нимфеткой!) захотела узнать, не стереть ли ей, *avant qu'on se couche*[23], слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать её. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой, и в ту ночь моё последнее впечатление от Моника и её длинных ресниц отзывает чем-то весёлым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей униженной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у неё был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжёлым Гумбертом, валившим следом за её узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: «Je vais m'acheter des bas!»[24] — и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «bas», произнесённом ею так сочно, что «а» чуть не превратилось в краткое бойкое «о».

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс и к тому же была сильно простужена. Заразившись от неё насморком, я отменил четвёртую встречу — да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грёзами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой — такой, какою она была в продолжение тех двух-трёх минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Моё недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые верно покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей Mlle Edith[25], которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме («Regardez-moi cette belle brune?»)[26] — уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня, будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать познакомить меня с лицом, которое «могло бы устроить дело». На другой день астматическая женщина, размалёванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и чёрными усами над лиловой губой, повела меня в своё собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев, дабы подчеркнуть качество своего лакомого, как розанчик, товара, театрально отпахнула занавеску, за которой обнаружилась половина, служившая по всем признакам спальней большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в тяжёлых чёрных косах, которая сидела на стуле и нарочито нянчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащённо лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моём решении уйти, потребовала «son argent»[27]. Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в тёмных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъярённая сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции — так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошёл к Марии (ибо таково было её звёздное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальне на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в её равнодушную руку. Она сдала мой дар экс-сыщику, и мне было разрешено удалиться.

Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы — но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и — как знать — будущий рост

некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне — если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца (ничего особенного — «Мирану» он давно продал) в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной, мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить тихо, но внушительно: я был, и ещё остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими тёмными волосами и как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспалённое, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищёлкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнет, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, «средним французом», охочим до разряженных дам, я легко бы нашёл между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые по существу сводились — как я слишком поздно понял — к жалкому компромису. И всё это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.

8

Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужно сублимированное *pot-au-feu*[28] и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии, это была её имперсонация маленькой девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, что раскусила мою тайну: таков был просто её собственный стиль — и я попался. На самом деле этой девочке было по крайней мере под тридцать (никогда я не мог установить её точный возраст, ибо даже её паспорт лгал), и она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению её памяти. Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъяном. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась ? *la gamine*[29], щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъёма ступни чёрным бархатом туфельки, и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встряхивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом.

После краткого обряда в ратуше я привёз её на новую квартиру и несколько удивил её тем, что до начала каких-либо нежностей заставил её переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараниями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх. Обелокуренный локон выявил свой чернявый корешок; пушок превратился в колючки на бритой голени; подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил своё мизерное сходство с соответствующей частью на заветном портрете её жабоподобной покойной матушки; и вскоре, вместо бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба.

Это положение длилось с 1935-го года по 1939-ый. Единственным достоинством Валерии была кротость, и как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке: две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром что не было белешей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров — она, углубившись в свой «*Paris Soir*»[30], я, работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К её пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды, крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила меня с ума; впрочем, с помощью Валерии, я всё же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили *pot-au-feu* и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом на *rue Bonaparte*[31], где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загромождённой витрине великолепный, цветистый — зелёный, красный, золотой и чернильно-синий — старинный американский эстамп, на котором

был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный, чёрный, искрами поблёскивающий дым к косматым её тучам.

В них что-то блеснуло. Летом 1939-го года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединённые Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встряске. И было ещё кое-что: молевые проединки появились в плюше супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась — выказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде раздражения, а это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я её уведомил, что мы скоро поплывём в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась. Была докучная возня с её документами. У неё оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимостью стояния в хвостах в префектуре и всякими другими неприятностями её вялое и неотзывчивое настроение, на которое никак не действовали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном, сером Париже.

Однажды утром (её бумаги были уже почти приведены в порядок) мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей болоночной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть? Она ответила (перевожу с её французского перевода какой-то славянской плоскости): «В моей жизни есть другой человек».

Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить её тут же на улице — как поступил бы честный мещанин — было нельзя. Годы затаённых страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели, и в этом сравнительном уединении спокойно предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство — о, не потому чтоб я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений, а тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами и моею судьбой. Я потребовал, чтоб она мне назвала любовника. Я повторил вопрос; но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной развестись. «*Mais qui est-ce?*»[32] заорал я наконец, кулаком хватив её по колену, и она, даже не поморщившись, уставилась на меня, точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофёра. Тот затормозил у небольшого кафе и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится ещё совсем ясно — коренастый русак, бывший полковник Белой Армии, пышноусый, остриженный ёжиком. (Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже.) Мы сели за столик, белогвардеец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить — в меня, скорее, чем со мной: в сей величественный сосуд она высыпала слова с безудержностью, которой я и не подозревал в ней, причём то и дело раздражалась залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное, и оно сделалось ещё абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные домыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидючи между ним и мной: подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев (при этом утраивая подбородок) передок блузки и так далее, а он между тем говорил о ней, не только как если бы её не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради её же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему; и хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как её диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. «Мне кажется», говорил он, «ей понравится Жан Кристоф[33] — как вы думаете?» О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.

Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк полковник галантно заявил, что охотно сам перенесёт их в свою машину. Вернувшись к исполнению должности, он повёз Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а

Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьёт Гумберт Гумберт — её, или её возлюбленного, или обоих, или никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокласснику, в ту пору моей жизни (я, кажется, об этой поре не упомянул, но это неважно), когда я лелеял мысль насладиться его маленькой сестрой (необыкновенно лучистой нимфеткой, с большим чёрным бантом) и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоила ли Валечка (как её называл полковник) того, чтобы быть пристреленной, задушенной или утопленной. У неё были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине.

Но этого не суждено было. Валечка — уже к этому времени проливавшая потоки слёз, окрашенные размазанной радугой её косметики — принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопающуюся картонку, — и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть её в круп было, конечно, неосуществимо, покамест проклятый полковник возился поблизости. Не то, чтобы он вёл себя нагло или что-нибудь в этом роде: напротив, он проявлял (как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили) деликатную старосветскую учтивость, причём сопровождал всякое своё движение неправильно произносимыми извинениями (же деманд пардон... эске же пуи... [34]) и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с верёвки над ванной; но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав свой к анатомии квартиры, читая мою газету в моём же кресле, развязывая узлы на верёвке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос (подарок её отца) и вынося на улицу её рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец оба они вышли из дрожавшей квартиры — вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ванную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколона; нет, не увезли; но я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевого пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающим в ней вымокшим тёмно-жёлтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, ничто иное, как русская мещанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского) подвинуло доброго полковника (Максимовича! — его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путём низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушённой струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я однако вовсе не боксёр, меж тем как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна. Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем отпразднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей (обронённой после того, что она хранила её три никому не нужных года в сломанной шкатулке), вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но всё равно: в должный срок я был отомщён. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рождённая Зборовская, умерла от родов в 1945-ом году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в Калифорнию; там, в продолжение целого года, за отличный оклад, они служили объектами опыта, производившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие (индивидуальные и расовые) реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих — тучную Валечку и её полковника, к тому времени поседевшего и тоже сильно потолстевшего, — прилежно ползающими по полированным полам, через ряд ярко освещённых помещений (в одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и т. д.), в обществе нескольких других наёмных четвероногих, набранных из бедствующих и беззащитных слоёв. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но по-видимому они ещё не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчёт будет иллюстрирован хорошими фотографиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода учёные труды. Та, которой я принуждён ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс (старое многотомное издание Дилингама, Нью-Йорк, MDCCCLXXXVII); есть и «Детская Энциклопедия» (в которой попадаются довольно милые фотографии солнечноволосяных гэрль-скаутов в трусиках), есть и детективный роман Агаты Кристи «Объявлено Убийство»; но, кроме того, есть такие пусячки, как «Бродяга в Италии» Перси Эльфинстона, автора «Снова

Венеция», Бостон, 1868, и сравнительно недавний (1946) «Who's Who in the Limelight»[35] — перечень актёров, режиссёров, драматургов и снимки статических сцен. Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награждён одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает.

Переписываю большую часть страницы:

Пим, Роланд. Родился в Лунди, Массачусетс, 1922. Получил сценическое образование в Эльсинорском Театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в «Прорвавшемся Солнце». Среди множества других пьес, в которых он играл, были: «В Соседнем Квартале», «Девушка в Зелёном», «Перетасованные Мужья», «Странный Гриб», «На волоске», «Джон Ловли», «Ты Сnilась Мне».

Куильти, Клэр. Американский драматург. Родился в Ошан Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский Университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом обратился к писанию пьес. Автор «Маленькой Нимфы», «Дамы, Любившей Молнию» (в сотрудничестве с Вивиан Дамор-Блок), «Тёмных Лет», «Странного Гриба», «Любви Отца» и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. «Маленькая Нимфа» (1940) выдержала турне в 14 000 миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения: полугоночные автомобили, фотография, домашние зверьки.

Квайн, Долорес. Родилась в 1882-ом году, в Дэйтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской Академии. Дебютировала в Оттаве, в 1900-ом году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904-ом году в «Не разговаривай с Чужими». С тех пор пропала в таких-то пьесах...

Какой беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви, даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки! Ведь может быть и она стала бы актрисой! Родилась в 1935-ом году, выступала (кстати вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка — но пожалуйста не поправляйте, уважаемый издатель) в «Убитом Драматурге». Квайн-Швайн. Убил ты Куилты. О, Лолита моя, всё что могу теперь, — это играть словами.

9

Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие, и мрак ещё одной Мировой Войны уже окутал земной шар, когда, после скучной зимы в Португалии, где я перенёс воспаление лёгких, я наконец достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой лёгкую службу: она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал её поверхностный характер и псевдолитературный налёт и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени, университет в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причём я редкий день трудился меньше пятнадцати часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделённым на просторный свет и узкую тень: свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотек; тень — к пытке желаний, к бессоннице — словом, к тому, о чём я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно, в пыльную жару, я высматривал — увы, всегда издали — нимфеток, играющих в Центральном Парке, и как мне были отвратительны декоративные, дезодоризованные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле всё старался меня прельстить. Опустим всё это. Гибельный упадок душевных сил привёл меня в санаторию на полтора года; я вернулся к работе — и вскоре опять занемог.

Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой тёмной бородкой, познакомил меня со своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве «наблюдателя за психическими реакциями». От времени до времени я делил (не очень, впрочем, успешно) с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон — которую вскоре услали на самолёте восвояси, о чём вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы проследиваем к его берлоге (где-то, повидимому, на Острове Принца Уэльского) блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулёзом и тундрой. Берт, фильмовой фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом (у него, как и у меня, были психические нелады) уверял, что «большие люди» в нашей экспедиции, настоящие её руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического

потепления на мех полярной лисы.

Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов — комплект «Reader's Digest»[36], мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окружённый унылой растительностью Арктики — мелким ивняком, лишайниками, — пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел, бывало, на круглом камне, под совершенно прозрачным небом (сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного) и чувствовал себя до странности отчуждённым от своего «я». Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с личиками морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос, возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.

Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за «психические реакции» (я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг фотограф). Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы: ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиoprogramмы, изменения в образе мыслей и так далее. Всем это так приелось, что я бросил — и только в конце моей двадцатимесячной «приполярной каторги» (как шутливо выразился один из ботаников) настроил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт; любопытный читатель найдёт его напечатанным в «Annals of Adult Psychophysics»[37] за 1945 или 1946 год, а также в выпуске «Arctic Explorations»[38], посвящённом нашей экспедиции — которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого отношения к медным залежам на Острове Виктории и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача, ибо настоящая цель экспедиции была, как говорится, «секретного» порядка, и посему позволю себе только добавить, что в чём бы цель ни была, она была полностью достигнута.

Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моём возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка (если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления). Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещие сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных «исконных сценах» родительского сожительства и не позволяя им даже отдалённо догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашёл, не без смеха, фишки, обзывавшие меня «потенциальным гомосексуалистом» и «абсолютным импотентом». Эта забава мне так нравилась, и действие её на меня было столь благотворным, что я остался лишним месяц после выздоровления (при чём чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я ещё прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из «перемещённых лиц», или Ди-Пи (от «Дементии Прекокс»), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.

10

По выходе из больницы, я решил приискать себе деревушку в Новой Англии, или какой-нибудь сонный городок (ильмы, белая церковь), где бы я мог провести литературное лето, пробавляясь коробом накопившихся у меня заметок и купаясь в ближнем озере. Работа над учебником стала увлекать меня снова, а участие в дядюшкиных посмертных благовониях я к тому времени уже свёл к минимуму.

Один из бывших его служащих, отпрыск почтенного рода, предложил мне поселиться на несколько месяцев в пригородном доме своих обедневших родственников по фамилии Мак-Ку, которые желали сдать верхний этаж, где до смерти своей чинно ютилась старая тётка. Он сказал, что у них две дочки, одна совсем маленькая, а другая двенадцати лет, и прекрасный сад недалеко от прекрасного озера, и я сказал, что всё это предвещает совершенно совершенное лето.

Мы обменялись письмами, и я убедил господина Мак-Ку, что не гажу в углах. Ночь в поезде была фантастическая: я старался представить себе со всеми возможными подробностями таинственную нимфетку, которую буду учить по-французски и ласкать по-гумбертски. Никто меня не встретил на игрушечном

вокзальчике, где я вышел со своим новым дорогим чемоданом, и никто не отозвался на телефонный звонок. Через некоторое время, однако, в единственную гостиницу зелёно-розового Рамздэля явился расстроенный, промокший Мак-Ку с известием, что его дом только что сгорел дотла — быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах. Мак-Ку объяснил, что его жена с дочками уехала на семейном автомобиле искать приюта на какой-то им принадлежавшей мызе, но что подруга жены, госпожа Гейз, прекрасная женщина, 342, Лоун Стрит, готова сдать мне комнату. Старуха, жившая как раз против госпожи Гейз, одолжила Мак-Ку свой лимузин, допотопную махину с прямоугольным верхом, которой управлял весёлый негр. Я же подумал про себя, что раз исчезла единственная причина моего приезда именно в Рамздэле, новое устройство, предложенное мне — просто бред. Какое было мне дело до того, что ему придётся отстроить заново дом — ведь, наверно же, всё было хорошо застраховано. Я чувствовал раздражение, разочарование и скуку, но будучи вежливым европейцем, не мог отказаться от того, чтобы быть отвезённым на Лоун Стрит в этом погрёбальном лимузине, да я, кроме того, чуял, что в противном случае Мак-Ку придумает какой-нибудь ещё более сложный способ распорядиться моей персоной. Я видел, как он засеменял прочь, и как мой шофёр покачал головой с лёгкой усмешкой. Во время пути я всё клялся себе, что не останусь в Рамздэле ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день в направлении Бермудских или Багамских или Чортовоматерных Островов. Ещё недавно по хребту у меня трепетом проходили некоторые сладостные возможности в связи с цветными снимками морских курортов, и по правде сказать, именно Мак-Ку резко отвлек меня от этих планов своим благонамеренным, но как теперь выяснилось, абсолютно несбыточным предложением.

Кстати насчёт резких отвлечений в сторону: мы едва не раздавили навязчивую пригородную собаку (из тех, что устраивают засады автомобилям), как только повернули на Лоун Стрит. Показался Гейзовский дом — досчатый, белёный, ужасный, потускневший от старости, скорее серый, чем белый — тот род жилья, в котором знаешь, что найдёшь вместо душа клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран. Я дал на чай шофёру и понадеялся, что он сразу отъедет, — это позволило бы мне незаметно спетлить обратно к гостинице, чтобы подобрать чемодан; но он попросту причалил к противоположному дому, с веранды которого старая мисс Визави окликнула его. Что мне было делать? Я нажал на дверную кнопку.

Чернокожая горничная впустила меня и оставила стоять на половике, покамест мчалась назад на кухню, где что-то горело или, вернее, подгорало.

Прихожую украшали гроздь дверных колокольчиков, белоглазое деревянное чудище мексиканского производства для туристов, и ван Гог («Арлезианка») — банальный баловень изысканной части буржуазного класса.

Справа, приотворённая дверь позволяла увидеть уголок гостиной с добавочным мексиканским вздором в стеклянном шкафу и полосатым диваном вдоль стены. Впереди, в глубине прихожей, была лестница, и пока я стоял, вытирая платком лоб (только теперь я отдал себе отчёт в том, какая жара была на дворе) и глядя на случайно подвернувшийся предмет — старый серый теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле, — донёсся с верхней площадки контральный голос госпожи Гейз, которая, перегнувшись через перила, мелодично спросила «Это мсье Гумберт?» В придачу оттуда упало немножко папиросного пепла. Затем сама дама (сандалии, тёмно-красные штаны, жёлтая шёлковая блузка, несколько прямоугольное лицо — в этом порядке) сошла по ступеням лестницы, всё ещё постукивая указательным пальцем по папиросе.

Я, пожалуй, тут же и опишу госпожу Гейз, чтобы разделаться с ней. Бедной этой даме было лет тридцать пять, у неё был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих. Похлопывая ладонью по бронзоватому шиньону на затылке, она повела меня в гостиную, где мы поговорили с минуту о сгоревшем доме Мак-Ку и преимуществах жизни в Рамздэле. Её широко расставленные аквамариновые глаза имели привычку окидывать всего собеседника, прилежно избегая только его собственных глаз. Её улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови; и пока она говорила, она как бы развёртывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трёх пепельниц и камина (в котором лежала коричневая сердцевина яблока); после чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу. Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут; женщин, совершенно лишённых чувства юмора, женщин, в сущности вполне равнодушных к десяти-двенадцати знакомым им темам салонного разговора, но при этом весьма привередливых в отношении разговорных правил, сквозь солнечный целлофан коих ясно проступают затаённые, подавленные и не очень аппетитные вещи. Я вполне понимал, что ежели по какому-либо невероятному

стечению обстоятельств оказался бы её жильцом, она бы методически принялась делать из меня то, что ей представлялось под словом «жилец», и я был бы вовлечён в одну из тех скучных любовных историй, которые мне были так знакомы.

Впрочем, никакой не могло быть речи о том, чтобы мне тут поселиться. Я не думал, что мог бы жить счастливо в доме, где на каждом стуле валяется истрёпанный журнальчик и где гнусно смешивается комедия «функциональной» современной мебели с трагедией ветхих качалок и шатких столиков с мёртвыми лампами на них. Мадам повела меня наверх и налево, в «мою» комнату. Я осмотрел её сквозь туман моего отказа от неё, но несмотря на эту туманность, заметил над «моей» постелью репродукцию «Крейцеровой Сонаты» Ренэ Принэ. И эту-то конуру для прислуги она называла «полустудией»! Вон отсюда, немедленно вон, мысленно кричал я себе, притворяясь, что обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой хозяйка просила за полный пансион.

Старосветская учтивость заставляла меня, однако, длить пытку. Мы перешли через площадку лестницы на правую сторону дома («Тут живу я, а тут живёт Ло» — вероятно горничная, подумал я), и квартирант-любовник едва мог скрыть содрогание, когда ему, весьма утончённому мужчине, было дано заранее узреть единственную в доме ванную — закут (между площадкой и комнатой уже упомянутой Ло), в котором бесформенные, мокрые вещи нависали над сомнительной ванной, отмеченной вопросительным знаком оставшегося в ней волоска; и тут-то и встретили меня предвиденные мной извивы резиновой змеи и другой, чем-то сродный ей, предмет: мохнато-розовая попонка, жеманно покрывавшая доску клозета.

«Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное», сказала моя дама, уронив на миг руку ко мне на рукав. В ней сочеталась хладнокровная предприимчивость (переизбыток того, что называется, кажется, «спокойной грацией») с какой-то застенчивостью и печалью, из-за чего особая тщательность, с которой она выбирала слова, казалась столь же неестественной, как интонации преподавателя дикции. «Мой дом не очень опрятен, признаюсь», продолжала милая обречённая бедняжка, «но я вас уверяю (глаза её скользнули по моим губам), вам здесь будет хорошо, очень даже хорошо. Давайте-ка я ещё Покажу вам столовую и сад» (последнее произнесено было живее, точно она заманчиво взмахнула голосом).

Я неохотно последовал за ней опять в нижний этаж; прошли через прихожую и через кухню, находившуюся на правой стороне дома, на той же стороне, где были столовая и гостиная (между тем как слева от прихожей, под «моей» комнатой ничего не было кроме гаража). На кухне плотная молодая негритянка проговорила, снимая свою большую глянцеvито-чёрную сумку с ручки двери, ведшей на заднее крыльцо: «Я теперь пойду, миссис Гейз». «Хорошо, Луиза», со вздохом ответила та. «Я заплачу вам в пятницу». Мы прошли через небольшое помещение для посуды и хлеба и очутились в столовой, смежной с гостиной, которой мы недавно любовались. Я заметил белый носок на полу. Недовольно крякнув, госпожа Гейз нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф. Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посерединке, ничего не содержащей, кроме одной, ещё блестящей, сливовой косточки. Между тем я нащупал в кармане расписание поездов и незаметно его выудил, чтобы как только будет возможно, ознакомиться с ним. Я всё ещё шёл следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце её вспыхнула зелень. «Вот и веранда», пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх тёмных очков.

Это было то же дитя — те же тонкие, медового оттенка плечи, та же шелковистая, гибкая, обнажённая спина, та же русая шапка волос. Чёрный в белую горошинку платок, повязанный вокруг её торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз — но не от взора молодой памяти — полуразвитую грудь, которую я так ласкал в тот бессмертный день. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы (потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые её нагота улыбается королю и её гончим), я узнал тёмно-коричневое родимое пятнышко у неё на боку. Со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна) я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились, и эти мальчишеские бёдра, на которых я целовал зубчатый отпечаток от пояса трусиков — в тот безумный, бессмертный день у Розовых Скал. Четверть века с тех пор прожитая мной сузилась, образовала трепещущее остриё и исчезла.

Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания. В тот солнцем пронизанный миг, за который мой взгляд успел оползти коленопреклонённую девочку (моргавшую поверх строгих тёмных очков — о, маленький Herr Doktor[39], которому было суждено вылечить меня ото всех болей), пока я шёл мимо неё под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца,



героя экрана), пустота моей души успела вобрать все подробности её яркой прелести и сравнить их с чертами моей умершей невесты. Позже, разумеется, она, эта nova[40], эта Лолита, моя Лолита, должна была полностью затмить свой прототип. Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской веранде было только следствием того «княжества у моря» в моём страдальческом отрочестве. Всё, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости. Всё, что было общего между этими двумя существами, делало их единым для меня.

У меня, впрочем, никаких нет иллюзий. Мои судьи усмотрят в вышесказанном лишь кривлянья сумасшедшего, попросту любящего le fruit vert[41]. В конце концов, мне это совершенно всё равно. Знаю только, что пока Гейзиха и я спускались по ступеням в затаивший дыхание сад, колени у меня были, как отражение колен в зыбкой воде, а губы были как песок.

«Это была моя Ло», произнесла она, «а вот мои лилии».

«Да», сказал я, «да. Они дивные, дивные, дивные».

11

Экспонат номер два — записная книжечка в чёрном переплёте из искусственной кожи, с тиснёным золотым годом (1947) лесенкой в верхнем левом углу. Описываю это аккуратное изделие фирмы Бланк, Бланктон, Массач., как если бы оно вправду лежало передо мной. На самом же деле, оно было уничтожено пять лет тому назад, и то, что мы ныне рассматриваем (благодаря любезности Мнемозины, запечатлевшей его) — только мгновенное воплощение, щуплый выпадъш из гнезда Феникса.

Отчётливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, что писал я его дважды. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками; всё это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в чёрную книжечку.

Тридцатое число мая официально объявлено Днём Постным в Нью-Гампшире, но в Каролинах, например, это не так. В 1947 году в этот день из-за поветрия так называемой «желудочной инфлюэнцы» рамздэльская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом, и дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя (вроде того как шпион передаёт наизусть содержание им проглоченного донесения), покрывает большую часть июня. Мои замечания насчёт погоды читатель может проверить в номерах местной газеты за 1947 год.

Четверг. Очень жарко. С удобного наблюдательного пункта (из окна ванной комнаты) увидел как Долорес снимает бельё с верёвки в яблочно-зелёном свете по ту сторону дома. Вышел, как бы прогуливаясь. Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов она дотрагивалась до самой тайной и чувствительной струны моей низменной плоти. Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между её ступнями — острые, острые камешки, — и в придачу к ним кручёный осколок молочной бутылки, похожий на губу грызущегося животного, и кидать ими в валяющуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь — что за дикая пытка — не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная и загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведёт к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Боже, какая пытка — этот атласистый отлив за виском, переходящий в ярко русые волосы! А эта косточка, вздрагивающая сбоку у запылённой лодыжки...

«Дочка мистера Мак-Ку? Дженни Мак-Ку? Ах — ужасная уродина! И подлая. И хромая. Чуть не умерла от полиомиелита».

Дзинк. Блестящая штриховка волосков вдоль руки ниже локтя. Когда она встала, чтобы внести в дом бельё, я издали проследил обожающим взглядом выцветшую сзади голубизну её закаченных штанов. Из середины поляны г-жа Гейз, вооружённая кодаком, преспокойно выросла, как фальшивое дерево факира, и после некоторых светотехнических хлопот — грустный взгляд вверх, довольный взгляд вниз — позволила себе снять сидящего на ступеньке смущённого Humbert le Bel.

Пятница. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Почему меня так чудовищно волнует детская — ведь попросту же детская — её походка? Разберёмся в этом. Чуть туповато ставимые носки. Какая-то разболтанность, продлённая до конца шага в движении ног понижее колен. Едва намеченное пошаркивание. И

всё это бесконечно молодо, бесконечно распутно. Гумберта Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки и её резкий высокий голос. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором через забор. Всё это отзывалось во мне дребезжащим восходящим ритмом. Пауза. «А теперь мне пора, детка». Суббота. (Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено.) Знаю, что писать этот дневник — безумие, но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие; да и кто же — кроме любящей жены — мог бы расшифровать мой микроскопический почерк? Позвольте же мне объявить со всхлипом, что нынче моя Л. принимала солнечную ванну на открытой веранде, но, увы, мать и какие-то другие дамы всё время витали поблизости. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная, сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности.

Воскресенье. Зыбь жары всё ещё с нами; благодатнейшая неделя! На этот раз я занял стратегическое положение, с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке, заблаговременно. Увы, она пришла вместе с матерью. Они были в чёрных купальных костюмах, состоящих из двух частей и таких же новеньких, как моя трубка. Моя душенька, моя голубка на минуту остановилась подле меня — ей хотелось получить страницы юмористического отдела, — и от неё веяло почти тем же что от другой, ривьерской, только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого — то был знойный душок, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила; но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты и отступила к своему половичку рядом с тюленеобразной маменькой. Там моя красота улеглась ничком, являя мне, несметным очам, широко разверстым у меня в зрячей крови, свои приподнятые лопатки, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, и выпуклости обтянутых чёрным узких ягодич, и пляжную изнанку отроческих ляжек. Третьеклассница молча наслаждалась зелёно-красно-синими сериями рисунков. Более прелестной нимфетки никогда не снилось зелёно-красно-синему Приапу. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света глядя на неё, собирая в фокус своё вождение и чуть покачиваясь под прикрытием газеты, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу застывшей, я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало с одним из разнообразных движений, которые читавшая девочка изредка делала, почёсывая себе хребет и показывая чуть подтушёванную подмышку, но толстая Гейз вдруг всё испортила тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить, после чего завела никчёмный разговор о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи.

Понедельник. *Delectatio morosa.*

«Я провожу томительные дни в хандре и грусти...» Мы (матушка Гейз, Долорес и я) должны были ехать после завтрака на Очковое озеро и там купаться и валяться на песке; но перламутровое утро выродилось в дождливый полдень, и Ло закатила сцену.

Установлено, что средний возраст полового созревания у девочек в Нью-Йорке и Чикаго — тринадцать лет и девять месяцев; индивидуально же этот возраст колеблется между десятью (или меньше) и семнадцатью.

Маленькой Вирджинии ещё не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. «Мосье По-по», как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ.

У меня имеются все те черты, которые, по мнению экспертов по сексуальным интересам детей, возбуждают ответный трепет у девочек; чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то не то актёра, не то гугнильца с гитарой, которым бредит Ло. Вторник. Дождик. Никаких озёр (одни лужи). Маменька уехала за покупками. Я знал, что Ло где-то близко. В результате скрытых манёвров я-набрёл на неё в спальне матери. Оттягивала перед зеркалом веко, стараясь отделаться от соринки, попавшей в левый глаз. Клетчатое платьице. Хоть я и обожаю этот её опьяняющий каштановый запах, всё же мне кажется, что ей бы следовало кое-когда вымыть волосы. На мгновение мы оба заплывали в тёплой зелени зеркала, где отражалась вершина тополя вместе с нами и небом. Подержал её грубовато за плечи, затем ласково за виски и повернул её к свету.

«Оно вот здесь», сказала она, «я чувствую»...

«Швейцарская кокрестьянка кокончиком языка»...

«...Вылизала бы?»

«Имно. Попробать?»

«Конечно, попробуйте».

Нежно я провёл трепещущим жалом по её вращающемуся солёному главному яблоку.

«Вот здорово», сказала она, мигая, «всё ушло».

«Теперь второй глаз».

«Глупый вы человек», начала она, «там ровно...». Но тут она заметила мои собранные в пучок приближающиеся губы и покладисто сказала: «О'кэй».

Наклонившись к её тёплому, приподнятому, рыжевато-розовому лицу, сумрачный Гумберт прижал губы к её бьющемуся веку. Она усмехнулась и, платьем задев меня, быстро вышла из комнаты. Я чувствовал, будто моё сердце бьётся всюду одновременно. Никогда в жизни — даже когда я ласкал ту девочку на Ривьере — никогда. Ночь. Никогда я не испытывал таких терзаний. Мне бы хотелось описать её лицо, её движения — а не могу, потому что, когда она вблизи, моя же страсть к ней ослепляет меня. Чорт побери — я не привык к обществу нимфеток! Если же закрываю глаза, вижу всего лишь застывшую часть её образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака. «Долорес Гейз, нэ муонтрэ па вуа жямб» (это говорит её мать, думающая, что знает по-французски).

Будучи ? mes heures поэтом, я посвятил мадригал чёрным, как сажа, ресницам её бледносерых, лишённых всякого выражения глаз, да пяти асимметричным веснушкам на её вздёрнутом носике, да белёсому пушку на её коричневых членах; но я разорвал его и не могу его нынче припомнить. Только в банальнейших выражениях (возвращаемся тут к дневнику) удалось бы мне описать черты моей Ло: я мог бы сказать, например, что волосы у неё темнорусые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец, причём нижняя очаровательно припухлая — ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голой при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми чёрными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки. Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки — всякой, быть может, нимфетки: эта смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок и напоминающей мне мутно-розовых несовершеннолетних горничных у нас в Европе (пахнущих крошёной ромашкой и потом), да тех очень молоденьких блудниц, которых переодевают детьми в провинциальных домах терпимости. Но в придачу — в придачу к этому мне чутется неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть. Боже мой, Боже мой... И наконец — что всего удивительнее — она, эта Лолита, моя Лолита, так обособила древнюю мечту автора, что надо всем и несмотря ни на что существует только — Лолита.

Среда. «Заставьте-ка маму повести нас (нас!) на Очковое озеро завтра». Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шёпотом, столкнувшись со мной в сенях — я выходил, она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно-белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля. От листвы пышного ильма падали мягко переливающиеся тени на досчатую стену дома. Два тополя зыблились и покачивались. Ухо различало бесформенные звуки далёкого уличного движения. Чей-то детский голос звал: «Нанси! Нанси!». В доме Лолита поставила свою любимую пластинку «Малютка Кармен», которую я всегда называл «Карманная Кармен», от чего она фыркала, притворно глумясь над моим притворным остроумием.

Четверг. Вчера вечером мы сидели на открытой веранде — Гейзиха, Лолита и я. Сгущались тёплые сумерки, переходя в полную неги ночь. Старая дурында только что кончила подробно рассказывать мне содержание кинокартины, которую она и Ло видели полгода назад. Очень уже опустившийся боксёр наконец знакомится с добрым священником (который сам когда-то, в крепкой своей юности, был боксёром и до сих пор мог кулаком свалить грешника). Мы сидели на подушках, положенных на пол; Ло была между мадам и мной (сама втиснулась — зверёныш мой). В свою очередь я пустился в уморительный пересказ моих арктических приключений. Муза вымысла протянула мне винтовку, и я выстрелил в белого медведя, который сел и охнул. Между тем я остро ощущал близость Ло, и пока я говорил и жестикулировал в милосердной темноте, я пользовался невидимыми этими жестами, чтобы тронуть то руку её, то плечо, то куклу-балерину из шерсти и кисеи, которую она тормозила и всё сажала ко мне на колени; и наконец, когда я полностью опутал мою жаром пышущую душеньку этой сетью бесплотных ласок, я посмел погладить её по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени, и я смеялся собственным шуткам, и трепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло её близких кудрей, тыкаясь к ней со смешными апарте в быстрых скобках и лаская её игрушку. Она тоже очень много ёрзала, так что в конце концов мать ей резко сказала перестать возиться, а её куклу вдруг швырнула в темноту, и я всё похохатывал и обращался к Гейзихе через ноги Ло, причём моя рука ползла вверх по

худенькой спине нимфетки, нащупывая её кожу сквозь ткань мальчишеской рубашки.

Но я знал, что всё безнадежно. Меня мучило от вожделия, я страдал от тесноты одежд, и был даже рад, когда спокойный голос матери объявил в темноте: «А теперь мы считаем, что Ло пора идти спать». «А я считаю, что вы свинюги», сказала Ло. «Отлично, значит завтра не будет пикника», сказала Гейзиха. «Мы живём в свободной стране», сказала Ло. После того что сердитая Ло, испустив так называемое «Бронксовое ура» (толстый звук тошного отвращения), удалилась, я по инерции продолжал пребывать на веранде, между тем как Гейзиха выкуривала десятую за вечер папиросу и жаловалась на Ло.

Ло, видите ли, уже выказывала злость, когда ей был всего один год и она, бывало, из кровати кидала игрушки через боковую сетку так, чтобы бедной матери этого подлого ребёнка приходилось их подбирать! Ныне, в двенадцать лет, это прямо бич Божий, по словам Гейзихи. Единственное о чём Ло мечтает — это дрыгать под джазовую музыку или гарцевать в спортивных шествиях, высоко поднимая колени и жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие, но всё же оказалась лучше приспособленной к школьному быту на новом месте, чем в Писки (Писки был их родной город в средней части Соединённых Штатов; рамздэльский же дом раньше принадлежал покойной свекрови; в Рамздэль они переехали около двух лет тому назад). «Отчего Ло была несчастна в той первой школе?» «Ах», сказала вдова, «мне ли не знать. Я, бедная, сама прошла через это в детстве: ужасны эти мальчишки, которые выкручивают тебе руку, нарочно влетают в тебя с кипой книг, дёргают за волосы, больно щиплют за грудь, стараются задрать тебе юбку. Конечно, капризность является сопутствующим обстоятельством нормального развития, но Ло переходит всякие границы. Она хмурая и изворотливая. Ведёт себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, итальяночка у неё в классе, жаловалась, что Лолита её кольнула в зад самопишущим пером. Знаете», сказала Гейзиха, «чего бы мне хотелось? Если бы вы, monsieur, случайно ещё были здесь осенью, я бы вас попросила помочь ей готовить уроки — мне кажется, вы знаете буквально всё — географию, математику, французский». «Всё, всё», ответил monsieur. «Ага», подхватила Гейзиха, «значит вы ещё будете здесь?» Я готов был крикнуть, что я бы остался навеки, если я мог бы надеяться изредка понежить обещанную ученицу. Но я не доверял Гейзихе. Поэтому я только хмыкнул, потянулся, и, не желая долее сопутствовать её обстоятельству (le mot juste) вскоре ушёл к себе в комнату. Но вдовушка, видимо, не считала, что день окончился. Я покоился на своём холодном ложе, прижимая к лицу ладонь с душистой тенью Лолиты, когда услышал, как моя неугомонная хозяйка крадётся к двери и сквозь неё шепчет: «только хочу знать, кончили ли вы „Взгляд и Вздох“?» (иллюстрированный журнал, на днях мне одолженный). Из комнаты дочки раздался вопль Ло: журнал был у неё. Чорт возьми — не дом, а прокатная библиотека. Пятница. Интересно, что сказал бы солидный директор университетского издательства, в котором выходит мой учебник, если бы я в нём привёл выражение Ронсара насчёт «маленькой аленькой щели» или строчки Реми Бэлло: «тот холмик небольшой, мхом нежным опушённый, с пунцовой посреди чертою проведённой» — и так далее. Боюсь, опять заболею нервным расстройством, если останусь жить в этом доме, под постоянным напором невыносимого соблазна, около моей душеньки — моей и Эдгаровой душеньки — «моей жизни, невесты моей». Посвятила ли её уже мать-природа в Тайну Менархии? Ощущение раздутости. «Проклятие», как называют это ирландки... Иносказательно: «падение с крыши» или «гостит бабушка». «Госпожа Матка (цитирую из журнала для девочек) начинает строить толстую мягкую перегородку — пригодится, если внутри ляжет ребёночек». Крохотный сумасшедший в своей обитой войлоком палате для буйных.

Между прочим: если когда-нибудь я совершу всерьёз убийство — отметьте это «если» — позыв потребовался бы сильнее чем тот, который я испытал по отношению к Валерии. Тщательно отметьте, что тогда я действовал довольно бестолково. Когда вам захочется — если захочется — жарить меня на электрическом стуле, имейте в виду, пожалуйста, что только припадок помешательства мог наделить меня той примитивной энергией, без которой нельзя превратиться в зверя (возможно, что всё это место подправлено по сравнению с дневничком). Иногда я во сне покушаюсь на убийство. Но знаете, что случается? Держу, например, пистолет. Целюсь, например, в спокойного врага, проявляющего безучастный интерес к моим действиям. О да, я исправно нажимаю на собачку, но одна пуля за другой вяло выкатывается на пол из придурковатого дула. В этих моих снах у меня лишь одно желание — скрыть провал от врага, который, однако, медленно начинает сердиться. Сегодня за обедом старая ехидна, искоса блеснув косым, по-матерински насмешливым взглядом на Ло (я только что кончил описывать в шутовском тоне прелестные усики щёткой, которые почти решил отпустить), сказала: «Лучше не нужно, иначе у кого-то совсем закружится головка». Ло немедленно отодвинула свою тарелку с варёной рыбой, чуть не опрокинув при этом стакан молока, и метнулась вон из столовой. «Вам было бы не слишком скучно», проговорила Гейзиха, «завтра поехать с нами на озеро купаться, если Ло извинится за свою выходку?»

Некоторое время спустя ко мне в комнату донеслось гулкое дверное бухание и другие звуки, исходившие из каких-то содрогавшихся недр, где у соперниц происходила яростная ссора.

Она не извинилась. Поездка отменена. А ведь могло бы быть забавно.

Суббота. Вот уже несколько дней, как оставляю дверь приоткрытой, когда у себя работаю; но только сегодня уловка удалась. Со многими ужимками, шлёпая и шаркая туфлями (с целью скрыть смущение, что вот посетила меня без зова), Ло вошла и, повертевшись там и сям, стала рассматривать кошмарные завитушки, которыми я измарал лист бумаги. О нет — то не было следствием вдохновенной паузы эссеиста между двумя параграфами; то была гнусная тайнопись (которую понять она не могла) моего рокового вождения. Её русые локоны склонились над столом, у которого я сидел, и Хумберт Хриплый обнял её одной рукой — жалкое подражание кровному родству. Держа лист и продолжая его изучать чуть-чуть близорукими глазами, моя наивная маленькая гостья медленно полуприсела ко мне на колено. Её прелестный профиль, приоткрытые губы, тёплые волосы были в каких-нибудь трёх вершках от моего ощеренного резца, и сквозь грубоватую ткань мальчишеской одежды я чувствовал жар её тела. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать её в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью — понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Холливуда. Это так же просто, как двойная порция сливочного мороженого с горячим шоколадным соусом. Не могу объяснить моему учёному читателю (брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь), каким образом я это понял; может быть, звериным чутьём я уловил легчайшую перемену в ритме её дыхания, ибо теперь она уже не столько разглядывала мою мазню — о моя прозрачная нимфетка! — сколько ждала с тихим любопытством, чтобы произошло именно то, чего до смерти хотелось обаятельному квартиранту. Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец — Поздно! Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой Луизы, докладывающей госпоже Гейз, которая только что вернулась, о каком-то мёртвом зверьке, найденном ею и Томсоном (соседским шофёром) в подвале — и, конечно, моя Лолиточка не могла пропустить такой интересный случай.

Воскресенье. Она переменчива, она капризна, она угловата, она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног (отдаю всю Новую Англию за перо популярной романистки!) — начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры (куда её лягнул роликовым коньком мальчишка в Писки), как раз над уровнем белого шерстяного носка. Она только что отправилась с мамашей к Гамильтонам — празднование дня рождения подруги, что ли. Бумажное платье в клетку с широкой юбкой. Грудки, кажется, уже хорошо оформились. Как ты спешишь, моя прелесть!

Понедельник. Дождливое утро. «Ces matins gris si doux...!»[42]

На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дёргает ту или другую нить.

Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дёргаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда; я только что слышал прерывистый треск поворачивающегося туалетного ролика; но закинутое мной слуховое волоконец не проследило шагов из ванной обратно к ней в комнату. Может быть, она всё ещё чистит зубы (единственное гигиеническое действие, которое Лолита производит с подлинным рвением). Нет. Дверь ванной только что хлопнула; значит, надобно пошарить дальше по дому в поисках дивной добычи. Давай-ка пуцу шёлковую нить на нижний этаж. Этим путём убеждаюсь, что её нет на кухне, что она, например, не затворяет с грохотом дверцу рефрижератора, не шипит на ненавистную мать (которая, полагаю, наслаждается третьим с утра воркотливым, сдержанно-весёлым разговором по телефону). Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. Как луч, проскальзываю в гостиную и устанавливаю, что радио молчит (между тем как мамаша всё ещё говорит с миссис Чатфильд или миссис Гамильтон, очень приглушённо, улыбаясь, рдея, прикрывая ладонью свободной руки трубку, отрицая и намекая, что не совсем отрицает забавные слухи о квартиранте, ах, перестаньте, и всё это нашёптывая так задушевно, как никогда не делает она, эта отчётливая дама, в обыкновенной беседе). Итак, моей нимфетки просто нет в доме! Упорхнула! Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной, дом пуст, дом мёртв... Вдруг — сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты: «Не говорите маме, но я съела весь ваш бекон». Но когда я выскакиваю на площадку, её уже нет. Лолита, где ты? Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный хозяйкой и ждущий, чтобы я его внёс с порога в постель, глядит на меня, беззубо осклабясь. Лола! Лолита!

Вторник. Опять тучи помешали пикнику на — недостижимом — озере. Или это кознействует Рок? Вчера я примерял перед зеркалом новую пару купальных трусиков.

Среда. Сегодня Гейзиха, в тай ре, в башмаках на низких каблуках объявила, что едет в город купить подарки для приятельницы подруги, и предложила мне присоединиться, потому что я, мол, так чудно понимаю в материях и духах. «Выберите ваше любимое обольщение», промурлыкала она. Как мог уклониться Гумберт, будучи хозяином парфюмерной фирмы? Она загнала меня в тупик — между передним крыльцом и автомобилем. «Поторопитесь!», крикнула она, когда я стал чересчур старательно складывать своё крупное тело, чтобы влезть в машину (всё ещё отчаянно придумывая, как бы спастись). Она уже завела мотор и приличными даме словами принялась проклинать пятивший и поворачивавший грузовик, который только что привёз ледашей старухе напротив новенькое кресло на колёсах; но тут резкий голосок моей Лолиты раздался из окна гостиной: «Эй, вы! Куда вы? Я тоже еду! Подождите меня!» — «Не слушайте!», взвизгнула Гейзиха (причём нечаянно остановила мотор). Между тем, на беду моей прекрасной автомедонше, Ло уже теребила ручку двери, чтобы взлезть с моей стороны. «Это возмутительно», начала Гейзиха, но Ло уже втиснулась, вся трепеща от удовольствия. «Подвиньте-ка ваш зад», обратилась она ко мне. «Ло!» воскликнула Гейзиха (покосившись на меня в надежде, что прогоню грубиянку). «Ло-барахло», сказала Ло (не в первый раз), дёрнувшись назад, как и я дёрнулся, оттого что автомобиль ринулся вперёд. «Совершенно недопустимо», сказала Гейзиха, яростно переходя во вторую скорость, «чтобы так хамила девчонка. И была бы так навязчива. Ведь она отлично знает, что лишняя. И при том нуждается в ванне».

Суставами пальцев моя правая рука прилегала к синим ковбойским штанам девчонки. Она была босая, ногти на ногах хранили следы вишнёвого лака, и поперёк одного из них, на большом пальце, шла полоска пластыря. Боже мой, чего бы я не дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокостным, длиннопалым, обезьяньим ногам! Вдруг её рука скользнула в мою, и без ведома нашей дуэньи я всю дорогу до магазина держал и гладил, и тискал эту горячую лапку. Крылья носа у нашей марленообразной шоферши блестели, потеряв или спалив свою порцию пудры, и она, не переставая, вела изящный монолог по поводу городского движения, и в профиль улыбалась, и в профиль надувала губы, и в профиль хлопала крашеными ресницами; я же молился — увы, безуспешно, — чтобы мы никогда не доехали.

Мне больше нечего сообщить, кроме того, что, во-первых, собравшись домой, большая Гейзиха велела маленькой сесть сзади, а во-вторых, что она решила оставить выбранные мной духи для мочек своих собственных изящных ушей.

Четверг. Мы расплачиваемся бурей и градом за тропическое начало месяца. В одном из томов «Энциклопедии для Юношества» я нашёл карту Соединённых Штатов и листок тонкой бумаги с начатым детской рукой абрисом этой карты; а на обратной стороне, против неоконченных очертаний Флориды, оказалась мимеографическая копия классного списка в Рамздэльской гимназии. Это лирическое произведение я уже знаю наизусть.

Анджель, ГрацияАустин, ФлойdBайрон, МаргаритаБизель, ДжэkBизель, МэриБук, ДаниилВилльямс, РальфВиндмюллер, ЛуизаГавель, МабельГамильтон, РозаГейз, ДолоресГрац, РозалинаГрин, ЛуциндаГудэйль, ДональдДункан, ВальтерКамель, АлисаКармин, РозаКауан, ДжонКауан, МарионКларк, ГордонМак-Кристал, ВивианМак-Ку, ВирджинияМак-Фатум, ОбрэйМиранда, АнтонийМиранда, ВиолаНайт, КеннетРозато, ЭмильСкотт, ДональдСмит, ГэзельТальбот, ЭдвинТальбот, ЭдгарУэн, ЛуллФальтер, ТэдФантазия, СтеллаФлейшман, МоисейФокс, ДжорджЧатфильд, ФиллисШерва, ОлегШеридан, АгнесаШленкер, ЛенаПоэма, сущая поэма! Так странно и сладко было найти эту «Гейз, Долорес» (её!) в живой беседке имён, под почётным караулом роз, стоящую, как сказочная царевна, между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать щекотку восторга, которую я почувствовал в становом хребте при виде того имени среди прочих имён. Что тут волнует меня — до слёз (горячих, опаловых, густых слёз, проливаемых поэтами и любовниками) — что именно? Нежная анонимность под чёрным кружевом мантильи («Долорес»)? Отвлечённость перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару длинных чёрных перчаток или маску? Не в этом ли слове «маска» кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки. Вижу Грацию Анджель и её спелые прыщики; Джинни Мак-Ку и её отсталую ногу; Кларка, изнурённого онанизмом; Дункана, зловонного шута; Агнесу с её изгрызанными ногтями; Виолу с угреватым лицом и упругим бюстом; хорошенькую Розалину; темноволосую Розу; очаровательную Стеллу, которая даёт себя трогать чужим мужчинам; Вилльямса, задиру и вора; Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. А вот среди них — она, потерянная в их толпе, сосущая карандаш, ненавидимая наставницами, съедаемая глазами всех мальчишек, направленными на её волосы и шею, моя Лолита.

Пятница. Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении. О грандиозном взрыве. Её мать неопратно, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобождённый, я обладаю ею среди развалин. Её удивление. Мои объяснения. Наглядные примеры, сопровождаемые животными звуками. Всё это досужие, дурацкие вымыслы! Не будь Гумберт трусом, он бы мог потешиться ею мерзейшим образом (воспользовавшись её посещениями — вчера, например, когда она снова была у меня, показывала свои рисунки — образцы школьного искусства). Гумберт Смелый мог бы предложить ей взятку без всякого риска. Человек же попроще — и попрacticalнее — здраво удовлетворился бы коммерческими эрзацами, но для этого нужно знать, куда обратиться, а я не знаю. Несмотря на мужественную мою наружность, я ужасно робок. Моя романтическая душа вся трясётся от какого-то липкого озноба при одной мысли, что можно нарваться на грязную ужасную историю. Вспоминаются мне похабные морские чудовища, кричавшие «Mais allez-y, allez-y!»[43], Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики; и я, в тошной ярости, пытающийся её заслонить.

То же число, но позже, гораздо позже. Я зажёл свет — хотелось записать сон. Происхождение его мне ясно. За обедом Гейзиха изволила объявить, что поскольку метеорологическое бюро обещает солнце на конец недели, мы поедем на озеро в воскресенье после церкви. Лёжа в постели и перед сном распаяя себя мечтами, я обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий пикник. Я вполне отдавал себе отчёт в том, что мамаша Гейз ненавидит мою голубку за её увлечение мной. Я замыслил так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или тёмные очки вон там в перелеске — и немедленно углублюсь в чашу с моей нимфеткой. Туг явь стусевалась, и поход за очками на Очковом озере превратился в тихую маленькую оргию со странно опытной, весёленькой и покладистой Лолитой, ведущей себя так, как мой разум знал, что она отнюдь не могла бы себя вести в действительности. На заре я проглотил снотворную пилюлю и увидел сон, оказавшийся не столько продолжением, сколько пародией моего мечтания. Я увидел с многозначительной ясностью озеро, которого я никогда ещё не посещал: оно было подёрнуто пеленой изумрудного льда, в котором эскимос с выщербленным оспой лицом тщетно старался киркой сделать прорубь, хотя по щербёчным его берегам цвели импортные олеандры и мимозы. Не сомневаюсь, что доктор Биянка Шварцман вознаградила бы меня целым мешком австрийских шиллингов, ежели бы я прибавил этот либидосон к её либидосье. К сожалению, остальная его часть была откровенно эклектической. Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подсакивая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух — небольшое упущение, плод рассеянности режиссёра сна.

Суббота. Сердце у меня всё ещё колотится. Я всё ещё извиваюсь и тихонько мычу от вспоминаемой неловкости. Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками. Перегнувшись через подоконник, она обрывает машинально листья с тополя, доходящего до окна, увлечённая стремительной беседой с мальчиком, разносящим газеты (кажется, Кеннет Найт), который стоит внизу, только что пустив свёрнутый «Рамздэль Джорнал» звучным, точно рассчитанным швырком на ступень нашего крыльца. Я начал к ней подкрадываться «искалеченной караморой», как выражаются пантомимисты. Мои конечности были выгнутыми поверхностями, между которыми — скорее, чем на которых — я медленно подползал, пользуясь каким-то нейтральным средством передвижения: Подбитый паук Гумберт. Мне потребовалось Бог знает сколько времени, чтобы добраться до неё. Я её видел как бы через суживающийся конец подзорной трубы и к её тугому задку приближался, как паралитик с бескостными, вывороченными членами, движимый ужасным напряжением воли. Наконец я оказался как раз позади неё; но тут мне явилась несчастная мысль — выказать мнимое озорство — тряхнуть её за шиворот, что ли, — дабы скрыть свою настоящую игру, и она кратко и визгливо сказала: «Отстаньте!» (что было прегрубо), — и, жутко осклабясь, Гумберт Смирный отступил, меж тем как дрянная девчонка продолжала верещать, склоняясь над улицей.

Но теперь послушайте, что произошло потом. После завтрака я полулежал в низком садовом кресле, пытаюсь читать. Вдруг две ловкие ладошки легли мне на глаза: это она подкралась сзади, как бы повторяя, в порядке балетных сцен, мой утренний манёвр. Её пальцы, старавшиеся загородить солнце, просвечивали кармином, и она судорожно хохотала и дёргалась так и сяк, пока я закидывал руку то в сторону, то назад, не выходя при этом из лежачего положения. Я проезжал рукой по её быстрым и как бы похохатывающим ногам, и книга соскользнула с меня, как санки, и мистрис Гейз, прогуливаясь, подошла и снисходительно сказала: «А вы просто шлёпните её хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях. Как я люблю этот сад», продолжала она без восклицательного знака. «А это солнце, разве это не рай (вопросительный знак тоже отсутствует)». И со вздохом притворного блаженства несносная дама опустила на траву и загляделась на небо,

опираясь на распяленные за спиной руки, и вдруг старый серый теннисный мяч прыгнул через неё, и из дома донёлся несколько надменный голос Лолиты: «Pardonne, maman. Я не в тебя метила». Разумеется, нет, моя жаркая, шелковистая прелесть!

12

На этом кончались записи в дневнике.

Из них следует, что, несмотря на всю изобретательность дьявола, схема была ежедневно та же: он начинал с того, что соблазнял меня, а затем перечил мне, оставляя меня с тупой болью в самом корне моего состава. Я знал точно, что я хотел сделать и как это сделать, не нарушая чистоты маленькой девочки. В конце концов у меня уже был некоторый опыт за долгие годы обращения с собственной манией. Мне случалось вприглядку обладать испещрёнными светотенью нимфетками в публичных парках; случалось протискиваться с осмотрительностью гнусного сластолюбца в тот теснейший теплейший конец городского автобуса, где повисала на ремнях орава школьниц. Но теперь, в продолжение почти трёх недель, всем моим жалким ухищрениям чинились препятствия. Виновницей этих препон бывала обычно Гейзиха (которая, да отметит читатель, скорее опасалась, как бы Лолита не получила удовольствия от общения со мной, чем того, чтобы я наслаждался Лолитой). Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой нимфетке — к первой в жизни нимфетке, до которой я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями — меня бы несомненно загнала опять в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно мне дать небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему ещё послужил игральцем.

Читатель также заметил и другое: занятный мираж озера. Было бы логично со стороны мистера Мак-Фатума (как хочу наречь моего дьявола) приготовить мне небольшой гостинец на обетованном бережку, в предусмотренном сосняке. На самом-то деле в затее Гейзихи крылся подвох: она не предупредила меня, что Розочка Гамильтон (прехорошенькая смуглянка) тоже поедет на пикник и что нимфетки будут шептаться в сторонке, и играть в сторонке, и веселиться совершенно отдельно от нас — между тем как мистрис Гейз и её красавец жилец будут чинно беседовать в полураздетом виде вдали от любопытных глаз. Глаза всё же подсматривали и языки болтали.

Что за диковинная штука — жизнь! Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить. Перед моим приездом моя хозяйка предполагала позвать старую деву, по имени Фален (её мать когда-то служила у Гейзихи в семье кухаркой), чтобы та поселилась с Лолитой и мной, между тем как сама хозяйка, конторщица по натуре, нашла бы себе службу в большом городе. Она представила себе всё устройство очень ясно: въезжает сутулый, в очках, герр Гумберт со своими среднеевропейскими сундуками и принимается обрастать пылью в дебрях дома, заслонившись грудой ветхих книг; никем не любимая неказистая дочка находится под строгим присмотром мисс Фален, которая однажды, в 1944 году, уже имела Ло под своим канючим крылом (Ло вспоминала то лето с дрожью возмущения), а мистрис Гейз служит в элегантной фирме. Но довольно незамысловатое происшествие помешало выполнению плана: мисс Фален сломала себе бедро в Саванне (Джоржия) в самый день моего прибытия в Рамздэль.

13

Воскресный день, после уже описанной субботы, выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака (его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно), я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепанных ночных туфлях (единственное, что есть у меня потрёпанного), прислушался и выяснил следующее.

Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у её дочки «температура». Мистрис Гейз сообщила своей дочке, что, значит, пикник придётся отложить. Пылкая маленькая Гейз сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала: «Отлично» — и уехала одна. На площадку я вышел сразу после бритья, с мылом в ушах, всё ещё в белой пижаме с васильковым (не лиловым) узором на спине. Я немедленно стёр мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шёлковый халат и, нервно напевая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты. Хочу, чтобы мои учёные читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть; хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан



весь этот мускатно-сладкий эпизод — если к нему отнести с «беспристрастной симпатией», как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнём. Передо мной — нелёгкая задача.

Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залиты солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки (покойный Гарольд Е. Гейз — царствие небесное добряку! — зачал мою душеньку в час сиэсты, в комнате с голубыми стенами, во время свадебного путешествия в Вера Круз, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес). На ней было в тот день прелестное ситцевое платье, которое я уже однажды видел, розовое, в тёмно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции, она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски-румяное яблоко. Только носочки и шлёпанцы были невыходные. Её белая воскресная сумка лежала брошенная подле граммофона.

Сердце у меня забилося барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, опала) и стала играть глянцевым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук.

Гумберт Гумберт перехватил яблоко.

«Отдайте!», взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. Я возвратил «Золотос Семечко». Она его схватила и укусила, и моё сердце было как снег под тонкой алой кожей, и с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл (жаль, что никто не запечатлел на киноплёнке любопытный узор, вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений). Держа в одной руке изуродованный плод, нисколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту. Наконец нашла. Изображая интерес, я так близко придвинул к ней голову, что её волосы коснулись моего виска и голая её рука мимоходом задела мою щёку, когда она запястьем отёрла губы. Из-за мреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображённый в журнале снимок, я не сразу реагировал на него, и её коленки нетерпеливо потёрлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман: известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним, тоже навзничь, гипсовый слепок с Венеры Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила: Замечательнейшая за Неделю Фотография. Я молниеносно отнял у неё мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал её за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребёнок вытянул ноги через мои колени.

К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием; но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему сидя на диване, я нашёл способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к её наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете — и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, — я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперёк нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попало нечто механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год — О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там, ... и гитары, и бары, и фары, тратам — автоматический вздор, возобновлением и искажением которого — то есть особыми чарами косноязычия — я околдовывал мою Кармен и всё время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось всё моё существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарбары и бары постепенно перенимались ею: её голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальна, она была налита яблочной сладостью. Её ноги, протянутые через моё живое лоно, слегка ёрзали; я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколки носке о кипу старых журналов, нагромождённых слева от меня на диване — и каждое её движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение — между

чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платье.

Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волоски, лёгонько ерошившиеся вдоль её голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется... Но вот, она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истреблённого яблока в камин, причём её молодая тяжесть, её бесстыдные невинные бёдра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряжённому, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешёл в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела. То что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который теперь достиг состояния совершенной надёжности, уверенности и безопасности — состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на неё розовую, в золотистой пыли, на неё, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему, и солнце играло у неё на губах, и губы её всё ещё, видимо, составляли слова о «карманной Кармене», которые уже не доходили до моего сознания. Теперь всё было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнёт его. Я был выше смехотворных злоключений, я был вне досягаемости кары. В самодельном моём серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладываяющим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приёмами в литературе и музыке), я всё повторял за Лолитой случайные, нелепые слова — Кармен, карман, кармин, камин, аминь, — как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по её солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия. Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: «Смотри, смотри, что ты наделала, ах смотри!» — ибо, клянусь, был желтоватый синяк на её прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массирует и медленно обхватывала, — и так как панталончики у неё были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулистому большому пальцу добраться до горячей впадинки её паха — как вот, бывает, щекочешь и ласкаешь похотывающего ребёнка — вот так и только так, и в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: «Ах, это пустяк!» и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестящую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до её голой шеи, покамест я раздавливал об её левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским.

Тотчас после этого (точно мы до того боролись, а теперь моя хватка разжалась) она скатилась с тахты и вскочила на ноги — вернее, на одну ногу, — для того чтобы схватить трубку оглушительно громкого телефона, который, может быть, уже век звонил, пока у меня был выключен слух. Она стояла и хлопала ресницами, с пылающими щеками, с растрёпанными кудрями, и глаза её скользили по мне, так же как скользили они по мебели, и пока она слушала или говорила (с матерью, приказывающей ей явиться к Чатфильдам, пригласившим обеих к завтраку — причём ни Ло, ни Гум не знали ещё, что несносная хлопотунья замышляла), она всё постукивала по краю телефонного столика туфлей, которую держала в руке. Слава тебе Боже, девчонка ничего не заметила.

Вынув многоцветный шёлковый платок, на котором её блуждающий взгляд на миг задержался, я стёр пот со лба и, купаясь в блаженстве избавления от мук, привёл в порядок свои царственные ризы. Она всё ещё говорила по телефону, торгуясь с матерью (Карменситочка хотела, чтобы та за ней заехала), когда, всё громче распевая, я взмахнул по лестнице и стал наполнять ванну бурливым потоком исходившей паром воды.

Тут позволю себе заодно привести слова вышеупомянутой модной песенки или, по крайней мере, то из неё, что мне запомнилось — я, кажется, никогда не знал её понастоящему. Так вот:

О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там таратам — таратунные струи фонтана, И гитары, и бары, и фары, тратам, И твои все измены, гитана! И там город в огнях, где с тобой я бродил, И последнюю ссору тарам-таратуя, И ту пулю, которой тебя я убил, Кольт, который — траторы — держу я... (Выхватил, верно,

Я позавтракал в городе — давно не был так голоден. Когда вернулся, дом был ещё безлолитен. Я провёл день в мечтах, в замыслах, в блаженном усваивании моего утреннего переживания.

Я был горд собой: я выкрал мёд оргазма, не совратив малолетней. Ровно никакого урона. Фокусник налил молока, патоки, пенистого шампанского в новую белую сумочку молодой барышни — раз, два, три и сумка осталась неповреждённой. Так, с большой изощрённостью, я вознёс свою гнусную, жгучую мечту; и всё же Лолита уцелела — и сам я уцелел. То существо, которым я столь неистово наслаждался, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой — быть может, более действительной, чем настоящая; перекрывающей и заключающей её; плывущей между мной и ею; лишённый воли и самознания — и даже всякой собственной жизни.

Девочка ничего не почувала. Я ничего не сделал ей. И ничто не могло мне помешать повторить действие, которое затронуло её так же мало, как если бы она была фотографическим изображением, мерцающим на экране, а я — смиренным горбуном, онанирующим в потёмках. День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые соком деревья, казалось, были посвящены в тайну.

Желание опять притереться к ней начинало ещё сильнее, чем прежде, терзать меня. «Пусть она скоро вернётся» — молился я про себя, обращаясь к заёмному Богу — «и пускай, пока мамаша на кухне, повторится сцена тахты — пожалуйста! — я так мерзко обожаю её!»

Нет, «мерзко» не то слово. Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было не мерзким, а жалким. Жалким — ибо невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был, с искреннейшим рвением и предусмотрительностью, оградить чистоту этого двенадцатилетнего ребёнка. А теперь полюбуйтесь вознаграждением, полученным мной за страдания. Лолита не вернулась с матерью — пошла с Чатфильдами в кино. Обеденный стол оказался накрытым на двоих, с особым изяществом: горели настольные свечи (скажите, пожалуйста). В этой жеманной ауре Гейзиха легонько потрагивала серебро по обеим сторонам тарелки, как бы касаясь клавиш, и улыбалась пустой своей тарелке (соблюдала диету), и спрашивала, нравится ли мне салат (сделанный по рецепту, вычитанному из дамского журнала). Хотела тоже знать, по вкусу ли мне холодная говядина. Говорила, что день провела преприятно. Прекрасный человек — эта Мистрис Чатфильд. Филлида (дочка) едет завтра в летний лагерь для девочек. На три недельки. Решено Лолиту отправить туда же в ближайший четверг. Вместо того, чтобы ждать до июля, как было намечено сначала. Пробудет там дольше Филлиды. До самого начала школьных занятий. Хорошенькая перспектива, бедное моё сердце!

Ах, как это меня потрясло! Ведь это значило, что мою душеньку у меня отнимают как раз, когда я втайне сделал её своей. Чтобы объяснить мрачное настроение, овладевшее мной, мне пришлось сослаться на ту же зубную боль, которую я уже симулировал утром. Зуб верно был коренной, громадный, с нарывом величиной с компотную вишню.

«У нас тут в городе», сказала Гейзиха, «есть отличный дантист. А именно наш сосед, доктор Куильти, родственник известного драматурга. Вы думаете, пройдёт? Ну, как желаете. Осенью ей будет посажена на передние зубы „цепка“, как говаривала моя мать. Может быть, это обуздает нашу Лолиточку. Боюсь, она вам ужасно мешала все эти дни. И я предвижу два-три довольно бурных денька, до того как она отбудет. Она сперва решительно отказалась ехать, и, признаюсь, я оставила её у Чатфильдов, оттого, что боюсь с ней оставаться с глазу на глаз, пока она в таком настроении. Кино, может быть, её умиротворит. Филлида — чудная девчурка, и нет никакой причины Лолите недолюбливать, её. Право, мосье, я всей душой сочувствую вашей зубной боли. Было бы куда разумнее разрешить мне снести с Айвором Куильти первым делом завтра утром, если будет ещё болеть. И вы знаете, я считаю, что летний лагерь настолько полезнее для девчонки — настолько осмысленнее, как я всегда говорю, чем бить баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы губной карандаш, да мешать застенчивому джентльмену заниматься, да ещё закатывать сцену по всякому ничтожнейшему поводу».

«А вы совсем уверены», проговорил я наконец (придумав слабое, плачевно слабое возражение), «что она там не будет несчастна?»

«Пускай только попробует быть несчастной. Впрочем, жизнь там вовсе не состоит из сплошного развлечения. Лагерем руководит Шерли Хольмс — слышали, наверное, — написала книгу, называется „Школьницы у костра“. Лагерная жизнь поможет Долорес Гейз развиваться во многих смыслах — в смысле здоровья, характера,

образования и особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмём эти свечи и перейдём на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и принять что-нибудь для облегчения боли?» Принять что-нибудь для облегчения боли...

15

На другой день они отправились в город покупать нужные для лагерного лета вещи. Всякая обновка действовала на Ло волшебным образом. За обедом она, казалось, вернулась к своей обычной насмешливой норме. Сразу после обеда она пошла к себе, чтобы погрузиться в книжки-комиксы, приобретённые для дождливых дней в «Кувшинке» — или «Ку», как сокращённо называли лагерь: она так основательно пересмотрела их до отъезда, что потом не взяла их с собой.

Я отправился тоже в своё логовище и сел писать письма. Мой план теперь был поехать к морю, а затем, к началу учебного года, возобновить своё пребывание в Гейзовском доме, ибо я уже знал, что не могу жить без этой девочки.

Во вторник они снова ходили за покупками, и мне было поручено подойти к телефону, если начальница лагеря позвонила бы в их отсутствие. Действительно, она позвонила, и несколько недель спустя у нас с ней был случай вспомнить нашу приятную беседу. В этот вторник Ло обедала у себя в комнате. Повздорив опять с матерью, она с час прорыдала и теперь, как бывало и раньше, не хотела явиться передо мной с заплаканными глазами: при особенно нежном цвете лица, черты у неё после бурных слёз расплывались, припухали — и становились болезненно соблазнительными. Её ошибочное представление о моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обожаю этот оттенок Боттичеллиевой розовости, эту яркую кайму вдоль воспалённых губ, эти мокрые, свалывшиеся ресницы, а кроме того, её застенчивая причуда меня, конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения...

Однако, дело обстояло не так просто, как я полагал. Когда вечером мадам Гейз и я сидели в темноте на веранде (грубиян-ветер потушил её алые свечи), она с невесёлым смешком сказала: «Признаюсь, я объявила Лолите, что её любимейший Гумберт полностью одобряет лагерный проект, и вот она решила закатить настоящий скандал под предлогом, что будто мы с вами желаем отделаться от неё. Но настоящая причина в другом: я ей сказала, что завтра мы с ней обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные вещи, которые она заставила меня ей купить. Моя капризница видит себя звёздочкой экрана; я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка. Вот это, я думаю, лежит в корне наших затруднений».

В среду мне удалось на несколько секунд залучить Лолиту: это случилось на площадке лестницы, где, одетая в нательную фуфайку и белые, запачканные сзади в зелёное, трусики, она рылась в сундуке. Я произнёс что-то намеренно дружеское и смешное, но она всего лишь презрительно фыркнула, не глядя на меня. Окаянный, умирающий Гумберт неуклюже погладил её по копчику, и девчонка ударила его, пребольно, одной из сапожных колодок покойного господина Гейза. «Подлый предатель», сказала она, между тем как я побрёл вниз по лестнице, потирая плечо с видом большой обиды. Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой: вымыла волосы и легла в постель вместе со своими дурацкими книжонками; а в четверг безразличная мать повезла её в лагерь «Ку».

Как писали авторы почище моего: «Читатель легко может вообразить...» и так далее. Впрочем, я, пожалуй, подтолкну пинком в зад это хвалёное воображение. Я знал, что влюбился в Лолиту навеки; но я знал и то, что она не навеки останется Лолитой: 1-го января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратится в «молодую девушку», а там в «колледж-гёрл» — т. е. «студентку» — гаже чего трудно что-нибудь придумать. Слово «навек» относилось только к моей страсти, только к той Лолите, которая незыблемо отражалась в моей крови. Лолиту же, подвздошные косточки которой ещё не раздалились, Лолиту доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резкоголосую и блестяще-русую, с подровненными спереди и волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный — «отвратно», «превкусно», «первый сорт», «типчик», «дрипчик» — эту Лолиту, мою Лолиту бедный Катулл должен был потерять навеки.

Как же в таком случае мне прожить без неё два месяца — летних, бессонных? Целых два месяца, изъятых из двух оставшихся годиков нимфетства! Может быть — думал я — переодеться мне мрачной, старомодной девицей, нескладной мадемуазель Гумберт, да разбить свою палатку около лагеря «Ку» в надежде, что его

рыжие от солнца нимфетки затараторят: «Ах, давайте примем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!», — да и потащут к своему костру грустную, робко улыбающуюся Berthe au Grand Pied[44]. Берта разделит койку с Долорес Гейз!

Досужие, сухие сны. Двум месяцам красоты, двум месяцам нежности, предстояло быть навеки промотанным, и я не мог сделать против этого ничего, *mais rien*[45].

Одну каплю редкостного мёда этот четверг всё-таки хранил для меня в своей желудёвой чашке. Госпожа Гейз должна была отвезти дочку в лагерь рано утром, и когда разные звуки, связанные с отъездом, донеслись до меня, я скатился с кровати и высунулся в окно. Внизу под тополями автомобиль уже тарахтел. На тротуаре стояла Луиза, заслонив глаза рукой, словно маленькая путешественница уже удалялась в низкий блеск утреннего солнца. Этот жест оказался преждевременным. «Поторопись!», крикнула Гейзиха, сидевшая за рулём. Моя Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, опустить при помощи винтовой ручки оконное стекло, помахать Луизе и тополям (ни её, ни их Лолите не суждено было снова увидеть), прервала течение судьбы: она взглянула вверх — и бросилась обратно в дом (причём мать неистово орала ей вслед). Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объёме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Я подтянул пижамные штаны и отпахнул дверь; одновременно добежала до меня Лолита, топя, пыхтя, одетая в своё тончайшее платье, и вот она уже была в моих объятьях, и её невинные уста таяли под хищным нажимом тёмных мужских челюстей — о, моя трепещущая прелесть! В следующий миг я услышал её — живую, неизнасилованную — с грохотом сбежавшую вниз. Течение судьбы возобновилось. Втянулась золотистая голень, автомобильная дверца захлопнулась — приотворилась и захлопнулась попрочнее — и водительница машины, резко орудуя рулём, сопровождая извиваниями резиново-красных губ свою гневную неслышимую речь, умчала мою прелесть; между тем как не замеченная никем, кроме меня, мисс Визави, больная старуха, жившая насупротив, слабо но ритмично махала со своей виноградом обвитой веранды.

16

Впадина моей ладони ещё была полна гладкого, как слонобая кость, ощущения вогнутой по-детски спины Лолиты, клавишной скользкости её кожи под лёгким платьем, которое моя мнущая рука заставляла ездить вверх и вниз, пока я держал девочку. Я кинулся в её неубранную комнату, отворил дверь шкапа и окунулся в ворох её ношенного белья. Особенно запомнилась одна розовая ткань, потёртая, дырявая, слегка пахнувшая чем-то едким вдоль шва. В неё-то я запеленал огромное, напряжённое сердце Гумберта. Огненный хаос уже поднимался во мне до края — однако мне пришлось всё бросить и поспешно оправиться, так как в это мгновение дошёл до моего сознания бархатистый голос служанки, тихо звавшей меня с лестницы. У неё было, по её словам, поручение ко мне, и увенчав моё автоматическое «спасибо» радушным «не за что», добрая Луиза оставила странно-чистое, без марки и без помарки, письмо в моей трясущейся руке.

«Это — признание: я люблю вас» —

— так начиналось письмо, и в продолжение одной искажённой секунды я принял этот истерический почерк за каракули школьницы:

«На днях, в воскресенье, во время службы (кстати хочу пожурить вас, нехорошего, за отказ прийти посмотреть на дивные новые расписные окна в нашей церкви), да, в это воскресенье, так недавно, когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни.

А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, *mon cher, cher Monsieur*[46], вы это прочли; вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте! Вон! *D?partez!*[47] Я вернусь к вечеру, если буду делать восемьдесят миль в час туда и обратно — без крушения (впрочем, кому какое дело?) и не хочу вас застать. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте тотчас, теперь же, даже не читайте этой смешной записки до конца. Уезжайте. Прощайте.

Положение, *mon ch?ri*[48], чрезвычайно простое. Разумеется, я знаю с абсолютной несомненностью, что я для вас не значу ничего, ровно ничего. О да, вы обожаете болтать со мной (и шутить надо мною, бедной); вы полюбили наш гостеприимный дом, мне нравящиеся книги, мой чудный сад и даже проказы моей шумной дочки; но я для вас — ничто. Так? Так. Совершенное ничто. Но, если, по прочтении моего „признания“, вы решили бы, как европеец и сумрачный романтик, что я достаточно привлекательна для того, чтобы вам воспользоваться моим письмом и завязать со мной „интрижку“, тогда знайте, это будет преступно —

преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребёнком. Видите ли, любимый, если бы вы решили остаться, если бы я вас застала тут (чего, конечно, не случится, и потому могу так фантазировать), самый факт вашего оставания мог бы быть истолкован только в одном смысле: что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас — спутником жизни — и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки.

Позвольте мне ещё чуточку побредить и побродить мыслью, мой драгоценнейший; ведь я знаю, вы уже разорвали это письмо, и его куски (неразборчиво) в водоворот клозета. Мой драгоценнейший, *mon tr?s, tr?s cher* какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца! Знаю, как вы сдержанны, как много в вас „британского“. Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваше чувство приличия, покоробит прямота бедной американочки! Вы, который скрываете ваши сильнейшие порывы, должны почесть меня бесстыдной дурочкой за то, что раскрываю так широко своё несчастное раненое сердце. В былые годы я испытала не мало разочарований. Мистер Гейз был прекрасный человек, надёжный и цельный, но, увы, он был на двадцать лет старше меня, так что — но не будем сплетничать о прошлом. Мой дорогой, твоё любопытство должно быть полностью удовлетворено, если ты пренебрёг мою просьбой и дочитал это письмо до горького конца. Впрочем, это неважно. Уничтожь его — и уезжай. Не забудь оставить ключи у себя на столе. И хоть какой-нибудь адрес, чтобы я могла вернуть двенадцать долларов, заплаченные тобой за остаток месяца. Прощай, дорогой мой. Молись за меня — если ты когда-нибудь молишься».

Ш. Г. Вышеприведённое — это то, что помню из письма, и помню я это дословно (включая исковерканные французские термины). Письмо было по крайней мере вдвое длиннее. Я выпустил лирическое место — которое я тогда более или менее проскочил — относительно брата Лолиты, умершего двух лет отроду, когда ей было четыре года: высказывалось предположение, что я очень бы его полюбил. Что же ещё там было, дайте вспомнить. Да. Допускаю, что слова «в водоворот клозета» (куда письмо в самом деле ушло) — мой собственный прозаический вклад. Она, вероятно, умоляла меня раздуть какой-нибудь специальный огонь для сожжения её послания.

Отвращение — вот было первое моё чувство в ответ, и к нему присоединилось желание смыться. За этим последовало нечто вроде ощущения спокойной дружеской руки, опустившейся ко мне на плечо и приглашающей меня не спешить. Я послушался. Я вышел из оцепенения и увидел, что всё ещё нахожусь в комнате Лолиты. Реклама во всю страницу, вырванная ею из глянцевого журнала, была приколоты к стене над постелью, между мордой исполнителя душевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. На этом цветном снимке изображён был темноволосый молодой муж. Во взгляде его ирландских глаз было что-то измождённое. Он «моделировал» халат (такого-то «дома») и держал перед собой за оба конца мостоподобный поднос (другой фирмы) с утренним завтраком на две персоны. Надпись взята была из церковного гимна, сочинённого священником Томасом Мореллем: «Вот идёт он, герой-победитель». Следовало, по-видимому, предположить, что основательно побеждённая новобрачная (не показанная на снимке) сидела среди подушек двуспальной постели, готовая принять свой конец подноса, но каким образом её постельный партнёр подлезет сам к ней под этот мост без катастрофы, оставалось неясным. Рука Лолиты провела шуточную стрелку по направлению опустошённого молодого супруга и приписала большими буквами: «Г. Г.»; действительно, несмотря на небольшую разницу в возрасте, сходство было поразительным. Под этой картинкой была другая — тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой «Дромадер». Он, мол, всегда курил «дромки». Он лишь слегка походил лицом на Г. Г. Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками. Эмаль сошла там и сям с железных штанг изголовья, оставив кругловатые проплешины на белом фоне. Убедившись в том, что Луиза ушла восвояси, я забрался в постель Лолиты и перечёл письмо.

17

Господа присяжные! Не могу поклясться, что некоторые действия, относившиеся так сказать — простите за выражение — до синицы в руке, не представлялись и прежде моему рассудку. Рассудок не удержал их в какой-либо логической форме. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал бывало (если позволите употребить и такое выражение) в тумане мечтаний, в темноте наваждения. Были случаи, не могли не быть случаи (я-то хорошо Гумберта знаю!), когда я как бы вчуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой вдовушке — (скажем, на Шарлотте Гейз), а именно на такой, у которой не оставалось бы никакой родни во всём мире, широком, сером — с единственной целью забрать её маленькую дочь (Ло,

Лолу, Лолиту). Я даже готов сказать моим истязателям, что может быть, иной раз я и бросил холодный взгляд оценщика на коралловые губы Шарлотты, на её бронзоватые волосы и преувеличенное декольте, смутно пытаюсь вместить её в раму правдоподобной грёзы. Делаю это признание под пыткой: может быть пыткой воображаемой — но тем более ужасной. Хотелось бы сделать тут отступление и рассказать вам подробнее о *ravog nocturnus*[49] который меня отвратительно терзал и терзает по ночам, когда застревает в мозгу случайный термин из беспорядочного чтения моего отрочества — например, *peine forte et dure*[50] (какой гений застенка придумал это!) — или страшные, таинственные, вкрадчивые слова «травма», «травматический факт» и «фрамуга». Впрочем, моя повесть достаточно корява и без отступлений.

Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своём фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы — и внезапно... Внезапно, господа присяжные, я почувал, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит, как далёкая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж её матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день — каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком.

«Легко и осторожно на коленях Тебя держать и поцелуй отцовский На нежной щёчке запечатлевать» — как когда-то сказал английский поэт. О начитанный Гумберт!

Затем, со всевозможными предосторожностями, двигаясь как бы на мысленных цыпочках, я вообразил Шарлотту как подругу жизни. Неужели я не смог бы заставить себя подать ей в постель этот экономно разрезанный на две порции помпimus, этот бессахарный брекфаст?

Гумберт Гумберт, обливаясь по?том в луче безжалостно белого света и подвергаясь окрикам и пинкам обливающимся по?том полицейских, готов теперь ещё кое-что «показать» (*quel mot!*[51]), по мере того как он выворачивает наизнанку совесть и выдирает из неё сокровеннейшую подкладку. Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить её каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи пяти сулемовых таблеток, растворённых в рюмке предобеденного хереса или чего-либо в этом роде; но в моём гулком и мутном мозгу всё же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой. Почему ограничивать себя тем скромно прикрытым наслаждением, которое я уже однажды испробовал? Передо мной другие образы любострастия выходили на сцену, покачиваясь и улыбаясь. Я видел себя дающим сильное снотворное матери и дочери одновременно, для того чтобы ласкать вторую всю ночь безвозбранно. Дом наполнился храпом Шарлотты, Лолита едва дышала во сне, неподвижная, как будто написанный маслом портрет отроковицы. «Мама, клянусь, что Кенни ко мне никогда не притронулся!» «Ты или лжёшь, Долорес, или это был ночной оборотень». Впрочем, я постарался бы не обрехотить малютки. Так Гумберт Выворотень грезил и волхвовал — и алое солнце желания и решимости (из этих двух и создаётся живой мир!) поднималось всё выше, между тем как на чередующихся балконах чередующиеся сибариты поднимали бокал за прошлые и будущие ночи. Затем, говоря метафорически, я разбил бокал вдребезги и смело представил себе (ибо к тому времени я был пьян от видений и уже недооценивал природной своей кротости), как постепенно я перейду на шантаж — о, совсем лёгкий, дымчатый шантажик — и заставлю большую Гейзиху позволить мне общаться с маленькой, пригрозив бедной обожающей меня даме, что брошу её, коли она запретит мне играть с моей законной падчерицей. Словом, перед такой сенсационной офертой (как выражаются коммерсанты), перед столь широкими и разнообразными перспективами я был податлив, как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду. А теперь запишите следующее важное замечание: художественной стороне своей природы я дал заслонить мою коренную порядочность. Тем большего усилия воли мне потребовалось, чтобы в сих записках настроить их слог на хамский лад того дневника, который я вёл ещё во дни, когда госпожа Гейз была для меня всего лишь препятствием. Этого дневника уже не существует; но я почёл за долг перед искусством сохранить его интонации, какими бы фальшивыми и брутальными они ни казались мне теперь. К счастью, мой рассказ достиг теперь того пункта, где я могу перестать поносить бедную Шарлотту ради ретроспективной правды.

Желая избавить бедную Шарлотту от двух-трёх часов сердечного замирания на извилистой дороге (и предотвратить, быть может, автомобильное столкновение, которое бы разбило нашу неодинаковую мечту), я очень предупредительно, но безуспешно попытался с нею снестись по телефону: позвонил в лагерь «Ку», но оказалось, что она вот уже час как выехала. Попав вместо неё на Лолиту, я сказал — трепеща и упиваясь властью над роком — что женюсь на её матери. Мне пришлось это повторить, так как что-то мешало ей отнестись с полным вниманием к моим словам. «Вот так здорово», проговорила она со смехом. «Когда свадьба? Погодите секундочку — тут у меня щенок — щенок занялся моим носком. Алло...». Она добавила, что

по-видимому развлечений у неё будет уйма... И я понял, повесив трубку, что двух часов в детском лагере было достаточно, чтобы новые впечатления совершенно вытеснили из головы маленькой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта. Впрочем, это теперь не имело значения. Получу её обратно по истечении приличного срока после венчания. «Букет венчальный на могиле едва увянуть бы успел», как выразился бы поэт. Но я не поэт. Я всего лишь очень добросовестный историограф.

Подумавши, я осмотрел содержимое кухонного холодильника и, найдя оное чрезмерно аскетическим, отправился в город и набрал самых пряных и жирных продуктов, какие были. Купил, кроме того, спиртных напитков высокого качества да несколько сортов витаминов. Я почти не сомневался, что с помощью этих возбуждающих средств да личных своих ресурсов мне удастся предотвратить некоторый, так сказать, конфуз, который мог бы произойти от недостатка чувства, когда придёт время явить могучее и нетерпеливое пламя. Снова и снова изворотливый Гумберт вызывал подобие Шарлотты, каким оно виделось в замочную скважину мужского воображения. Тело у неё было холёное и стройное, с этим никто не спорил, и, пожалуй, я мог подпереться мыслью, что она как бы старшая сестра Лолиты — если только мне не представлялись чересчур реально её тяжёлые бёдра, округлые колени, роскошная грудь, грубоватая розовая кожа шеи («грубоватая» по сравнению с шёлком и мёдом) и все остальные черты того плачевного и скучного, именуемого: «красивая женщина».

Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру. Я опорожнил полный стакан спиртного. И ещё один. И ещё. Любимый напиток мой, джинанас — смесь джина и ананасного сока — всегда удваивает мою энергию. Решил подстричь запущенный лужок в нашем саду. *Une petite attention.*[52] Он был засорён одуванчиками, и чья-то проклятая собака — не выношу собак — загадила каменные плиты, на которых некогда стояли солнечные часы. Почти все одуванчики уже превратились из солнц в луны. Джин и Лолита играли у меня в жилах, и я чуть не упал через складные стулья, которые хотел убрать. Краснополосые зебры! Бывает такая отрыжка, которая звучит овацией — по крайней мере моя так звучала. Ветхий забор позади сада отделял его от соседских отбросов и сирени; но никаких преград не было между передним концом нашего лужка (там, где он отлого спускался вдоль одной стороны дома) и улицей. Поэтому я мог выглядывать (с ухмылкой человека, собирающегося совершить доброе дело) возвращение Шарлотты: этот зуб следовало вырвать сразу. Валко напирая на увлекавшую меня вперёд ручную косилку — причём сбритые травинки, подскакивая, и словно чирикавая, поблёскивали при низком солнце, — я не сводил глаз с видного мне отрезка пригородной улицы. Она загибалась к нам из-под свода огромных тенистых деревьев и затем быстро спускалась всё круче и круче мимо кирпичного, виноградом увитого дома старушки Визави и её пологого луга (значительно более опрятного, чем наш), чтобы наконец скрыться за нашим передним крыльцом, не видным мне с того места, где я радостно порывивал и трудился. Одуванчики пали. Сочный травяной дух смешивался с ананасным. Две девочки, Марион и Мабель, за чьими прохождениями туда-сюда я, бывало, следил машинальным взглядом (но кто мог заменить мою Лолиту?), прошли по направлению проспекта (откуда спускалась наша Лоун Стрит): одна шла, толкая велосипед, другая на ходу питалась из бумажного мешочка, и обе говорили во весь голос, с солнечной звонкостью. Симпатичный Томсон, атлетический негр, служивший у старушки насупротив садовником и шофёром, широко улыбнувшись мне издали, крикнул, и повторно крикнул, комментируя крик жестом, что я, мол, необычно энергичен нынче. Дурак-пёс, принадлежавший соседу нашему, разбогатевшему тряпичнику, бросился догонять синий автомобиль — не Шарлоттин. Та из двух девочек, что была покрасивее (Мабель, кажется), в коротких штанишках, в бюстодержателе с бридочками, которому нечего было держать, и такая ярковолосая (нимфетка, клянусь Паном!), пробежала обратно, уминая в руках пустой бумажный мешочек, и пропала из поля зрения зелёного сего козла, зайдя за фронтон виллы г-на и г-жи Гумберт. Автомобиль семейного типа выскочил из лиственной тени проспекта, продолжая тащить некоторую её часть с собой, пока этот узор не распался у него на крыше, за край которой держался левой рукой, высунутой из окна, полуголый водитель машины; она промахнула идиотским аллюром, а рядом мчалась собака отставного тряпичника. Последовала нежная пауза — и затем, с неким трепетом в груди, я узрел возвращение Синего Седана. Он скользнул под гору и исчез за углом дома. Я различил мельком её спокойный, бледный профиль. Мне подумалось, что покуда она не поднимется на второй этаж, она не будет знать, уехал ли я или нет. Минуту спустя, с выражением большого страдания на лице, она выглянула на меня из окошка Лолитиной комнатки. Я так скоро взбежал по лестнице, что успел достичь комнатки, до того как она вышла из неё.



Когда невеста — вдовица, а жених — вдовец; когда она прожила в «нашем славном городке» меньше двух лет, он — не больше месяца; когда мосье ждёт не дожждётся, чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой; тогда свадьба обыкновенно бывает довольно «скромная». Невеста может обойтись и без тиары апельсиновых цветов, держащей на месте короткую фату, и без белой орхидеи, заложенной в молитвенник. Дочка невесты, пожалуй, внесла бы в церемонию бракосочетания Г. и Г. живой малиновый блик; но я чувствовал, как рискованно было бы с моей стороны оказать припёртой к стенке Лолите слишком много ласки, и посему я согласился, что не стоит отрывать девочку от её любимого «Ку».

Моя так называемая «страстная и одинокая» Шарлотта была в повседневной жизни практичной и общительной. Сверх того, я установил, что хотя она не могла сдержать ни порывов сердца в повседневной жизни, ни криков на ложе любви, она была женщина с принципами. Как только она стала более или менее моей любовницей (невзирая на возбуждающие средства, её «нервный, нетерпеливый ch?ri[53]» — героический ch?ri, по правде сказать — не избежал некоторых первоначальных затруднений, за которые, впрочем, он вполне её вознаградил прихотливейшим ассортиментом старосветских нежностей), мила Шарлотта учинила мне допросец насчёт моих отношений с Господом Богом. Я мог бы ответить, что в этом смысле я был свободен ото всяких предубеждений; вместо этого я сказал — отдавая дань благостному общему месту — что верю в одухотворённость космоса. Разглядывая ногти, она спросила ещё, нет ли у меня в роду некоей посторонней примеси. Я ответил встречным вопросом — захотела ли бы она всё-таки за меня выйти, если бы дед матери моего отца оказался, скажем, арабом. Она сказала, что это не имело бы никакого значения; но что если бы ей когда-нибудь стало известно, что я не верю в нашего христианского Бога, она бы покончила с собой. Она объявила это столь торжественно, что у меня прошёл мороз по коже. Тогда-то я понял, что она женщина с принципами.

О, она была благовоспитаннейшей мещанкой! Говорила «извините», если случалось легчайшей отрыжке перебить её плавную речь, произносила в английском envelope (конверт) первый слог в нос на французский манер и, говоря со знакомой дамой, называла меня «мистер Гумберт». Я подумал, что ей доставит удовольствие, если, входя в местное общество, я приволоку за собой романтическую тень. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в светской рубрике рамздэльской газеты, с фотографией Шарлотты: одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер. Несмотря на эту беду, реклама согрела фарфоровые створки её сердца и вызвала издевательское дребезжание моих змеиных гремушек. Тем, что она участвовала в работе церковно-благотворительных кружков, и тем ещё, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мамашами Лолитиных товаров, Шарлотта за полтора года изловчилась стать, если не перворазрядным, то во всяком случае приемлемым членом местного общества; но никогда ещё не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную рубрику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту (этого «Эдгара» я подкинул из чистого ухарства), «писателю и исследователю». Репортёр, брат моего Мак-Ку, записывая это, спросил, что именно я написал. Ответа моего не помню, но вышло у него так: «несколько трудов о Верлене, Рэмбодлере и других поэтах». В интервью было также отмечено, что мы с Шарлоттой были знакомы уже несколько лет и что я приходился дальним родственником её первому мужу. Я намекнул, что у меня был с нею роман тринадцать лет тому назад, но в газете этого не появилось. Шарлотте я сказал, что светскую рубрику блёстки опечаток только красят.

Будем продолжать сию любопытную повесть. Когда от меня потребовалось пожать плоды моего повышения из жильцов в сожители, испытал ли я лишь горечь и неохоту? Нет. Гумберт не мог не признаться в лёгком зуде тщеславия, в едва уловимом умилении, даже в некоем узоре изящного раскаяния, шедшем по стали его заговорщического кинжала. Я бы никогда не подумал, что довольно нелепая, хоть и довольно благообразная, г-жа Гейз, с её слепой верой в мудрость своей религии и своего книжного клуба, ужимками дикции, жёстким, холодным, презрительным отношением к обольстительной, голорукой, пушистенькой двенадцатилетней девочке — может обратиться в такое трогательное, беспомощное существо, как только наложу на неё руки — что случилось на пороге Лолитиной комнатки, в которую она отступала, прерывисто бормоча: «нет, нет, пожалуйста, нет...»

Перемена пошла впрок её внешности. Её улыбка, бывшая до тех пор столь искусственной, отныне сделалась сиянием совершенного обожания, — сиянием, полным чего-то мягкого и влажного, в котором я с изумлением различал сходство с обаятельным, бессмысленным, потерянным взглядом Лолиты, упивающейся какой-нибудь новой смесью сиропов в молочном баре или безмолвно любующейся моими дорогими, всегда отлично выглаженными вещами. Я, как зачарованный, наблюдал за лицом Шарлотты, когда она, делясь родительскими тревожностями с другой дамой, делала американскую гримасу женской резигнации (с закатыванием глаз и свисанием одной стороны рта), более детский вариант которой я видел, бывало, на лице у Лолиты. Мы

выпивали что-нибудь — виски или джину перед тем как лечь спать, и это помогало мне вообразить дочку, пока я ласкал мать. Вот — белый живот, в котором моя нимфетка лежала свёрнутой рыбка в 1934-ом году. Эти тщательно подкрашенные волосы, такие для меня безжизненные на ощупь и обоняние, приобретали иногда (при свете лампы, в двуспальной постели с четырьмя колонками по углам) оттенок, если не мягкость, Лолитиных локонов. Я всё повторял себе, меж тем как орудовал моей только что сфабрикованной, в натуральный рост женой, что в биологическом смысле она собой представляет максимально доступное мне приближение к Лолите; что в Лолитином возрасте, Лотточка была школьницей не менее соблазнительной, чем теперь её дочка, — и чем будет когда-нибудь дочка самой Лолиты. Я заставил жену извлечь — из-под целой коллекции башмаков (у покойного г-на Гейза была, как оказалось, чуть ли не патологическая страсть к обуви) — тридцатилетний альбом, дабы я мог посмотреть, как выглядела Лотта ребёнком; и несмотря на неправильность освещения и неуклюжесть одежд, мне удалось разобрать первый неясный черновик Лолитино очерка, её ног, маслачков, вздёрнутого носика. Лоттелита! Лолитхен!

Так, через изгороди времени, я запускал порочный взгляд в чужие мутные оконца. И когда путём жалких, жарких, наивно-похотливых ласок, она, эта женщина с царственными сосцами и тяжёлыми лядвиями, подготавливала меня к тому, чтобы я мог наконец выполнить свою еженочную обязанность, то я и тут ещё пытался напасть на пахучий след нимфетки, несясь с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса. Просто не могу вам сказать, как кротка, как трогательна была моя бедная супруга! За утренним кофе, в угнетающем уюте кухни, с её хромовым блеском, большим календарём (подарком кастрюльной фирмы) и хорошеньким уголком для первого завтрака (отделанным под стильный кафетерий, где Шарлотта и Гумберт будто бы ворковали вдвоём в студенческие дни), она сидела в красном капоте, облокотясь на пластиковую поверхность столика, подперев щеку кулаком и уставившись на меня с невыносимой нежностью во взгляде, пока я поглощал ветчину и яичницу. Хотя лицо Гумберта и поддёргивалось от невралгии, в её глазах оно соперничало с солнечным светом и лиственными тенями, зыблущимися на белом рефрижераторе. Мою мрачность, моё раздражение она принимала за безмолвие любви. Мой небольшой доход в совокупности с её ещё меньшими средствами производил на неё впечатление блистательного состояния, и это не потому, что получавшейся суммы было теперь достаточно для среднебуржуазных нужд, а потому что даже мои деньги сверкали для неё волшебством моей мужественности, так что она представляла себе наш общий текущий счёт в виде одного из тех бульваров на юге в полдень, с плотной тенью вдоль одной стороны и гладким солнцем вдоль другой, и этак до самого конца перспективы, где высятся розовые горы.

Пятидесятидневный срок нашего сожителства Шарлотта успела набить многолетней деятельностью. Бедняжка занялась всякими вещами, от которых ей приходилось прежде отказываться или которые никогда особенно её не интересовали, как будто (чтобы продлить эту серию прустовских интонаций) тем самым, что я женился на матери любимого мною ребёнка, я помог жене вернуть себе в изобилии юность по доверенности. С самозабвением пошлейшей «молодой хозяйки» она принялась «сублимировать домашний очаг». Я наизусть знал каждую щель этого «очага» — знал с тех пор как, сидя у себя за столом, я наносил на мысленную карту Лолитин маршрут через весь дом; я душой давно породнился с ним — с его неказистостью и неубранностью, и теперь прямо чувствовал, как несчастный ёжится в ужасном предвкушении ванны из эрю и охры и табачно-рыжей замазки, которую Шарлотта готовила ему. Она, слава Богу, до этого не дошла, но зато потратила огромное количество энергии, моя шторы, наващивая жалюзи, приобретая новые шторы и новые жалюзи, возвращая их магазину, замещая их другими и так далее, в постоянной смене света и мрака, улыбки и хмурости, сомнения и сожаления. Она возилась с кретоном и коленкором; она меняла масть дивана — священного того дивана, на котором в незабвенное утро во мне лопнул, замедленным темпом, пузырьрёк райского блаженства. Она распределяла мебель и была довольна узнать из трактата о домашнем хозяйстве, что «вполне дозволено разъединить пару диванных комодиков и к ним относящиеся лампы». Следуя за авторшей книги «Твой Дом — это Ты», она возненавидела худосочные маленькие стулья и тонконогие столики. Она верила, что комната с широким размахом оконного стекла и обилием роскошных лакированных плоскостей представляла собой пример комнаты мужского типа, меж тем как женский тип определялся более лёгкими оконницами и более хрупкой деревянной отделкой. Романы, за чтением которых я застал её при моём въезде, теперь были вытеснены иллюстрированными каталогами и руководствами по Устройству дома. Фирме, находившейся в Филадельфии, Бульвар Рузвельта, дом 4640-ой, она заказала для нашей двуспальной постели особенный «штофом обитый пружинистый матрац, модель 312-я», — хотя старый казался мне достаточно упругим и выносливым для всего того, что ему приходилось выдерживать.

Происхождением она была со среднего Запада, как и её первый муж, и перенеслась в жеманный Рамздэль,

жемчужину одного из восточных штатов, прожила там слишком недолго, чтобы по-настоящему подружиться со всеми приличными людьми. Она слегка знала жовиального дантиста, жившего в чём-то вроде полуразвалившегося деревянного замка позади нашего сада. Она познакомилась на чае в прицерковном клубе со спесивой супругой отставного старьевщика, которому принадлежал страшный белый домик в так называемом «колониальном» стиле на углу проспекта. Время от времени она «наносила визиты» старушке Визави; но матроны познатнее из тех, которых она навещала или встречала на «садовых» приёмах, или занимала длинными разговорами по телефону — изысканные дамы, как г-жа Шеридан, г-жа Мак-Кристал, г-жа Найт и прочие, — как-то редко заходили к моей пренебрегаемой светом Шарлотте. Единственно, с кем у неё сложились истиннодружеские отношения, лишённые и задних мыслей и практических умыслов, это с четой по фамилии Фарло, которая вернулась из делового путешествия в Чили как раз вовремя, чтобы присутствовать на нашей свадьбе вместе с Чатфильдами, четой Мак-Ку и некоторыми другими (но не с г-жой Старьевщицей или с ещё более высокомерной г-жой Тальбот). Джон Фарло был пожилой, спокойный, спокойноатлетический, спокойно-удачливый торговец спортивными товарами, с конторой в Паркиннгоне, в сорока милях от нас; это он снабдил меня амуницией для пресловутого Кольта и научил им пользоваться (как-то во время воскресной прогулки в приозёрном бору); он также был «отчасти адвокатом» (как сам говорил с улыбкой) и в своё время привёл в порядок некоторые Шарлоттины дела. Джоана, его моложавая жена, приходившаяся ему двоюродной сестрой, была долгоногая дама, в очках с раскосой оправой; у неё были два палевых бульдога, две острых грудки и большой красный рот. Она писала пейзажи и портреты — живо помню, как за рюмкой коктейля мне случилось похвалить сделанный ею портрет маленькой племянницы, Розалины Грац, грациозной, розовой красотики в гэрл-скаутской форме (берет из зелёной шерсти, зелёный вязаный пояс, прелестные кудри до плеч), и Джон вынул изо рта трубку и сказал, как жаль, что Долли (моя Доллита) и Розалина так неприязненно относятся друг к другу в школе; впрочем, он выразил надежду, и мы все поддакнули, что они лучше сойдутся, когда вернутся, каждая из своего летнего лагеря. Мы поговорили о школе. У неё были свои недостатки и свои достоинства. «Конечно, среди наших торговцев много италийцев, — сказал рассудительный Джон, — но зато мы до сих пор были избавлены от жи...». Джоана стремительно перебила его: «Как было бы хорошо, если бы наши девочки проводили это лето вместе!» Внезапно я вообразил Лолиту по возвращении из лагеря — посмуглевшую, тёплую, сонную, одурманенную — и готов был зарыдать от страсти и нетерпения.

19

Хочу написать ещё несколько слов о г-же Гумберт, куда пишется (скоро предстоит тяжкая катастрофа). Я всегда отдавал себе отчёт в том, что в её характере есть некоторая доля властности, но я никак не думал, что она может оказаться столь дико ревнивой ко всему, что в моей жизни не относилось к ней. У неё разыгралось ярое, ненасытное любопытство к моему прошлому. Она требовала, чтобы я воскресил всех женщин, которых в жизни любил, дабы заставить меня высмеять их, растоптать их и отречься от них, отступнически и до конца, тем самым уничтожив моё прошлое. Она вынудила у меня отчёт о моём браке с Валерией, которая, конечно, была чрезвычайно смешна; но сверх того мне пришлось выдумать, или безсовестно разукрасить длинный ряд любовниц, чтобы Шарлотта могла злорадно на них любоваться. В угоду ей мне пришлось ей представить целый иллюстрированный каталог, снабдив этих дам тонкими отличиями, согласно традиции американских объявлений, которые, используя для своих целей группу школьников, распределяют их по правилам изощрённой расовой пропорции, а именно всегда помещают среди белолицых ребят одного — и только одного — но зато совершенного душку — круглоглазого, шоколадного цвета малыша, почти, но не совсем по самой середине первого ряда парт. Представляя ей моих дам, я заставлял их улыбаться и покачиваться, и все они — томная блондинка, темпераментная негритянка, рыжеволосая развратница — были выстроены, как на параде в весёлом доме. Чем очевиднее и вульгарнее они у меня получались, тем больше нравился г-же Гумберт мой водевиль.

Никогда в жизни я не делал и не выслушивал такого множества признаний. Искренность и безыскусственность, с которыми она обсуждала то, что называла своей «любовной жизнью», начиная с первых затяжных поцелуев и кончая супружеской вольной борьбой, представляли в моральном смысле резкий контраст моему безпардонному вранью; но в техническом смысле, обе серии были однородны, ибо на обе влиял тот же материал (радиомелодрамы, психоанализ, дешёвые романчики), из которого я извлекал своих действующих лиц, а она — свой язык и стиль. Меня немало позабавили некоторые необыкновенные половые причуды, свойственные почтенному Гарольду Гейзу, по словам Шарлотты, которая сочла гогот мой неприличным; вообще же говоря, её

раскрытие души оказалось столь же мало интересно, как было бы вскрытие её тела. Никогда не видал я более здоровой женщины — несмотря на диетические голодовки.

О моей Лолите она говорила редко — реже, например, чем о том ребёнке мужского пола, светловолосом, со смазанными чертами, фотография которого была единственным украшением нашей суровой спальни. Предаваясь бесвкусу мечтанию, она изволила предвидеть, что душа умершего младенца возвратится на землю во образе дитяти, которое она родит в теперешнем своём браке. И хотя я не испытывал особого позыва к тому, чтобы пополнить родословню Гумберта слепком с плода Гарольда (Лолиту, не без сладкого чувства кровосмешения, я привык считать своим ребёнком), мне пришло в голову, что продолжительные роды, с основательным кесаревым сечением и разными другими осложнениями, в укромном родильном приюте, этак будущей весной, дадут мне возможность побыть наедине с моей Лолитой несколько недель сряду — и закармливать размаянную нимфетку снотворными порошками.

Ах, как она ненавидела дочь! Особенно злостным мне казалось то, что она совершенно зря, но с громадным прилежанием, ответила на дурацкие вопросы в имевшейся у неё книге («Знай своего ребёнка»), изданной в Чикаго. Этот вздор был растянут на несколько лет: мамаше полагалось делать нечто вроде инвентаря по прохождении каждого года в жизни ребёнка. В день двенадцатой годовщины рождения Лолиты, 1-го января 1947 года, Шарлотта Гейз, до замужества Беккер, подчеркнула следующие эпитеты, десять из сорока, (в рубрике «характер ребёнка»): агрессивный, буйный, вялый, негативистический (подчёркнуто дважды!), недоверчивый, нетерпеливый, привередливый, проницательный, раздражительный, угрюмый. Она не обратила никакого внимания на остальные тридцать прилагательных, среди которых были такие, как «весёлый», «покладистый», «энергичный» и прочее. Это было просто невыносимо! Со свирепостью, которую в иное время я никогда не примечал в мягкой натуре моей любящей жены, она атаковала и обращала в бегство всякие маленькие принадлежности Лолиты, которые забирались в разные углы дома и там замирали, как загипнотизированные зайчики. Моей благоверной не могло и присниться, что однажды, воскресным утром, когда расстройство желудка (случившееся вследствие моих попыток улучшить её соуса) помешало мне пойти с нею в церковь, я изменил ей с одним из Лолитиных белых носочков. А что за скверное отношение к письмам моего ландыша, моей души!

«Дорогие Мамочка и Гумочка,

Надеюсь, вы здоровы. Большое спасибо за конфеты. Я (вычеркнуто и написано опять) я потеряла мой новый свитер в лесу. Последнее время погода была свежая. Мне очень тут.

Любящая вас Долли» «Вот ведь безмозглая», сказала г-жа Гумберт, «пропустила слово после „очень“. Этот свитер был из чистой шерсти. И я, знаешь, просила бы тебя советоваться со мной, прежде чем посылать ей конфеты».

20

В нескольких милях от Рамздэля было в лесу озеро — так называемое Очковое Озеро (уже упомянутое мной); мы туда ездили ежедневно в течение одной особенно знойной недели в конце июля. Я теперь вынужден описать с довольно скучными подробностями последнее наше совместное купание там, как-то во вторник, в тропическое утро.

Оставив автомобиль в специально отведённом для этого месте, недалеко от шоссе, мы направлялись к озеру по тропинке, проложенной через сосновый лес, когда Шарлотта сказала, что Джоана Фарло, в погоне за редкостными световыми эффектами (Джоана принадлежала к старой школе живописи) в воскресенье видела, как Лесли Томсон купался, «в чём ночь родила» (как сострил Джон), в пять часов утра.

«Вода», сказал я, «должно быть была прехолодная».

«Не в этом суть дела», возразила логичная, хоть и обречённая голубка. «Он, видишь ли, слабоумный. И признаюсь», продолжала она (с той свойственной ей тщательностью фразировки, которая уже начинала сказываться на моём здоровье), «я определённо чувствую, что наша Луиза влюблена в этого кретина».

Чувствовать. «Мы чувствуем, что Долли учится не так хорошо, как могла бы...» и прочее (из старого школьного отзыва).

Гумберты продолжали шествовать, в сандалиях и халатах.

«Знаешь, Гум, у меня есть одна дерзкая мечта», проговорила леди Гум, опуская голову — как бы стыдясь этой мечты или ища совета у рыжей земли. «Мне бы так хотелось достать настоящую тренированную служанку вроде той немки, о которой говорили Тальботы; и чтобы жила у нас».

«Нет места», ответил я.

«Да что ты!», сказала она со своей мнимо-загадочной улыбкой, «право, ch?ti, ты недооцениваешь возможностей гумбертовского дома. Мы бы поместили её в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная и гадкая конура во всём доме».

«О чём ты собственно говоришь?» спросил я, причём кожа моих маслаков подтянулась (если я потрудился это отметить, то лишь потому, что кожа моей дочки делала то же, когда она то же испытывала: недоумение, отвращение, раздражение).

«Тебя, может быть, останавливают какие-нибудь романтические ассоциации?», поинтересовалась моя жена намекая на наш первый поцелуй.

«А ну их», ответил я, «я просто хочу понять, куда ты поместишь дочь, когда достанешь своего гостя или свою горничную».

«О!» сказала г-жа Гумберт, мечтая, улыбаясь, продлевая это «О!», и в то же время приподымая одну бровь и нежно выдыхая воздух. «Боюсь, что маленькая Ло тут совершенно, совершенно ни при чём. Маленькая Ло отправляется после лагеря прямо в пансионат — хороший пансионат со строгой дисциплиной и солидной программой религиозного образования. А затем — Бердслей Колледж. Всё это у меня очень точно разработано, можешь не беспокоиться».

Она добавила, что она, Гумбертша, должна будет перебороть свою обычную лень и написать сестрице старухи Фален, которая преподавала в пансионате Св. Алгебры. Появилось между соснами ослепительное озеро. Я сказал, что забыл в автомобиле тёмные очки и сейчас догону её.

Мне всегда думалось, что ломание рук — жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала; но когда я теперь углубился в лес, чтобы предаться отчаянию и страшным размышлениям, именно этот жест («Погляди, Боже, на эти цепи!») лучше всего мог бы выразить без слов моё настроение.

Будь Шарлотта Валерией, я бы знал, как в данном случае действовать — да, «действовать» как раз подходящее слово; в доброе старое время мне достаточно было начать выворачивать толстой Валечке хрупкую кисть (ту, которую она повредила при падении с велосипеда) для того, чтобы она мгновенно изменила своё мнение; но в отношении Шарлотты всё это было немыслимо. Хладнокровная американская Шарлотта на меня наводила страх. У меня ничего не вышло из беспечной идеи завладеть её волей через её любовь. Я не смел ничего сделать, что могло бы нарушить мой образ, который она создала, чтобы ему поклоняться. Я подлизывался к ней, пока она была грозной дуэньей моей душеньки, и нечто от этого пресмыкания сохранилось и теперь в моём отношении к ней. У меня был только один козырь — то, что она ничего не знала о моём чудовищном увлечении её девочкой. Её злило, что я девочке нравился; но моих собственных чувств она угадать не могла. Валерии я бы сказал: «Послушай-ка, толстая дура, c'est moi qui d?side[54], что хорошо для Долорес Гумберт». Шарлотте же я даже не смел сказать (с подобострастным спокойствием): «Извини меня, голубка, но я не согласен с тобой. Дадим девочке ещё один шанс. Я готов учить её дома год или два. Ты однажды сама говорила». Дело в том, что я не мог ничего сказать Шарлотте о девочке без того, чтобы не выцать себя. Ах, вы не можете себе представить (как и я никогда не представлял себе), какие они, эти женщины с принципами! Шарлотта, которая не замечала фальши обиходных условностей, правил поведения, патентованной пищи, книг и людей, на которых она молилась, немедленно различила бы неправильную интонацию, какие бы слова я ни произнёс с целью удержать Лолиту около себя. Она была как музыкант, который может быть в жизни ужасным пошляком, лишённым интуиции и вкуса, но дьявольскиточный слух которого расслышит малейшую ноту в оркестре. Чтобы разбить силу её воли, мне понадобилось бы разбить ей сердце. Если я разбил бы ей сердце, мой образ в нём разбился бы тоже. Если бы я ей сказал: «Или я делаю с Лолитой, что хочу — и ты помогаешь мне держать дело в тайне, — или же мы тотчас разводимся», — она бы побледнела, словно превратившись в матовое стекло, и неторопливо ответила бы: «Хорошо: чего бы ты теперь ни прибавил, чего бы ни взял обратно — это конец». И так оно и было бы.

Вот, значит, в какую беду я попал. Помню, как я дошёл до площадки для парковки и как, накачав из фонтанчика пригоршню ржавой на вкус воды, хлебнул её так жадно, как если бы она могла мне дать волшебную мудрость, юность, свободу, крохотную наложницу. Потом посидел — в фиолетовом своём халате, болтая ногами, на краю одного из грубо сколоченных пикниковых столов под широкошумными соснами. Поодаль две девочки в трусиках и лифчиках вышли из бликами испещрённой будки клозета с пометой: Для Женщин. Жующая резину Мабель (или дублёрша Мабели) медлительно, рассеянно полезла верхом на велосипед, а Марион, трясая волосами чтобы отогнать мух, села сзади, с широко расставленными ногами; и, виляя, они медлительно,

рассеянно слились со светом и тенью. Лолита! Отец и дочь, исчезающие в тающей этой глухомани. Естественнейшим разрешением задачи было бы: уничтожить г-жу Гумберт. Но как?

Ни один человек не способен сам по себе совершить идеальное преступление; случай, однако, способен на это. Криминалисты помнят, например, знаменитое убийство некоей мадам Лякур в Арле, на юге Франции, в конце прошлого столетия. Неопознанный бородач сажённого роста, который, может быть, был с этой дамой в тайной любовной связи, подошёл к ней на многолюдной улице, несколько дней после того, что она вышла за полковника Лякура, и трижды вонзил ей кинжал в спину, покамест полковник, бульдожьего типа коротыш, продолжал висеть на руке у убийцы. По чудесному и прекрасному совпадению как раз в это мгновение, когда преступник стал разжимать челюсти сердитого маленького мужа (между тем как сбегался народ), — какой-то мечтатель-итальянец в доме, ближайшем к месту происшествия, совершенно случайно привёл в действие взрывчатый снаряд, с которым возился; и немедленно улица обратилась в адский хаос дыма, падающих кирпичей и спасающихся людей. Взрыв, однако, никому вреда не нанёс (если не считать того, что нокаутировал доблестного полковника Лякура); а мстительный любовник кинулся бежать, когда кинулись бежать остальные, после чего прожил долгую и счастливую жизнь.

Посмотрим теперь, что бывает, когда злоумышленник пробует сам устроить идеальное изъятие.

Я спустился к Очковому Озеру. Уголок, где мы и ещё несколько «приличных» семейств (Фарло, Чатфильды) облюбовали место для купания, представлял собой небольшой затон; моей Шарлотте он нравился тем, что это было почти как «частный пляж». Публичный же пляж — со всеми удобствами для купающихся (или топящихся, как «Рамздэльский Листок» имел случай выразиться) — находился в левом (т. е. восточном) очке озера и не был виден из нашего затончика. Сосняк, бывший справа от нас, дальше сменялся болотом, после чего, описав полукруг, берег снова одевался бором по другой стороне западного очка.

Я опустил на песок рядом с женой так тихо, что она вздрогнула.

«Пошли в воду?» спросила она.

«Через минуточку. Дай мне продумать одну комбинацию». Я продолжал думать. Прошла минута с лишним.

«Ладно. Пошли».

«А я участвовала в этой комбинации?»

«И как ещё!»

«То-то же!» сказала Шарлотта, входя в воду. Вода вскоре дошла ей до толстых, покрытых гусиной кожей ляжек; затем, вытянув перед собой сложенные ладони, плотно сжав губы, с неожиданно попростевшим в оправе чёрного резинового шлема лицом, Шарлотта ринулась вперёд с громким плеском.

Мы медленно плыли в озёрном сверкании.

На противном берегу, по крайней мере в тысяче шагах от нас (если бы можно было шагать по воде), я различал крошечные силуэты двух человек, усердно работавших на своём куске берега. Я в точности знал, кто они: отставной полицейский польского происхождения и отставной водопроводчик, которому принадлежала большая часть леса на той стороне озера. Я тоже знал, чем они заняты — постройкой, для собственного дурацкого развлечения, деревянной пристани. Доносившийся до нас стук казался до странности значительнее, чем подходило бы их карликовым рукам и инструментам; можно было подумать, что заведующий звуковыми эффектами не сговорился с пупенмейстером, особенно потому что здоровенный треск каждого миниатюрного удара запаздывал по отношению к его зрительному воплощению.

Короткая светло-песчаная полоска «нашего» пляжа — от которого мы теперь несколько удалились, достигнув глубокой воды — бывала пуста в будни. Никого не было кругом, кроме этих двух сосредоточенно работавших фигурок на том берегу, да тёмно-красного частного самолёта, который высоко прожужжал и пропал в синеве неба. Лучшей декорации и придумать нельзя было для быстренького булькающего человекоубийства, и вот тончайшая пуанта: применитель закона и проводчик воды находились как раз достаточно близко, чтобы быть свидетелями несчастного случая, и как раз достаточно далеко, чтобы не разглядеть преступления. Они находились достаточно близко, чтобы услышать, как мечущийся в воде растерянный купальщик отчаянно ревёт, призывая на помощь кого-нибудь, кто бы спас его тонущую жену; и они были слишком далеко, чтобы различить (ежели они посмотрели бы до времени), что отнюдь не растерянный купальщик как раз кончает затаптывать жену под воду. Этой стадии я ещё не достиг; я только хочу объяснить простоту действия, отчётливость постановки! Так вот, значит, Шарлотта подвигалась вплавь с неуклюжей добросовестностью (была она весьма посредственной ундиной), но и не без некоторого торжественного наслаждения (ведь её водяной состоял при ней); и наблюдая всё это с самодовлеющей ясностью будущего воспоминания (как, знаете ли, когда смотришь на вещи, стараясь увидеть их такими, какими будешь потом их вспоминать) — лоснящуюся белизну её мокрого

лица, весьма слабо загоревшего, невзирая на все её старания, и бледные губы, и голый выпуклый лоб, и тесный чёрный шлем, и полную мокрую шею, — я знал, что мне только нужно слегка отстать, набрать побольше воздуха в лёгкие, затем схватить её за щиколотку и стремглав нырнуть под воду с пленным трупом. Говорю «трупом», ибо неожиданность, испуг и неопытность заставили бы бедную ундину разом хлебнуть целое ведро смертоносной озёрной воды; я же мог бы выдержать по крайней мере с минуту под водой, не закрыв при этом глаз. Роковое движение мелькнуло передо мной, как хвост падучей звезды, по черноте замышляемого преступления. Так, в безмолвном зловещем балете, танцор держит партнёршу за ножку, стрелой уходя в чудно подделанную подводную мглу. Я бы всплыл за глотком воздуха, всё ещё держа её под водой, и затем продолжал бы нырять столько раз, сколько оказалось бы нужным, и только когда над ней окончательно опустился бы занавес, я бы позволил себе позвать на помощь. И когда, минут через двадцать, те два человека с другого берега, равномерно увеличиваясь, приблизились бы в гребной лодке с одним свежее-покрашенным боком, бедная г-жа Гумберт, жертва мышечной судороги или сердечного приступа, или и того и другого вместе, уже стояла бы на голове в чернильном иле, саженой на пять под смеющейся гладью Очково-змеинового Озера.

Как просто, не правда ли? А вот подите же, судари мои, мне было абсолютно невозможно заставить себя это совершить!

Она плыла рядом со мной, как доверчивый, неповоротливый тюлень, и вся логика страсти кричала мне в уши: «Не жди!» А я, судари мои, не мог и не мог! Молча, я повернул к берегу, и степенно, добросовестно она повернула тоже, и охрипший от крика дьявол всё ещё повторял свой совет, и всё ещё я не мог заставить себя утопить это несчастное, скользкое, большетелое создание. Крик становился всё глуше по мере того, как я осознавал печальную истину, что ни завтра, ни в пятницу, и ни в какой другой день или ночь не удастся мне себя заставить её убить. О, я мог вообразить, что ужасными шлепками нарушаю симметрию Валечкиных грудей, или что как-нибудь иначе причиняю ей боль, — и так же ясно мог увидеть себя всаживающим пулю в брюхо её любовника, так чтобы он охнул и сел. Но Шарлотту убить я не мог — особенно когда, в общем, положение не было, может быть, столь безнадежным, как оно казалось на первый вздрог в то ужасное утро. Поймай я её за сильную отбивающуюся ногу, увидь я её изумлённый взгляд, услышь я её страшный голос, пройди я всё-таки через это испытание, её призрак преследовал бы меня всю жизнь. Быть может, если бы мы жили в 1447-ом году, а не в 1947-ом, я обманул бы свою кроткую природу, подсыпав ей классического яду из полого агата на перстне, напоив её роковым сладким зельем. Но в нашу буржуазную эру, когда все суют нос в чужие дела, это не сошло бы мне так, как сходило в обитых парчой глухих чертогах прошлого. В наши дни убийца должен быть химиком. Нет, нет, я не был ни тем ни другим. Господа присяжные, милостивые государи и столь же милостивые государыни! Большинство обвиняемых в проступках против нравственности, которые тоскливо жаждут хоть каких-нибудь трепетных, сладко-стонущих, физических, но не непременно соитием ограниченных отношений с девочкой-подростком — это всё безвредные, никчёмные, пассивные, робкие чужаки, лишь одного просящие у общества, а именно: чтобы оно им позволило следовать совершенно в общем невинным, абerratивным, как говорится, склонностям и предаваться частным образом маленьким, приятно жгучим и неприятно влажным актам полового извращения без того, чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на них. Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это делают бравые солдаты. Мы несчастные, смиренные, хорошо воспитанные люди с собачьими глазами, которые достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых, но готовы отдать много, много лет жизни за одну возможность прикоснуться к нимфетке. Подчёркиваю — мы ни в каком смысле не человекоубийцы. Поэты не убивают. О, моя бедная Шарлотта, не смотри на меня с ненавистью из твоего вечного рая посреди вечной алхимической смеси асфальта, резины, металла и камня — но, слава Богу, не воды, не воды!

Всё же я был на волосок от беды, говоря совсем объективно. И теперь раскрывается суть моей притчи об идеальном убийстве.

Мы уселись на свои мохнатые полотенца, под жадным до нас солнцем. Она оглянулась кругом, освободила бридочки и легла ничком, дабы дать лучам полакомиться её спиной. Сказала, что любит меня. Глубоко вздохнула, протянула руку к лежащему рядом халату и нащупала в его кармане пачку папирос. Перешла в сидячее положение, закурила. Изучила своё правое плечо. Наградила меня, открыв дымный рот, основательным поцелуем. Вдруг позади нас из-под кустов покатались по песчаному скату два-три камушка.

«Мерзкие, подглядывающие дети», проговорила Шарлотта, придерживая на груди объёмистый чёрный лифчик и поворачиваясь опять на живот. «Мне придётся поговорить об этом с Петром Крестовским».

У выхода тропинки раздался шорох, звук шагов, и появилась Джоана Фарло с мольбертом и другими принадлежностями.

«Ты напугала нас», сказала Шарлотта. Джоана объяснила, что была там над скатом, в тайнике зелени, и оттуда «шпионила за природой» (шпионов обычно расстреливают), стараясь дописать пейзаж — но ничего, мол, не вышло, таланта не хватало (что было совершенно верно).

«А вы, Гумберт, вы когда-нибудь пробовали рисовать?»

Шарлотта, которая немножко ревновала меня к Джоане, спросила, придёт ли Джон?

Да, придёт. Он собирался завтракать сегодня дома. Привёз её по дороге в Паркингтон и скоро теперь подберёт. Какое прекрасное утро! Она всегда чувствовала себя изменницей по отношению к Мелампию и Кавалле, когда оставляла их привязанными дома в такие дивные дни. Села на белый песочек между Шарлоттой и мной. Её длинные коричневые ноги в трусиках были для меня приблизительно столько же соблазнительными, как ноги гневной кобылы. Она показывала дёсны, когда улыбалась.

«Я чуть не включила вас в своё озеро», сказала она. «Между прочим, я заметила кое-что, чего вы недосмотрели. Вы (обращаясь к Гумберту) забыли снять наручные часики, да, сэр, забыли».

«Уотерпруф» (непромокаемые), тихо произнесла Шарлотта, сложив губы по-рыбьи.

Джоана положила мою кисть к себе на колено и полюбовалась Шарлоттиным подарочком; затем положила руку Гумберта обратно на песок, ладонью кверху.

«Ты Бог знает что могла оттуда увидеть», заметила Шарлотта не без кокетства.

Джоана вздохнула. «Раз, вечером», сказала она, «я видела двух детей, мужского и женского пола, которые вот на этом месте, деятельно совокуплялись. Их тени были как гиганты. И я, кажется, говорила вам о Лесли Томсоне, который купается нагишом на заре. Я теперь всё жду, что после чёрного атлета появится жирная котлета, Айвор Куильти (наш дантист), без ничего. Он, между прочим, невероятный оригинал — этот старик. Когда я у него была последний раз, он мне рассказал совершенно неприличную историю про племянника. Оказывается...»

«А вот и я», — раздался голос Джона.

21

Привычка хранить молчание, когда я гневался, или вернее, холодная и как бы чешуйчатая сторона моего гневного молчания наводила, бывало, на Валерию невероятный страх: «Я не знаю, о чём ты думаешь, когда ты такой и это меня сводит с ума», жаловалась она. Я старался наказать Шарлотту молчанием — но она как ни в чём не бывало продолжала щебетать или брала молчальника за подбородок. Поразительная женщина! Бормоча, что мне приходится как никак писать учёный труд, я забирался в свою бывшую комнату; Шарлотта же всё жизнерадостнее наводила красоту на нашу обитель, ворковала в телефон, писала письма. Из моего окна, сквозь глянцевиный перелив тополёвой листвы, я мог видеть её идущую через улицу и с довольным видом опускающую в ящик письмо к сестре мисс Фален.

Неделя сырой, пасмурной погоды, которая последовала за нашим только что описанным посещением молчаливых песков Очкового Озера, была одной из самых мрачных в моей жизни. Затем мелькнули два-три неясных луча надежды — перед окончательной вспышкой солнца.

Я смекнул, что у меня есть хороший мозг, что работает он великолепно и что следует этим воспользоваться. Пусть я не смел вмешиваться в планы жены для Лолиты (становившейся с каждым днём теплее и смуглее под ясным небом безнадежной дали), всё же я мог найти какой-то основной способ для утверждения общего своего авторитета, который я бы мог впоследствии применить в частном случае. Однажды вечером Шарлотта сама дала мне подходящий повод.

«У меня для тебя есть сюрприз», сказала она, глядя на меня нежными глазами поверх ложки супа. «Осенью, мы с тобой едем в Англию».

Я не спеша проглотил свою ложку супа, вытер губы розовой бумажкой (О, прохладное, тонкое полотно столового белья в моей «Миране»!) и сказал:

«У меня тоже есть для тебя сюрприз, моя милая. Мы с тобой не едем в Англию».

«Почему? В чём дело?» спросила она, наблюдая — с большим удивлением чем я рассчитывал вызвать своим ответом — за моими руками (я невольно складывал, рвал, мял и опять рвал ни в чём неповинную розовую «салфетку»). Впрочем, моя улыбка несколько её успокоила.

«Дело обстоит очень просто», сказал я. «Даже при самом гармоничном браке, как, например, наш, не все решения принимает супруга. Есть вопросы, для решения которых существует муж. Я хорошо могу себе представить волнующее удовольствие, которое тебе, как нормальной американке, должен доставить переезд



через океан на том же трансатлантическом пароходе, что лэди Бимбом, кузина короля Англии, Билль Бимбом, король мороженого мяса, или холлибудская шлюха. И я не сомневаюсь, что мы с тобой представили бы отличную рекламу для туристической конторы: ты с откровенным преклонением, а я, сдерживая завистливое восхищение, смотрим в Лондоне на дворцовую стражу, на этих малиновых гвардейцев, Бобровых Мясоедов, или как их там ещё. У меня же, как раз, аллергия к Европе, включая добрую старую Англию. Как тебе хорошо известно, меня ничто, кроме самых грустных воспоминаний, не связывает со Старым, и весьма гнилым, Светом. Никакие цветные объявления в твоих журналах этого не переменят»...

«Голубчик мой», сказала Шарлотта, «я право же...»

«Нет, погоди. Это — пустяк, частность; я, собственно, говорю в более широком смысле. Когда тебе захотелось, чтобы я проводил целые дни, загорая на озере, вместо того чтобы заниматься своей работой, я охотно подчинился и превратился ради тебя в представителя бронзовой молодёжи, вместо того чтобы остаться литературоведом и... ну, скажем, педагогом. Когда ты меня ведёшь на бридж к милейшим Фарло, я кротко плетусь за тобой. Нет, пожалуйста, погоди. Когда ты декорируешь свой дом, я не мешаю твоим затеям. Когда ты решаешь — ну, решаешь всякие там вещи, я могу быть против, совершенно против — или скажем, отчасти; но я молчу. Я игнорирую отдельные случаи, но не могу игнорировать общий принцип. Я люблю, чтобы ты мной командовала, но во всякой игре есть свои правила. Нет, я не сержусь. Я вовсе не сержусь. Перестань это делать. Но я представляю собой половину семейного очага и имею собственный, небольшой, но отчётливый голос». Она перешла между тем на мою сторону стола и, упав на колени, медленно, но настойчиво трясла головой и перебирала холёными ногтями по моим штанам. Сказала, что ей и в голову не приходило, что могу так думать. Сказала, что я её божество и властелин. Сказала, что Луиза уже ушла, и мы можем немедленно предаться любви. Сказала, что я должен её простить, или она умрёт.

Этот маленький инцидент значительно меня ободрил. Я спокойно ответил ей, что дело не в прощении, а в перемене поведения; и я решил закрепить выигранное преимущество и проводить впредь много времени в суровом и пасмурном отчуждении, работая над книгой или хотя бы притворяясь, что работаю.

Кровать-кушетка в моей бывшей комнате давно была превращена просто в кушетку, чем, впрочем, всегда оставалась в душе, и Шарлотта предупредила меня в самом начале нашего сожительства, что постепенно комната будет переделана в настоящий писательский кабинет. Дня через два после «британского инцидента», я сидел в новом и очень покойном кресле с большим томом на коленях, когда, постучав в дверь колечком на пальце, вплыла Шарлотта. Как непохожи были её движения на движения моей Лолиты, когда та, бывало, ко мне заглядывала, в своих милых, грязных, синих штанах, внося с собой из страны нимфеток аромат плодовых садов; угловатая и сказочная, и смутно порочная, с незастёгнутыми нижними пуговками на мальчишеской рубашке. Но позвольте мне вам что-то сказать. Под задорностью маленькой Гейз, как и под важностью большой Гейз, робко бежал тот же (и на вкус и на слух) ручеёк жизни. Знаменитый французский врач как-то говорил моему отцу, что у близких родственников слабейшее бурчание в желудке имеет тот же музыкальный тон.

Итак Шарлотта вплыла. Она чувствовала, что между нами не всё благополучно. Накануне, как и за день до того, я сделал вид, что заснул, как только мы легли, а встал до того, как она проснулась. Она ласково спросила, не мешает ли.

«В эту минуту — нет», ответил я, поворачивая открытый на букве «К» том энциклопедии для девочек, так чтобы лучше рассмотреть картинку, напечатанную нижним краем вдоль обреза.

Она подошла к столику — он был из поддельного красного дерева с одним ящиком. Положила на столик руку. Столик был некрасивый, что и говорить, но он ни в чём не был перед ней виноват.

«Я давно хотела тебя спросить», сказала она (деловито, без всякой игривости), «почему он у тебя заперт? Ты хочешь, чтобы этот столик оставался в кабинете? Он ужасно какой-то гадкий».

«Оставь его в покое», процедил я. Я был с гэрл-скаутами в Кальгари.

«Где ключ?»

«Спрятан».

«Ах, Гумочка...»

«В нём заперты любовные письма».

Она бросила на меня взгляд раненой газели, который так бесил меня; и затем, не совсем понимая, шучу ли я, и не зная, как поддержать разговор, простояла в продолжение нескольких тихо поворачиваемых страниц (Канада, Кино, Конфета, Костёр), глядя скорее на оконное стекло, чем сквозь него, и барабаня по нему острыми, карминовыми, миндалевидными ногтями.

Две минуты спустя (на Кролике или на Купании) она подошла к моему креслу и опустила, увесистым крупом

в шотландской шерсти, на ручку, обдав меня запахом как раз тех духов, которыми пользовалась моя первая жена. «Не желало ли бы ваше сиятельство провести осень вот здесь?» спросила она, указывая мизинцем на приторный осенний пейзаж в одном из восточных штатов. «Почему?» (чеканно и медленно). Она пожалала плечом. (Вероятно, Гарольд любил уезжать в отпуск об эту пору. Охотничий сезон. Бабье лето. Условный рефлекс с её стороны.)

«Мне кажется, я знаю где это», сказала она, всё ещё указывая мизинцем. «Помню, там есть гостиница с романтическим названием: „Привал Зачарованных Охотников“. Кормят там божественно. И никто никому не мешает».

Она потёрлась щекой о мой висок. Валечку я от этого отучил в два счёта.

«Не хочешь ли ты чего-нибудь особенного к обеду, мой милый. Попозже зайдут Джон и Джоана».

Я хмыкнул. Она поцеловала меня в нижнюю губу и, весело сказав, что приготовит торт (с тех времён, когда я ещё состоял в жильцах, сохранилась легенда, что я без ума от её тортов), предоставила меня моему безделью. Аккуратно положив открытую книгу на покинутое ею место (книга попыталась прийти в волнообразное движение, но всунутый карандаш остановил вращение страниц), я проверил, в сохранности ли ключ: он покоился в довольно неудобном месте, а именно под старой, но дорого стоившей безопасной бритвой, которую я употреблял, пока жена не купила мне другую, лучше и дешевле. Спрашивалось: надёжно ли ключ спрятан под этой бритвой, в бархатном футляре? Футляр лежал в сундуке, где я держал деловые бумаги. Нельзя ли устроить сохраннее? Удивительно, как трудно что-нибудь спрятать — особенно когда жена только и делает, что переставляет вещи.

22

Насколько помню, прошла ровно неделя с нашего последнего купания, когда полдневная почта принесла ответ от второй мисс Фален. Она писала, что только что вернулась в пансионат Св. Алгебры, с похорон сестры.

«Евфимия в сущности никогда не оправилась после поломки бедра». Что же касается дочери г-жи Гумберт, она имела честь сообщить, что для поступления в этом году уже поздно, но что она (здравствующая Фален) почти не сомневается, что может принять её в школу, если г-н и г-жа Гумберт привезут Долорес в январе. Райская передышка!

На другой день, после завтрака я заехал к «нашему» доктору, симпатичному невежде, чьё умелое обхождение с больными и полное доверие к двум-трём патентованным лекарствам успешно маскировали равнодушие к медицине. Тот факт, что Ло должна была вернуться в Рамздэль, дивно озарял пещеру будущего. Я желал привести себя в совершенную готовность ко времени наступления этого события. Собственно, я начал кампанию ещё до того, как Шарлотта приняла своё жестокое решение. Мне нужна была уверенность, что когда моя прелестная девочка вернётся, у меня будет возможность в ту же ночь, и потом ночь за ночью, покуда не отнимет её у меня Св. Алгебра, усыплять два живых существа так основательно, чтобы никакой звук и никакое прикосновение не могли перебить их сон. В течение июля я производил опыты с разными снотворными средствами, испытывая их на Шарлотте, большой любительнице пилуль. Последняя доза, которую я ей дал (она думала, что это слабый препарат брома для умягчения её нервов) свалила её на целых четыре часа. Я запускал радио во всю его силу. Направлял ей в лицо ярчайший луч фаллической формы фонарика. Толкал, тёр, щипал, тыкал — и ничто не нарушало ритма её спокойного и мощного дыханья. Однако от такой простой вещи, как поцелуй в ключицу, она проснулась тотчас, свежая и хваткая, как осьминог (я еле спасся). Значит, не годится, подумал я; следует достать нечто ещё более надёжное. Сначала д-р Байрон как будто не поверил, когда я сказал, что его последнее лекарство не совладало с моей бессонницей. Он посоветовал мне испробовать его ещё несколько раз и на минуту отвлек моё внимание, начав показывать мне семейные фотографии: у него была обаятельная девочка Доллиных лет; но я понял, что он старался меня провести, и потребовал, чтобы он мне прописал самое сильное из существующих снотворных. Посоветовал играть в гольф, — но в конце концов согласился дать мне средство, которое «не могло не подействовать»; и, подойдя к шкафчику, болтун достал из него стеклянную трубку с лиловато-синими патрончиками, опоясанными с одного конца тёмно-фиолетовой полоской. Это было, по его словам, новое средство, только что выпущенное в продажу и предназначавшееся не для неврастеников, которых можно успокоить и глотком воды, если взяться умеючи, а только для великих бессонных художников, которым необходимо умереть на несколько часов, чтобы жить в веках. Я люблю дурачить докторов и, хотя я внутренне ликовал, положил в карман пилули со скептическим пожатием плеч. Между прочим, мне приходилось быть с ним начеку. Однажды, совсем по другому случаю, я глупо оговорился

— упомянул свою последнюю санаторию, и мне показалось, что он наострил уши. Вовсе не стремясь к тому, чтобы Шарлотте или кому-нибудь другому стал известен этот период моего прошлого, я поспешил объяснить, что мне пришлось предпринять некоторые изыскания в сумасшедших домах для романа. Но Бог с ним; одно несомненно, у пройдохы была премиленькая девчурка. А ведь странно подумать — все они теперь старые, семнадцатилетние...

Я вышел от него в отличнейшем настроении. Одним пальцем управляя жениным автомобилем, я благодушно катил домой. Рамздэль был в общем не лишён прелести. Свирестели цикады; бульвар был только что полит. С шелковистой гладкостью, я свернул вниз по нашей крутой улочке. Каким-то образом всё в этот день складывалось так удачно. Так сине и зелено. Я знал, что сверкало солнце, оттого что никелированный ключ стартера отражался в переднем стекле; и я знал, что ровно половина четвёртого, оттого что сестра милосердия, ежедневно приходившая массировать старушку Визави, семенила вниз по узкой панели в своих белых чулках и башмаках. Как обычно, истеричный сеттер бывшего старьёвщика атаковал автомобиль при спуске, и, как обычно, местная газета лежала на крыльце, куда её только что швырком доставил Кенни.

Накануне я прекратил режим отчуждения, который я сам себе предписал, и сейчас я испустил весёлый клик, возвещавший моё прибытие, одновременно отворяя дверь гостиной. Повёрнутая ко мне каштановым шиньоном над сливочно-белой шеей, в той же жёлтой блузке и тех же тёмно-красных штанах, которые были на ней в день нашей первой встречи, Шарлотта сидела в углу за письменным столиком и строчила письмо. Ещё не выпустив ручку двери, я повторил свой приветственный возглас. Её рука перестала писать. С секунду Шарлотта сидела неподвижно; затем она медленно повернулась на стуле, положив локоть на его выгнутую спинку. Её лицо, искажённое тем, что она испытывала, не представляло собой приятного зрелища. Упираясь взглядом в мои ноги, она заговорила:

«Гнусная Гейзиха, толстая стерва, старая ведьма, вредная мамаша, старая... старая дура... эта старая дура всё теперь знает... Она... она...»

Моя прекрасная обвинительница остановилась, глотая свой яд и слёзы. Что именно Гумберт Гумберт сказал — или пытался сказать — не имеет значения. Она продолжала:

«Вы — чудовище. Вы отвратительный, подлый, преступный обманщик. Если вы подойдёте ко мне, я закричу в окно. Прочь от меня!»

Тут опять, я думаю, можно пропустить то, что бормотал Г. Г.

«Я уеду сегодня же. Это всё ваше. Но только вам не удастся никогда больше увидеть эту негодную девчонку. Убирайтесь из этой комнаты».

Читатель, я подчинился. Я поднялся в мой экс-полукабинет. Руки в боки, я постоял в совершенной неподвижности и полном самообладании, созерцая с порога изнасилованный столик: ящик был выдвинут, из замочной скважины висел, зацепившись бородкой, подошедший наконец ключ, другие разнородные домашние отмычки лежали на столешнице. Я перешёл через площадку лестницы в супружескую спальню Гумбертов и хладнокровно перевёл мой дневничок из-под её подушки в свой карман. После чего я отправился вниз, но остановился на полпути: она говорила по телефону, провод которого в этот день был случайно соединён со штепселем в столовой, возле двери, ведущей в гостиную. Хотелось послушать, что она говорит: отменила какой-то заказ и вернулась в гостиную. Я перевёл дух и через прихожую прошёл на кухню. Там я откупорил бутылку шотландского виски (перед скотчем она никогда не могла устоять). Затем я перешёл в столовую и оттуда, через полуоткрытую дверь, поглядел на широкую спину Шарлотты.

«Ты разбиваешь и мою жизнь и свою», сказал я спокойно. «Давай обсудим дело, как двое культурных людей. Это всё твоя галлюцинация. Ты, Шарлотта, не в своём уме. Эти записи, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Твоё имя, и её, были взяты случайно. Только потому что подвернулись под перо. Ты подумай об этом, а я тебе принесу выпить».

Она не ответила и не обернулась, продолжая бешеным темпом писать, что писала. Очевидно, третье по счёту письмо (два уже запечатанных, с наклеенными марками, приготовлены были перед ней на столе). Я вернулся на кухню.

На кухне я достал два стакана (в Св. Алгебру? к Лолите?) и отпер электрический холодильник. Он яростно ревел на меня, пока я извлекал из его сердца лёд. Написать всю штуку сызнова. Пускай перечтёт. Подробностей она не помнит. Изменить, подделать. Написать отрывок романа и показать ей или оставить лежать на виду? Почему иногда краны так ужасно визжат? Ужасное положение, по правде сказать. Подушечки льда — подушечки для твоего игрушечного полярного медвежонка, Ло! — издавали трескучие, истошные звуки по мере того, как горячая вода из-под крана освобождала их из металлических сот. Я поставил оба стакана рядом, налил в них

виски и прибавил в каждый по унции сельтерской воды. Жаль, что наложила запрет на мой любимый джинанас. Холодильник рывкнул и грохнул. Неся стаканы, я прошёл в столовую и сквозь дверь гостиной, теперь едва приоткрытую, так что я не мог просунуть локоть, сказал:

«Я приготовил тебе скотч».

Она не отозвалась, сумасшедшая стерва, и я поставил стаканы на буфет рядом с телефоном, который как раз зазвонил.

«Говорит Лесли — Лесли Томсон», сказал Лесли Томсон, тот самый, который любил купаться на заре. «Миссис Гумберт, сэр, попала под автомобиль, и вам бы лучше прийти поскорее».

Я ответил — может быть, не без раздражения — что моя жена цела и невредима, и всё ещё держа трубку, отпахнул толчком дверь и сказал:

«Вот он туг говорит, Шарлотта, что тебя убили».

Но никакой Шарлотты в гостиной не было.

23

Я выбежал наружу. Другая сторона крутой нашей улочки являла собой необыкновенное зрелище. На покатый газон мисс Визави въехал большой, чёрный, глянцеви́тый Пакар, круто свернув туда через панель (на которой холмился обронённый клетчатый плед), и стоял там, поплёскивая на солнце, с раскрытыми, как крылья, дверцами и с колёсами, глубоко ушедшими в букс. Справа от автомобиля, на аккуратной мураве ската, седоусый старец, весьма прилично одетый (серый двубортный костюм, галстук бабочкой в белую горошинку), лежал навзничь, сдвинув длинные ноги, как восковая фигура ростом с обыкновенного мертвеца. Мне нужно выразить толчок, разряд, молнию мгновенного впечатления чередой слов; их вещественное накопление на странице портит самоё вспышку, острое единство картины: холмик пледа, машина, старик-мумия, старушкина массажистка, бегущая с крахмальным шелестом, держа в руке полупустой стакан, обратно к веранде, где подпёртая подушками, пленная, дряхлая мисс Визави, наверное, испускала вопли, недостаточно, впрочем, громкие, чтобы заглушить равномерное гавканье старьевщика севера, переходящего от одной группы людей к другой — то к соседям, уже скопившимся на тротуаре, около клетчатой штуки, то назад к автомобилю (который ему наконец удалось затравить), то к группе, собравшейся на газоне, состоявшей из Лесли Томсона, двух полицейских и коренастого господина в роговых очках. Тут я должен пояснить, что незамедлительное появление дорожной полиции (не прошло и двух минут после несчастья) было следствием того, что патрульщики как раз в это время нацепляли штрафные билеты на автомобили, незаконно запаркованные в переулке, неподалёку от нас; что тип в очках был Фредерик Биэль-младший, водитель Пакара; что его семидесятидевятiletний отец, которого массажистка только что отпаивала на скошенной траве, где он лежал скошенным, так сказать, банкиром, был не в глубоком обмороке, а удобно и методически оправлялся от лёгкой сердечной схватки или возможности оной; и наконец, что плед на тротуаре, где жена так часто указывала мне с недовольством на кривые зелёные трещины, скрывал искалеченный труп Шарлотты Гумберт, которую переехал (а затем протащил несколько футов) автомобиль Биэлей в тот миг, когда она бежала через дорогу, чтобы опустить три письма в почтовый ящик, находившийся на углу участка мисс Визави. Эти письма подняла и передала мне хорошенькая девочка в грязном розовом платьице, и я превратил их в клочья, растерзав их в кармане штанов.

Три доктора и чета Фарло вскоре прибыли на место происшествия и стали распоряжаться. Вдовец, человек наделённый исключительным самообладанием, не рыдал и не рвался. Он как будто малость пошатывался, это правда; но он разжимал уста только для того, чтобы сообщать те сведения и давать те разъяснения, которые были безусловно необходимы в связи с опознанием, осмотром и увозом покойницы, темя которой представляла собой кашу из костей, мозга, бронзоватых волос и крови. Солнце было ещё ослепительным, когда друзья, добрый Джон и заплаканная Джоана, уложили вдовца в постель у Долли в комнате; сами же, чтобы быть поблизости, устроились в спальне Гумбертов на ночь — которую, не знаю, так ли они добродетельно провели, как того бы требовала торжественность случая.

Не вижу причины останавливаться — в этом очень специальном труде — на предпохоронных формальностях, требовавших от меня внимания, и на самых похоронах, не менее скромных, чем не так давно состоявшаяся свадьба; но несколько эпизодов, относящихся к тем четырём-пяти дням, следует всё же отметить.

В первую ночь моего вдовства я был так пьян, что спал столь же крепко, как то дитя, которое, бывало, спало в этой постели. На другое утро я первым делом обследовал клочки писем, оставшиеся у меня в кармане. Они

слишком основательно перемешались, чтобы их можно было разделить на три законченных текста. Думаю, что слова «...и ты потрудишься найти его, так как я не могу покупать...» были из письма к Ло. Некоторые обрывки как будто указывали на намерение Шарлотты бежать с Ло в Паркингтон или даже обратно в Писки, дабы коршун не схватил её драгоценного ягнёнка. Другие клочки и лоскутья (вот уж не предполагал я, чтобы у меня были такие сильные когти) явно относились к просьбе принять девочку не в пансионат Св. Алгебры, а в другую, тоже закрытую, школу, о которой говорили, что её воспитательные приёмы так суровы, скучны и сухи (хотя в проспекте упоминался крокет под ильмами), что заслужили школе кличку Исправительное Заведение для Благородных Девуц. Третье, наконец, послание было несомненно адресовано мне. Я разобрал такие кусочки фраз, как «...может быть, после года разлуки мы с тобой...», «...о, мой любимый, о, мой...», «...или, может быть, я умру...» Но в общем то, что я наскрёб, было не очень содержательно: различные фрагменты этих торопливых посланий были также спутаны у меня в ладонях, как основные их части у бедной Шарлотты в голове.

У Джона в тот день было свидание с клиентом, а Джоане нужно было накормить собак, так что я был временно лишён общества моих друзей. Добряки опасались, как бы я не покончил с собой, оставшись без призора, и за неимением других знакомых, которые могли бы их заменить (мисс Визави слегла, семейство Мак-Ку налаживало постройку нового дома в далёком районе, Чатфильдов только что вызвали в северный штат в связи с бедой, приключившейся с их собственным родственником), ко мне отрядили Луизу и Лесли под предлогом необходимости помочь мне разобрать и убрать множество осиротелых вещей.

В минуту восхитительнейшего вдохновения я показал милым и легковёрным Фарло (вместе с которыми я поджидал прихода Лесли на платное свидание с Луизой) любительский снимочек, найденный мной среди Шарлоттино имущества. Стоя на валуне, она улыбалась сквозь размётанные ветром волосы. Фотография относилась к апрелю 1934-го года, памятная весна! Приехав в тот год в Америку по делам, я имел случай провести несколько месяцев в Писки. Мы познакомились — и между нами завязался неосторожный роман. Я, увы, был женат, она была невестой Гейза... По моём возвращении в Европу, мы переписывались через общего друга, ныне покойного. Джоана прошептала, что до неё дошли кое-какие слухи — и поглядела ещё на снимок и, всё ещё глядя на него, передала его Джону, и Джон вынул трубку изо рта и тоже поглядел на прелестную, легкомысленную Шарлотту Беккер и вернул фотографию мне. Затем они на несколько часов уехали. В подвале довольная Луиза с воркующим смехом поругивала своё кавалера.

Не успели Фарло отбыть, как навестил меня священнослужитель с сизым подбородком — и я постарался до минимума сократить интервью, поскольку это было выполнимо без того, чтобы не оскорбить его чувств или не возбудить его подозрений. Да, собираюсь посвятить всю жизнь благополучию дитяти. Вот, кстати, тот крестик, который Шарлотта Беккер мне подарила, когда мы оба были молоды. У меня есть кухня, в Нью-Йорке, почтенная старая дева. Мы там с нею найдём хорошую частную школу для Долли. О хитрющий Гумберт! К сведению Лесли и Луизы, которые, по моему (оказавшемуся правильным) расчёту, должны были доложить об этом Джону и Джоане, я великолепно разыграл необыкновенно громкий иногородный монолог по телефону, симулируя разговор с Шерли Хольмс, начальницей лагеря «Ку». Когда вернулись Джон и Джоана, то я без труда провёл их сообщением, нарочито-взволнованно и бессвязно пробормотанным, что, мол, Лолита ушла с промежуточной группой на пятидневную экскурсию и с ней невозможно снестись.

«Боже мой», воскликнула Джоана, «что же нам делать?» Джон сказал, что всё чрезвычайно просто; он устроит, чтобы тамошняя полиция немедленно разыскала бы экскурсантов — это у них и часа не займёт; он, кстати, сам хорошо знает местность и...

«Послушайте», продолжал он, «почему бы мне теперь же не съездить туда на автомобиле, а вы пока переспите с Джоаной» (на самом деле, последней фразы он не добавил, но Джоана так страстно поддержала его предложение, что это могло подразумеваться).

Я разыграл истерику. Я стал заклинять Джона ничего не предпринимать. Сказал, что не мог бы вынести сейчас постоянное присутствие девочки, плачущей, цепляющейся за меня, — она такая впечатлительная, подобные потрясения могут отразиться на её будущем, психиатры проанализировали такие случаи... Наступило внезапное молчание.

«Что ж, вам решать», проговорил наконец Джон довольно сухо. «Только, знаете, я всё-таки был другом и советником Шарлотты. И вообще хотелось бы знать, что вы, собственно, собираетесь с девочкой делать».

«Джон!», крикнула Джоана. «Она его дочка, а не дочка Гарольда Гейза. Разве тебе не ясно? Бедный Гумберт — настоящий отец Долли!»

«Понимаю», сказал Джон, обратившись ко мне. «Прошу прощения. Понимаю. Вот оно что. Я не сразу

смекнул... Это, разумеется, упрощает дело. Что подсказывает вам сердце, то и ладно».

Убитый горем отец объяснил, что отправится за хрупкой дочкой тотчас после похорон, а затем постарается её развлечь пребыванием в совершенно другой обстановке — катнёт с ней, может быть, в Новую Мексику или Калифорнию — если только не покончит собой, конечно.

Настолько художественно изобразил я спокойствие предельного отчаяния, затишье перед безумной вспышкой, что безупречные Фарло увезли меня к себе. У них был недурной для Америки погреб, и это послужило мне на пользу, ибо я боялся бессонницы — и привидения.

Теперь мне следует объяснить настоящую причину, по которой я хотел временно держать Долорес в отдалении. Само собой разумеется, что вначале, когда Шарлотта только что оказалась ликвидированной и я вернулся к себе независимым отцом, и залпом проглотил один за другим оба приготовленных мною стакана виски, и вдогонку им отправил пинту-другую своего джиданаса, и заперся в ванной, спасаясь от соседей и друзей, — у меня было всего лишь одно на уме и в крови, а именно — сознание, что всего через несколько часов, тёпленькая, русая, и вся, вся моя, Лолита в моих объятьях будет проливать слёзы, а я стану их осушать поцелуями скорее, чем её глаза будут ими наполняться. Но покамест я стоял перед зеркалом, весь красный, с расширенными зрачками, Джон Фарло деликатно постучал и спросил, благополучен ли я, — и я тотчас сообразил, что с моей стороны было бы безумием допустить её возвращение в этот дом, где сновало столько чужих хлопотунов, готовых отнять её у меня. Да и сама взбалмошная Ло могла ведь — как знать? — вдруг выказать глупое недоверие, неожиданную неприязнь, смутный страх и тому подобное — и прощай навек, в самый миг торжества, волшебная награда!

Кстати, о навязчивых людях: ко мне явился ещё один посетитель, любезный Биэль (тот самый, который ликвидировал мою жену). Солидный и серьёзный, похожий как-то на помощника палача, своими бульдожьими брылами, чёрными глазками, очками в тяжёлой оправе и вывернутыми ноздрями. Его впустил Джон, который затем оставил нас, прикрыв дверь с величайшим тактом. Гладко начав с того, что у него двойня в одном классе с моей падчерицей, мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы. Это был «восторг», как выразилась бы моя падчерица, со множеством внушительных стрелок и пунктирных линий, проведённых разного цвета чернилами. Траекторию г-жи Г. Г. он иллюстрировал серией маленьких силуэтов, вроде символических фигурок, кадровых участниц женского военно-подсобного корпуса, которыми пользуются для наглядности в статистике. Очень ясно и убедительно этот путь приходил в соприкосновение со смело начертанной извилиной, изображавшей два следующих друг за другом поворота, из которых один был совершён биэлевской машиной, чтобы избежать старьевщикова сеттера (не показанного на диаграмме), а второй, в преувеличенном виде повторяющий первый, имел целью предотвратить несчастье. Внушительный чёрный крестик отмечал место, где аккуратный маленький силуэт наконец лёг на панель. Я поискал, нет ли соответствующего значка на скате, где отлёживался огромный восковой отец моего посетителя, но значка не оказалось. Старец, впрочем, расписался на документе, в качестве свидетеля, под подписями Лесли Томсона, мисс Визави и некоторых других.

Карандаш Фредерика с точностью и лёгкостью калибри перелетал с одного пункта в другой, по мере того как он демонстрировал свою совершенную неповинность и безрассудную неосторожность моей жены: в ту секунду, когда он объехал собаку, Шарлотта поскользнулась на свежесполитом асфальте и упала вперёд, меж тем как ей следовало бы отпрянуть назад (Фред показал, как именно, сильно дёрнув своим подбитым ватой плечом). Я сказал, что он, конечно, не виноват, и следствие подкрепило моё мнение.

Сильно дыша сквозь напряжённые чёрные ноздри, он удручённо потряс головой, одновременно трясая мою руку; затем, выказывая изысканную светскость и джентльменскую широту, предложил оплатить расходы похоронного бюро. Он ожидал, что я откажусь. С пьяным благодарственным всхлипом я принял его предложение. Не веря своим ушам, он отдельно повторил им сказанное, и я снова его поблагодарил, ещё горячее, чем прежде.

В результате этого жутковатого свидания моё душевное онемение нашло на минуту некоторое разрешение. И немудрёно! Я воочию увидел маклера судьбы. Я ощупал самую плоть судьбы — и её бутафорское плечо. Произошла блистательная и чудовищная мутация, и вот что было её орудием. Среди сложных подробностей узора (спешащая домохозяйка, скользкая мостовая, вздорный пёс, крутой спуск, большая машина, болван за рулём) я смутно различал собственный гнусный вклад. Кабы не глупость (или интуитивная гениальность!), по которой я сберёг свой дневник, глазная влага, выделенная вследствие мстительного гнева и воспалённого самолюбия, не ослепила бы Шарлотту, когда она бросилась к почтовому ящику. Но даже и так ничего бы, может быть, не случилось, если бы безошибочный рок, синхронизатор-призрак, не смешал бы в своей реторте

автомобиль, собаку, солнце, тень, влажность, слабость, силу, камень. Прощай, Марлена! Рукопожатие судьбы (увесисто воспроизведённое Биэлем при прощании) вывело меня из оцепенения. И тут я зарыдал. Господа и госпожи присяжные, я зарыдал!

24

Ильмы и тополя поворачивались ко внезапно налетевшему ветру зыблущимися спинами и грозовая туча чернела над белой башней рамздэльской церкви, когда я осмотрелся в последний раз перед отъездом. Для неведомых приключений я покидал мертвенно-бледный дом, где нанял комнату всего десять недель тому назад. Уже спущены были жалюзи — недорогие, практичные жалюзи из бамбука. «Верандам и внутренней отделке дома их роскошный материал придаёт современный драматический характер», говорил преискурант. После этого небесная обитель должна показаться довольно-таки голой. Капля дождя упала мне на костяшки руки. Я вернулся в дом за чем-то, пока Джон укладывал мои чемоданы в автомобиль, и тогда случилась курьёзная вещь. Не знаю, достаточно ли я подчеркнул в этих невесёлых заметках особое, прямо-таки одурманивающее действие, которое интересная внешность автора — псевдокельтическая, привлекательно обезьянья, мужественная, с примесью чего-то мальчишеского — производила на женщин любого возраста и сословия. Разумеется, такие заявления от первого лица могут показаться смешными; но время от времени я вынужден напомнить о моей наружности читателю, как иной профессиональный романист, давший персонажу какую-нибудь ужимку или собаку, видит себя вынужденным предъявить эту собаку или эту ужимку всякий раз, что данный персонаж появляется. В отношении меня этот приём наделён, пожалуй, глубоким смыслом. Сумрачное обаяние моих черт должно оставаться в поле зрения читателя, желающего по-настоящему понять мою повесть. Малолетняя Ло млела от шарма Гумберта, как млела от судорожной музыки; взрослая Лотта любила меня с властной зрелой страстью, которую ныне жалею и уважаю в большей степени, чем дозволено мне сказать. Тридцатидвухлетняя Джоана Фарло, будучи совершенной неврастеничкой, здорово, по-видимому, влюбилась в меня. В её красоте было что-то резкое, индейское. Загар у неё был терракотовый. Её губы были как большие пунцовые слизни, и когда она раздражалась своим характерным лающим смехом, то показывала крупные, тусклые зубы и бескровные дёсны. Она была очень высокого роста, носила либо сандалии и узкие штаны, либо широкие юбки и балетные туфли; пила скотч в любом количестве; дважды выкинула; сочиняла рассказы о животных для юношества; писала, как известно моему читателю, озёрные виды; уже носила в себе зачаток рака, от которого должна была умереть два года спустя. Она казалась мне безнадежно непривлекательной. Судите же о моём испуге, когда за несколько секунд до моего отъезда (мы с ней стояли в прихожей) Джоана взяла меня за виски своими всегда дрожавшими пальцами и со слезами в ярко-синих глазах попыталась, без большого успеха, присосаться к моим губам.

«Поберегите себя», сказала она, «и поцелуйте за меня дочь».

Удар грома прокатился через весь дом, и Джоана добавила:

«Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, при менее ужасных обстоятельствах мы ещё увидимся». (Джоана! Чем бы ты ни была, где бы ты ни была, в минус-пространстве или в плюс-времени, прости мне всё это — включая и эти скобки.)

Минуту спустя я уже обменивался и с ней, и с ним прощальными рукопожатиями, на улице, на крутой улице, и всё вертелось, летело перед приближавшимся белым ливнем, и фургон с матрацем из Филадельфии самоуверенно катился вниз к опустевшему дому, и пыль бежала и вилась по той самой тротуарной плите, где Шарлотта, когда для меня приподняли плед, оказалась лежащей комочком, с совершенно нетронутыми глазами, с ещё мокрыми чёрными ресницами, слипшимися, как твои, Лолита!

25

Казалось бы, теперь, когда все препятствия были удалены и передо мной открылась перспектива беспредельного блаженства, я мог мысленно откинуться назад со вздохом сладкого облегчения. *Eh bien, pas du tout.*[55] Вместо того чтобы нежиться в лучах улыбавшейся судьбы, я был одержим чисто этическими сомнениями и страхами. Например: не найдут ли люди странным, что Лолиту так упорно не допускали к участию ни в радостных, ни в печальных семейных торжествах? Как вы помните, она не присутствовала на нашей свадьбе. Или ещё вот что: если принять, что ни в чём неповинную женщину устранила протянувшаяся откуда-то длинная косматая рука совпадения, не могло ли оно в нехристианскую минутку забыть дело своей

десницы и шуйцей передать Лолите чью-то несвоевременную записку соболезнования? Правда, отчёт о происшествии появился только в рамздэльской газетке; его не было ни в «Паркингтонских Ведомостях», ни в «Клаймаксовом Вестнике»: местные смерти лишены федерального интереса, а лагерь «Ку» находился не в нашем штате; но я не мог перестать воображать, что каким-то образом Долли Гейз уже извещена и что в то самое время, когда я за ней еду, неизвестные мне друзья мчат её в Рамздэль. Ещё тревожнее всех этих домыслов и забот было то, что Гумберт Гумберт, новоиспечённый американский гражданин довольно тёмного европейского происхождения, не предпринял никаких шагов к тому, чтобы стать законным опекуном девочки (двенадцати лет и семи месяцев от роду), оставшейся после его покойной жены. Посмею ли предпринять эти шаги? Я не мог совладать с дрожью, когда случалось мне представить себе наготу свою, теснимую таинственными статутами в беспощадно резком свете свода гражданских законов.

Мой план был чудом первобытного искусства: я решил, что махну в лагерь «Ку», скажу Лолите, что её мать собираются подвергнуть серьёзной операции в несуществующей больнице и затем буду кочевать с моей сонной нимфеткой из одной гостиницы в другую, пока мать будет медленно, но верно поправляться и наконец умрёт. Но по пути в лагерь я почувствовал нарастающее беспокойство. Меня угнетала мысль, что её может уже не оказаться там или что найду вместо беспечной Лолиты испуганную сиротку, требующую с плачем присутствия каких-то близких друзей семьи. Чету Фарло, слава Богу, она едва знала, но не могло ли быть других, мне неизвестных лиц? В конце концов, я решил устроить тот междугородный разговор, который я недавно так удачно симулировал. Шёл сильный дождь, когда я остановился у панели в загаженном ненастием предместии Паркингтона, как раз не доезжая разьезда, одна ветвь которого шла в обход города и вела к шоссе, пересекающему гряду холмов по направлению к Озеру Клаймакс и лагерю «Ку». Выключив мотор, я не меньше минуты просидел в автомобиле, собираясь с духом и глядя на дождь, на залитую панель, на гидрант, представляющий собой безобразную тумбу, покрытую толстым слоем красной и серебряной краски, протянувшую красные культипки, чтобы их мог отлакировать дождь, который, как стилизованная кровь, стекал по её геральдическим цепям. Не мудрено, что запрещается автомобилям стоять подле этих страшных маленьких калек. Я пустил опять мотор и подъехал к телефонной будке. Когда наконец последняя из нужных монет со звяком провалилась, позволив другому голосу отозваться на мой, я получил сюрприз.

Шерли Хольмс, начальница лагеря, сообщила мне, что в понедельник (нынче была среда) моя Долли ушла со своей группой на экскурсию в горы и вернётся только к ночи. Она предложила мне приехать на следующий день. Спросила, не случилось ли чего? Не входя в подробности, я ответил, что мою жену перевезли в клинику, что её положение серьёзное, что девочке не нужно говорить, что оно серьёзное, но что она должна быть готова ехать со мной завтра днём. Наши голоса распростились под взрыв горячего благожелательства, и вследствие какого-то оригинального изъяна в механизме, все мои монеты вывалились обратно из автомата с тем бряцанием, которое сопровождает крупный выигрыш на игровых машинах в Неваде. Это меня рассмешило, несмотря на досадную необходимость отсрочить счастье. Спрашивается, не было ли это внезапное выделение, это судорожное возвращение денег каким-то образом связано в уме у Мак-Фатума с тем, что я выдумал экскурсию, прежде чем узнать о ней?

Что дальше? Я свернул в торговый район Паркингтона и остаток дня (погода прояснилась, весь город отливало стекляннным блеском) посвятил приобретению прелестных обнов для Ло. Господи, на какие прихотливые покупки толкнула Гумберта свойственная ему в эти дни слабость к клетчатым тканям, ярким ситцам, оборкам, пышным коротким рукавчикам, мягкой плиссировке, платьицам, тесно прилегающим наверху и очень широким внизу!

Полюбил я Лолиту, как Вирджинию — По, И как Данте — свою Беатриче; Закружились девчонки, раздувая юбчонки: Панталончики — верх неприличия! Ласковые голоса спрашивали меня, что именно я желал бы видеть? Купальные костюмы? Они у нас имеются во всех тонах: розовая грёза, матовый аквамарин, лиловая головка, красный тюльпан, чёрный кан-кан, Как насчёт пляжных вещей? А чехлы? Не нужно чехлов. Мы с Ло всегда их терпеть не могли.

Одним из руководств в этом деле послужила мне антропометрическая запись, сделанная её матерью в день, когда исполнилось Л. 12 лет (читатель помнит, я думаю, книгу «Знай своего ребёнка»). У меня было впечатление, что, движимая смутными побуждениями зависти и антипатией, Шарлотта прибавила где лишний дюйм, где лишний фунт; но так как нимфетка, несомненно, подросла за последние семь месяцев, я считал, что в общем могу положиться на эти последние январские измерения: в бёдрах — двадцать девять дюймов; объём ляжки (под самым началом ягодицы) — семнадцать; объём икры и окружность шеи — одинадцать; объём груди — двадцать семь; объём руки выше локтя — восемь; талия — двадцать три; рост — пятьдесят семь; вес —



семьдесят восемь американских фунтов; строение — удлинённое; КУР (коэффициент умственного развития) — сто двадцать один; червовидный отросток — не вырезан (слава Богу).

Помимо этих измерений, я, конечно, видел перед собой Лолиту с близкой к галлюцинации ясностью; и так как у меня не переставало гореть лелеемое место у грудной кости, там, где её шелковистая макушка раза два дошла до уровня моего сердца, и так как я не расставался с ощущением её тёплой тяжести на моих коленях (вследствие чего я всегда «носил» Лолиту, как женщина «носит» ребёнка), я не удивился, когда в дальнейшем выяснилось, что мои вычисления более или менее правильны. К тому же, я недавно изучил каталог летних нарядов, что позволило мне выбирать с видом знатока разные миленькие вещи: спортивную обувь, тапочки, туфельки из мятой лайки для мятых девочек и прочее. Накрашенная продавщица в чёрном, которая помогала мне удовлетворить все эти острые потребности, превращала родительскую науку и точное описание размера в коммерческий эвфемизм «меньше среднего». Другая, постарше, в белом платье, с театральным гримом, казалась несколько потрясённой моими широкими познаниями в области мод для младшего поколения; думала, может быть, что сожительство с цирковой карлицей; посему, когда мне показали юбочку с двумя «пикантными» карманчиками спереди, я нарочно поставил наивный мужской вопрос и был вознаграждён улыбками и демонстрацией того, как сзади действовала застёжка-молния. Мне тоже доставили много удовольствия всякие трусики и плавки, в которых призраки миниатюрных Лолит егозили, плюхались, ездили на задочках по всему прилавку. Мы закончили сделку на двух скромных бумажных пижамах с круглым воротом фасона «ученик мясника». Мясника Гумберта.

Есть что-то мифическое, колдовское в этих больших магазинах, где, если верить объявлениям, конторская девица может одеться на все случаи дня — от утреннего прихода на службу до вечернего выхода с кавалером — и где её сестрёнка может полюбоваться шерстяным свитером, мечтая о том дне, когда она, надев его в школу, заставит биться сердца отсталых гимназистов. Пластиковые манекены в натуральный рост, изображавшие курносых детей с бежевыми, оливковыми, буро-веснущатыми личиками фавнят, наплывали на меня со всех сторон. Я вдруг заметил, что я единственный покупатель в этом довольно таинственном месте, где я передвигался, как рыба в зеленоватом аквариуме. Я чуял, что странные мысли возникают в уме у томных барышень, сопровождающих меня от прилавка к прилавку, от подводной скалы до заросли морских растений, и отбираемые мною кушачки и браслетки падали, казалось, из русалочьих рук в прозрачную воду. Наконец я купил изящный чемодан, велел сложить в него мои покупки и отправился в ближайшую харчевню, весьма довольный проведённым днём.

Каким-то образом в связи с этим тихим поэтическим миром изысканных товаров мне вспомнился отель с соблазнительным названием: «Привал Зачарованных Охотников», который упомянула Шарлотта незадолго до моего раскрепощения. Из путеводителя я выяснил, что он находится в Брайсланде — уединённом городке в четырёх часах езды от Лолитино лагеря. Я мог бы позвонить, но боясь, что потеряю власть над голосом и разражусь жеманным кваканием на ломаном английском языке, я решил заказать на будущую ночь по телеграфу комнату с двумя постелями. Каким я был неловким, неуверенным, смешным сказочным принцем! Как посмеются надо мной некоторые из моих читателей, узнав о моих затруднениях в составлении телеграммы! Что сказать: Гумберт и дочь? Гумбург с маленькой дочкой? Гомберг и малолетняя девочка? Гомбург и его дитя? Смешная ошибка, в конце концов оказавшаяся в телеграмме — эта буква «г» в конце имени — осталась как бы телепатическим отголоском моих колебаний.

А затем, в бархатном мраке летней ночи, мои мечтания над припасённым мной приворотным зельем. О, скупой Гамбург! Не был ли он сущим «зачарованным охотником» в эти минуты раздумья над своей коробочкой с волшебной амуницией? Мог ли он позволить себе, чтобы рассеять демонов бессонницы, самому испробовать одну из этих аметистовых капсуль? Их было всего сорок — сорок ночей в обществе хрупкого создания, спящего рядом с моим тугостучающим сердцем... Мог ли я в поисках сна лишиться самого себя одной такой ночи? Разумеется, нет! Слишком была драгоценна каждая из этих лилипутовых слив, каждый микроскопический планетарий с его живой россыпью звёзд. О, дайте мне хоть разок посентиментальничать! Я так устал быть циником!

Меня не отпускает головная боль в тусклом воздухе этой склепоподобной темницы, но я не сдамся. Написал уже свыше ста страниц, а ни до чего ещё не договорился. Мой календарь начинает путаться. Я поехал за ней этак в середине августа 1947-го года. Нет, кажется, больше не могу. Сердце, голова — словом, всё плохо.

Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита... Повторяй это имя, наборщик, пока не кончится страница.

27

Всё ещё в Паркиннгоне. С трудом удалось уснуть на часок. Проснулся от бессмысленного и ужасно изнурительного соития с маленьким мохнатым, совершенно мне незнакомым гермафродитом. К тому времени было шесть часов утра, и мне вдруг пришло на ум, что, пожалуй, недурно приехать в лагерь раньше, чем условлено. Мне оставалось ещё около ста миль езды, а потом предстояло добираться до Туманных Гор и Брайсланда. Если я сказал, что приеду за Долли в середине дня, то лишь потому, что моё нетерпеливое воображение требовало скорейшего наступления милосердной ночи; но теперь мне стали мерещиться всякие осложнения и я весь трясся от мысли, что за время отсрочки она может вдруг взять да и позвонить в Рамздэль. Однако, когда в девять тридцать утра я попытался завести мотор, оказалось, что батарея приказала долго жить, и был полдень, когда наконец я покинул Паркиннгон.

Я домчался до места своего назначения в половине третьего; оставил автомобиль в сосновой роще, где хулиганского вида рыжий мальчишка в зелёной рубашке занимался в мрачном одиночестве старинной игрой — набрасыванием издалека подков на вбитый в землю кол. Он молча указал мне на штукатурчатый домик, где находилась контора лагеря; мне пришлось, замирая от волнения, выслушивать в продолжение нескольких минут пронырливые соболезнования лагерной начальницы, неряшливой, жизнью потрёпанной женщины с ржавого цвета волосами. Она сказала, что Долли уложилась и готова ехать; что девочка знает о болезни матери, но не знает, насколько это серьёзно. Не хочет ли г-н Гейз, т. е. г-н Гумберт, познакомиться с лагерными наставниками? Или взглянуть на домики, где помещаются девочки? Каждый из них носит имя одного из зверьков Вальтера Диснея. Или осмотреть Главный дом? А не то послать Чарли немедленно за ней? Девочки как раз кончают украшать столовую для вечеринки (может быть, потом Шерли Хольмс расскажет кому-нибудь: на бедняге просто лица не было).

Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми её мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывающая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом: «и вот ещё десять!»; фотографии девчоночек; ещё живая цветисты бабочка, надёжно приколотая к стенке (отдел природоведения); обрамлённый диплом лагерной диетистики; мои дрожащие руки; отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейз за июль («весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей»); шум деревьев и пение птиц, и моё колотящееся сердце...

Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой её дыхание и голос. Она явилась, волоча свой подсакивавший тяжёлый чемодан. «Здрате, здрасте», и смиренно стала, глядя на меня лукавыми, радостными глазами и приоткрыв нежные губы, на которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка. Была она худее и выше, и на миг мне почудилось, что лицо у неё подурнело по сравнению с мысленным снимком, который я хранил больше месяца: щёки казались впавшими, и слишком частые веснушки как бы размазывали розовую деревенскую красоту её черт. Это первое впечатление (узенький человеческий интервал между двумя ударами хищного сердца) ясно предрекало одно: всё, что овдовелому Гумберту следовало сделать, всё, что он хотел и собирался сделать, — было дать этой осунувшейся, хоть и окрашенной солнцем сиротке *aux yeux battus*[56] (и даже эти свинцовые тени под глазами были в веснушках) порядочное образование, здоровое, счастливое детство, чистый дом, милых подружек, среди которых (если Парки сообразуют несчастного вознаградить) он, может быть, найдёт хорошенькую отроковицу, предназначенную исключительно для герра доктора Гумберта. Впрочем, во мгновение ока, как говорят немцы, эта небесно-добродетельная линия поведения была стёрта, и я догнал добычу (время движется быстрее наших фантазий!), и она снова была моей Лолитой — и даже была ею больше, чем когда-либо. Я опустил руку на её тёплую русую головку и подхватил её чемодан. Она состояла вся из роз и мёда; на ней было её самое яркое ситцевое платье с узором из красных яблочек; руки и ноги покрывал густой золотисто-коричневый загар; царапки на них походили на пунктир из крошечных запёкшихся рубинов, а рубчатые отвороты белых шерстяных носков кончались на памятном мне уровне; и то ли из-за детской её походки, то ли оттого, что я помнил её всегда на плоских подошвах, но казалось, что её коричнево-белые полуботинки ей слишком велики и что у них слишком высокие каблуки. Прощай, лагерь «Ку», весёлый «Ку-ку», прощай, простой нездоровый стол, прощай, друг Чарли! В жарком автомобиле она уселась рядом со мной, пришлёрпнула проворную муху на

своей прелестной коленке, потом, энергично обрабатывая во рту резиновую жвачку и быстро вертя рукоятку, опустила окно на своей стороне и опять откинулась. Мы неслись сквозь полосатый, пятнистый лес.

«Как мама?», спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем ещё установили, в чём дело. Во всяком случае что-то с желудком.

«Что-то жуткое?»

«Нет, с желудком».

Я объяснил, что нам придётся оставаться некоторое время поблизости; больница находилась в деревне около весёлого городка Лепингвиля, где в начале девятнадцатого века жил знаменитый поэт и где мы пересмотрим все кинопрограммы. Она нашла, что проект — первый сорт и спросила, достигнем ли Лепингвиля до девяти вечера.

«Мы будем в Брайсланде к обеду», ответил я. «А завтра посетим Лепингвиль. Какова была вчерашняя экскурсия? Тебе было очень весело в лагере?»

«У-гу»

«Жаль уезжать?»

«Унг-унг».

«Говори, Ло, а не хрюкай. Расскажи мне что-нибудь».

«Что именно, па-па-ша?» (последнее слово она произнесла очень раздельно и не без иронии).

«Всё равно что».

«Можно вас называть на ты и папа?» (при этом прищурилась, глядя на дорогу).

«Можно».

«Вот умора! Когда это вы в маму успели втюриться?»

«Придёт день, милая Ло, когда ты поймёшь многие чувства и положения, как, например, гармонию и красоту чисто духовных отношений».

«Как же!», произнесла грубая нимфетка.

В диалоге наступила неопределённая пауза, заполненная живописной окрестностью.

«Посмотри-ка, Ло, сколько там коров на том склоне!»

«Мне кажется, меня вырвет, если посмотрю на ещё одну корову».

«Знаешь, Ло, я ужасно скучал по тебе».

«А вот я по тебе не скучала. Мало того — мерзко изменяла, но это ровно ничего не значит, так как ты всё равно перестал мной интересоваться. Вы здорово лупите, господин. Гораздо скорее, чем мама».

Я перешёл со слепой скорости в семьдесят миль в час на полуслепую в пятьдесят.

«Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться?»

«Ну, во-первых, ты меня ещё не поцеловал».

Внутренне обмирая, внутренне изнывая, я смутно увидел впереди сравнительно широкую обочину и с подскоками и покачиванием съехал на траву. Помни, что это ребёнок, помни что это...

Не успел автомобиль остановиться, как Лолита так и вплыла в мои объятия. Не смея, не смея дать себе волю — не смея позволить себе понять, что именно это (сладкая влажность, зыбкий огонь) и есть начало той несказанной жизни, которую усилием воли при умелой поддержке судьбы я наконец заставил осуществиться — не смея по-настоящему её целовать, я прикоснулся к её горячим раскрывающимся губам с величайшим благоговением, впивал её мелкими глотками — о, совершенно безгрешно! Но она, нетерпеливо ёрзнув, прижала свой рот к моему так крепко, что я почувствовал её крупные передние зубы и разделил с ней мятный вкус её слюны. Я, конечно, знал, что с её стороны это только невинная игра, шалость подростка. Подражание подделке в фальшивом романе. Всякий душеврачитель, как и всякий растлитель, подтвердит вам, что пределы и правила этих детских игр расплывчаты или, во всяком случае, слишком по-детски subtilны, чтобы их мог уловить взрослый партнёр, а потому я ужасно боялся зайти слишком далеко и заставить её отпрянуть с испуганным отвращением, и так как мне больше всего, и мучительнее всего, хотелось поскорее пронести её под полой в герметическое уединение «Зачарованных Охотников», докуда было ещё восемьдесят миль, благословенное наитие разомкнуло наше объятие — за четверть секунды до того, как автомобиль дорожной полиции затормозил около нас.

Его краснолицый и густобровый водитель уставился на меня:

«Скажите, вас не обогнал у перекрёстка синий седан, той же фирмы, как ваш? Не заметили?»

«Мы не видели», сказала Ло, услужливо-поспешно перегнувшись через меня и положив невинные руки ко мне на колени; «только вы совсем уверены, что он был синий, потому что...»

Патрульщик (за какой нашей тенью гнался он?) наградил красоточку лучшей своей улыбкой и произвёл полный

поворот.

Мы поехали дальше.

«Экий балда!» воскликнула Ло. «Он должен был тебя сцапать».

«Помилуй, почему же — меня?»

«Потому что предельная скорость в этом дурацком штате всего пятьдесят миль в час, а мы — Нет, нет, не замедляй, ты тоже глуп как пуп. Он теперь далеко».

«Нам ещё предстоит длинный перегон», сказал я, «и мне хотелось бы быть там до темноты. Так что теперь веди себя как хорошая девочка».

«Скверная, скверная девочка», уютно проговорила Ло. «Малолетняя деликвенточка, несмотря на прямоту и симпатичность. А свет был красный. Я никогда не видала такой езды».

Мы безмолвно прокатили через безмолвный городишко.

«Вот бы мама взбесилась, если бы узнала, что мы с тобой любовники!»

«Господи, Лолита, как можно говорить такие вещи?»

«Но мы действительно любовники, правда?»

«Никак нет. Погода что-то опять портится. Не желаешь ли ты мне рассказать про эти твои маленькие проказы в лагере».

«Ты что-то очень книжно выражаешься, милый папаша».

«А тебя легко ошарашить?»

«Нет. Говори».

«Настойчиво прошу ответить».

«Давай остановимся на тихой боковой дорожке, и я тебе расскажу».

«Ло, я серьёзно прошу тебя не дурачиться. Ну?»

«Ну — я принимала деятельное участие в лагерной жизни».

«Ensuite?»[57]

«Ансуит, меня учили жить групповой жизнью, счастливой и полной жизнью, и при этом развивать собственную гармоничную личность. Словом, быть паинькой».

«Да, я видел что-то в этом роде в вашей брошюрке».

«Мы любили петь хоровые песни у большого камина или под паршивым звёздным небом, и звучание собственного счастья в каждой из нас сливалось с голосом группы».

«У тебя чудная память на цитаты, Ло, но я бы тебя попросил воздержаться от бранных словечек».

«Гёрл-скаутский девиз», продолжала Лолита восторженно, «это также и мой девиз. Я наполняю жизнь достойными делами, как, например — нет, лучше без примеров. Мой долг быть полезной. Я друг всех животных мужского пола. Я исполняю их прихоти. Я всегда в хорошем настроении. Вот проехала ещё полицейская машина. Я экономна и всегда грешу мыслью, словом и делом».

«Теперь надеюсь что это всё, моя остроумная детка».

«Да, всё. Впрочем, погоди-ка. Вот ещё что: мы пекли пироги на солнечной плите с рефлектором. Как интересно, правда?»

«Конечно, интересно».

«За это время мы вымыли разбивон тарелок. „Разбивон“ — это значит „много — много — много“ на сюсюкающем учительском диалекте. Ах да, чуть не забыла главнейшее, как выражается мама. Мы делали рентгеновские снимки. Это считалось страшно забавным».

«C'est bien tout?»[58]

«C'est. Не считая малюсенькой вещи, о которой не могу рассказать без того, чтобы не покраснеть сплошь».

«Расскажешь после?»

«Да — если будем сидеть в темноте и можно будет говорить шёпотом. Ты что — спишь в комнате по-старому или в одной куче с мамой?»

«У себя по-старому. Твоя мать подвергнется, может быть, очень серьёзной операции, Ло».

«Остановись-ка вот там у молочного бара», сказала Ло.

Сидя на высоком табурете, с полосой солнца, пересекающей её голую коричневую руку, Лолита получила башню разнородного мороженого, политого каким-то синтетическим сиропом. Оно было воздвигнуто и подано ей ядрёным, прыщавым парнем в засаленном галстучке бабочкой, который глазел на мою хрупкую, легко одетую девочку с плотоядным бесстыдством. Нетерпение добраться до Брайсланда и «Зачарованного Привала» становилось невыносимым. К счастью, она справилась с мороженым в два счёта, как всегда.

Я спросил: «Сколько у тебя есть мелочи?»

«Ни одного гроша», ответила она, грустно поднимая брови и показывая мне пустую внутренность кошелька.

«Это будет исправлено, но всё в своё время», напыщенно проговорил я. «Ну что же — пошли?»

«Слушай, где у них тут уборная?»

«Я туда тебя не пушу. Это наверно грязнющая дыра. Ну, пойдём же».

Была она, в сущности, послушной девчоночкой, и я не удержался и поцеловал её в шею, когда мы опять сели в автомобиль.

«Не смей этого!» сказала она, глядя на меня с непритворным удивлением. «Я не люблю, чтобы меня лизали.

Противный развратник!»

Приподняв плечико, она потёрлась об него шеей.

«Виноват», пробормотал я. «Я к тебе очень привязан, вот и всё».

Мы продолжали путь под хмурым небом вверх по извилистой дороге, а потом опять вниз.

«Что же, и я к тебе вроде как бы привязана», сказала Лолита замедленно-нежным тоном и, вроде как бы вздохнув, вроде как бы подвинулась ближе ко мне.

(О, Лолита моя, мы никогда не доедем!)

Сумерки уже начинали пропитывать прелестный маленький Брайсланд, его архитектуру в ложноколониальном стиле, сувенирные лавки и европейские липы, когда мы поехали по его слабоосвещенным улицам в поисках «Зачарованного Привала». Воздух, весь бисерный от ровной мороси, оставался тёпл и зелен, и длинная очередь, состоявшая главным образом из детей и стариков, уже образовалась перед кассой кинематографа, струящегося огнистыми самоцветами.

«Ах, этот фильм я очень хочу посмотреть! Пойдём сразу после обеда. Пожалуйста, пойдём!»

«Что же, можно», протянул Гумберт, хотя он-то, хитрый, распалённый чорт, отлично знал, что к девяти часам вечера, когда начнётся его собственное представление, она будет спать мёртвым сном у него в объятиях.

«Полегче!» вскрикнула Ло, которую бросило вперёд, когда проклятый грузовик перед нами, с запульсировавшими карбункулами на зад, остановился у перекрёстка.

Я подумал, что, если мы не доедем до гостиницы, — мигом, чудом, на ближайшем углу — я утрачу всякую власть над Гейзовским рыдваном с его беспомощными «дворниками» и сумасбродными тормозами. Увы, прохожие, к которым я обращался за указаниями, либо сами не знали города, либо переспрашивали, морщась: «Зачарованных?..» — точно я был сумасшедший; а не то пускались в такие замысловатые объяснения, с геометрическими жестами, географическими рассуждениями и чисто местными приметам (. . . затем поверните на юг . . . не доезжая здания суда . . .), что я не мог не сбиться с пути в лабиринте их доброжелательного вздора. Лолита, чьи прелестные разноцветные внутренности уже переварили съеденное лакомство, предвкушала плотный обед и начинала егозить. Для меня же, хоть я давно примирился с существованием некой вторичной судьбы (незадачливой секретарши Мак-Фатума, так сказать), лезущей с пустяками и мешающей грандиозным планам великодушного начальника, эти скрежещущие остановки, это передвижение наугад по бульварам Брайсланда были, пожалуй, самым тяжким испытанием, до сих пор выпавшим на мою долю. Впоследствии я не раз смеялся, вспоминая свою неопытность — как я с мальчишеским упрямством хотел найти именно эту гостиницу с прихотливым названием — тогда как вдоль всего нашего пути неоновые знаки бесчисленных мотелей предлагали свободные комнаты, готовые принять кого угодно — коммивояжёров, беглых каторжников, импотентов, большие семьи, а также самые блудливые и ненасытные пары. О, мирные автомобилисты, скользящие сквозь черноту летней ночи, какие игры, какие извороты похоти вы могли бы узреть с вашего безупречно гладкого шоссе, если бы эти комфортабельные шалаши, вдруг лишившись всякой пигментации, стали прозрачны, как ларчики из стекла!

Чудо, которого я жаждал, всё-таки свершилось. Мужчина и девица, более или менее сопряжённые в темноте автомобиля, стоявшего под древесной капелью, сообщили нам, что мы находимся в самом сердце городского парка, но что, стоит только взять влево у следующего светофора, и мы будем у цели. Никакого светофора мы не нашли — парк был чёрен как грех, которому он служил прикрытием, — но вскоре, подпав под плавные чары хорошо спланированного поворота, мы сквозь туман разглядели алмазное мреяние огней, затем — ночной блеск озера, и вот он предстал перед нами, дивно и неотвратимо, под призрачными деревьями, наверху, где кончался обсыпанный гравием въезд — белый чертог «Зачарованных Охотников»!

Сначала показалось, что запаркованные автомобили, устроившиеся рядком, как у корыта свиньи, закрывают подступ; но вдруг, как по волшебству, внушительных размеров открытая машина, отливавшая вишнёвым лоском под освещёнными огнями дождём, пришла в движение, энергично попятилась под управлением

широкоплечего господина — и мы благодарно скользнули в образовавшееся пространство. Я тут же попенял на свою поспешность, заметив, что мой предшественник теперь воспользовался чем-то вроде гаражика, под навесом которого было достаточно места и для второго автомобиля; но моё нетерпение не позволило мне последовать его примеру.

«Ну и шик!» заметила моя вульгарная красотка, щурясь на лепной фасад. Она вылезла из автомобиля в шелест морозящего дождя и рывком детской ручки оправила платье, застрявшее между щёчками персика — перефразирую Роберта Браунинга. При свете, обливающим фронтоны, шарахались и качались на белых колоннах увеличенные силуэты каштановых листьев. Я отпер багажник. Седой горбатый негр в довольно приблизительной ливрее положил на тачку наши чемоданы и медленно покатил их в холл. Холл был полон старых дам и священников. Лолита опустила на корточки, чтобы осыпать ласками бледномордого, в синих веснушках, с чёрными висячими ушами кокер-спаньеля, который на флоре ковра прямо-таки таял под её ладонью — да и кто бы не таял, о моё бедное сердце...

Я же тем временем прочищал горло и, сквозь толпу, себе путь к отдельной конторе. Там лысый, пороссячьего вида, старик — все были стары в этой старой гостинице — осмотрел меня, подозрительного брюнета, с учливой улыбкой, засим неторопливо достал мою (исковерканную) телеграмму, не поборол тёмных сомнений, обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, и наконец сказал, что «очень извиняется» — держал комнату с двумя постелями до половины седьмого вечера, а теперь она сдана: церковный съезд, видите ли, совпал с выставкой цветов в Брайсланде.

«Моё имя», холодно перебил я, «не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт, и мне всё равно, пусть будет одиночный номер, только прибавьте койку для моей маленькой дочери, ей десять лет, и она очень устала».

Розовый старец добродушно поглядел на Лолиту, которая всё ещё стояла на корточках, полуоткрыв губы, слушая в профиль, что говорила ей из глубин кретонового кресла хозяйка собаки, древняя старуха, обвитая фиолетовыми вуалями.

Какие бы сомнения ни мучили подлеца, они рассеялись от вида моей арийской розы. Он сказал, что, пожалуй, найдётся кое-что, да — номер с двойной постелью. Что же касается кровати —

«Мистер Ваткинс, как насчёт лишней кровати?..» Кроваткинс, тоже розовый и лысый, с белыми волосками, растущими из ушных и других дыр, подошёл и заговорил, а я уже развинчивал вечное перо. Нетерпеливый Гумберт!

«Наши двойные постели — в сущности тройные», уютно говорил он, укладывая спать отца и дочку. «Помнится, был у нас как-то особенно большой наплыв, и мы положили в одну постель трёх дам и вот такую девочку, как вашу. Мне даже кажется, что одна из дам была переодетый мужчина (моя отсебятина). Впрочем, нет ли лишней койки в номере сорок девятом, мистер Швайн?»

«Боюсь, её дали семейству Свун», сказал Швайн, первый из двух шутов.

«Мы уж как-нибудь справимся», сказал я. «Попозже к нам, может быть, присоединится моя жена — но даже так, я думаю, мы справимся».

К этому времени обе розовых свиньи уже забыли своё гумбергофобство. Медленным и ясным почерком злоумышленника я написал: Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью, 342, Лоун Стрит, Рамздэль. Ключ (номер 342!) был мне мельком показан (так фокусник показывает монету, которую он собирается спальмировать) и тут же передан Дяде Тому. Лолита, оставив собаку (так и меня она оставит), поднялась с корточек; дождевая капля упала на могилу Шарлотты; спустившаяся с небес миловидная негритянка отворила изнутри дверь лифта, и обречённое дитя вошло в него, а за ней последовали её покашливающий отец и Том с чемоданами, как распяленный краб.

Пародия на гостиничный коридор. Пародия на тишину и на смерть.

«Смотри, ведь это номер нашего дома», весело воскликнула Лолита.

Двухспальная кровать, зеркало, двухспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отражённая в нём кровать, та же кровать в шкафовом зеркале, два кресла, стол со стеклянным верхом, два ночных столика, двухспальная между ними кровать: точнее, большая кровать полированного дерева с бархатистым покрывалом пурпурного цвета и четой ночных ламп под оборчатými красными абажурами.

Мне очень хотелось положить пятидолларовую бумажку на эту бледно-бурую ладонь, но побоялся, что такая щедрость может быть неправильно истолкована, а потому положил четвертак. Прибавил ещё один. Он удалился.

Щёлк. Enfin seuls.[59]

«Как же так — мы будем спать в одной комнате?» сказала Лолита, динамически гримасничая, как делала, бывало, без гнева, без гадливости (хотя явно на границе этих чувств), а именно динамически, когда хотела нагрузить свой вопрос особенно истовой значительностью.

«Я просил у них добавочную койку. Которую, если хочешь, я возьму себе».

«Ты с ума сошёл», сказала Лолита.

«Почему же, моя дорогая?»

«Потому, да-ра-гой, что когда да-ра-гая мама узнает, она с тобой разведётся, а меня задушит».

Просто. — динамически; не принимая всерьёз.

«Послушай меня», сказал я садясь; она же стояла в двух шагах от меня и с удовольствием смотрела на своё отражение, приятно удивлённая им, наполняя собственным розовым светом удивлённое и довольное зеркало шкафной двери. «Послушай меня, Лолита. Давай установим кое-что раз навсегда. В чисто практическом смысле, я — твой отец. Я к тебе очень нежно привязан. В отсутствие твоей матери я отвечаю за твоё благополучие. Мы небогаты, и поскольку мы путешествуем, нам придётся — нам придётся быть много вместе. Когда двое живут в одной комнате, неизбежно получается — как бы это назвать — получается некоторое...»

«Кровосмешение», подсказала Лолита — и вошла в шкаф, вышла из него с молодым золотым гоготком, отворила смежную дверь, и, предусмотрительно заглянув туда своими странными дымчатыми глазами, чтобы не ошибиться опять, удалилась в ванную.

Я растворил окно, сорвал с себя пропитанную потом рубашку, переоделся, проверил в кармане пиджака, там ли пилюли, и отпер чемодан.

Она выплыла из ванной. Я попробовал её обнять — так, невзначай, капля сдержанной нежности перед обедом.

Она сказала: «Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать».

Тут-то я поднёс свой сюрприз.

Ах, мечта мечты моей! Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далёкую сокровищницу на багажных козлах (что у неё с глазами, подумал я, с этими большими серыми глазами, или мы оба погружены в один и тот же заколдованный туман?). Она подступала к ней, довольно высоко поднимая ноги на довольно высоких каблуках и сгибая очаровательно мальчишеские колени так медленно, в расширившемся пространстве, словно шла под водой или как в тех снах, когда видишь себя невесомым; затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую, медного шёлка, кофточку, всё так же медленно, всё так же молча, расправив её перед собой, как если бы была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенистых крыльев. Затем стала вытаскивать (пока я стоял и ждал её) медленную змею блестящего пояса и попробовала на себе.

Затем она вкралась в ожидавшие её объятия, сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз — ни дать ни взять банальнейшая шлюшка. Ибо вот кому подражают нимфетки — пока мы стонем и умираем.

«Чем поцелуй пыл блох?» пробормотал я, дыша ей в волосы (власть над словами ушла).

«Если уж хочешь знать», сказала она, «ты делаешь не так, как надо».

«Накажи, как».

«Всё в своё время», ответила виновница моего косноязычия. *Seva ascendes, pulsata, brulans, kitzelans, dementissima. Elevator clatterans, pausa, clatterans, populus in corridoro. Hanc nisi mors mihi adimet niemo! Juncea puellula, jo pensavo fondissime, nobserva nihil quidquam;* но разумеется, в следующую минуту я мог бы совершить какую-нибудь ужасную оплошность; к счастью, она вернулась к сокровищнице.

Из ванной, где мне пришлось довольно долго переключаться для скромной нужды, я слышал (стоя, попадая мимо, задерживая дыхание) «ахи» и «охи» девочкиного восхищения.

Руки она вымыла только потому, что ей понравилось отельное мыльце-образчик.

«Пора идти, милая; я думаю, ты так же проголодалась как и я».

И вот мы отправились к лифту, дочка — покачивая своей старой белой сумочкой, отец — на шаг впереди (*nota bene*: никогда не идти позади неё, ведь она не дама). Пока мы стояли (теперь уже рядом), дожидаясь лифта, она закинула голову, безудержно раззевалась и потрянула кудрями.

«В котором часу вас будили в лагере?»

«В половине» — она подавила новый зевок — «седьмого», дозевнула до конца с содроганием всего тела.

«Седьмого», повторила она, и горло у неё снова стало наполняться.

Гостиничный ресторан приветствовал нас запахом жареного жира и стеклянистой улыбкой. Это было обширное

и претенциозное помещение с жеманными фресками по стенам, изображающими охотников, зачарованных в разнообразных положениях среди множества неинтересных животных, дриад и деревьев. Несколько рассыпанных по зале старых дам, два священника и широкоплечий господин в клетчатом пиджаке молча кончали обедать. Ресторан закрывался в девять, и каменнолицые подавальщицы в зелёной форме отчаянно спешили — на моё счастье — от нас отделаться.

«Посмотри, как он похож, как невероятно похож на Куильти», вполголоса проговорила Лолита, острым загорелым локтем не то что указывая, но страстно стремясь указать на одинокого господина в спортивном пиджаке, сидящего в дальнем углу залы.

«На кого — на нашего толстого дантиста?»

Лолита задержала во рту только что взятый глоток воды и поставила обратно на стол свой затанцевавший стакан.

«Да глупости», сказала она, поперхнувшись смехом, «я говорю о том писателе, который на папиросных рекламах».

О, слава! О, женщины!

Когда принесли и бухнули на стол сладкое — для барышни огромный клин вишнёвого торта, а для её покровителя бомбочку сливочного мороженого (значительную часть которого она, не задумываясь, прибавила к своему тарту), — я вынул из кармана пузырёк, содержащий ПАПИНЫ Пилюли. Оглядываясь ныне на бледную немочь этих фресок, на этот странный, чудовищный миг, могу объяснить своё тогдашнее поведение только механическим действием безвоздушного пространства, присущего снам, в котором вращается повреждённый ум; но в тот миг всё мне казалось совершенно простым и неизбежным. Я оглядел зал, убедился, что последний из обедавших ушёл, откупорил пузырёк и с величайшим хладнокровием наклонил его над ладонью. Я не раз прорепетировал перед зеркалом этот жест, которым быстро подносишь пустую горсть ко рту и отправляешь в него несуществующую пилюлю. Как я и ожидал, она набросилась на пузырёк с крупными, обольстительно-яркими капсулами, начинёнными дурманом Спящей Красавицы.

«Синенькие!», воскликнула она, «лилово-синенькие. Из чего они сделаны?»

«Из летнего неба», ответил я, «из слив, из смокв, из виноградной крови царей!»

«Нет, серьёзно... Пожалуйста!»

«Ах, это просто Фиалкапюли. Витамин Икс. Делает тебя сильным, как бык-с или штык-с. Хочешь попробовать?»

Лолита протянула руку, энергично кивая.

Я надеялся, что зелье подействует быстро. Оно подействовало молниеносно. Позади был длинный день, утром она каталась на лодке с Варварой (сестра которой заведовала водяным спортом, как моя упоительно-доступная нимфетка начала теперь мне рассказывать промеж полураздавленных небораспирающих зевков, которые всё увеличивались в объёме) и ещё занималась кой-чем. Кино, смутно мечтавшееся ей, было, конечно, забыто к тому времени, когда мы покинули ресторан. Стоя со мной в лифте, она прислонилась ко мне, полуулыбаясь («Сказать ли, чем я занималась?»), полусмежая тёмные веки. «Спать хочется, небось?» спросил Дядя Том, который орудовал лифтом, поднимавшим тихого джентльмена франко-ирландского происхождения и его сонную дочку, а также двух увядших женщин, экспертов по розам, которые тоже глядели участливо на мою хрупкую, загорелую, пошатывающуюся, розовую, одурманенную душеньку. Мне чуть ли не на руках пришлось внести её в номер. Она села на край постели, слегка качаясь, и заговорила каким-то воркотливо-тусклым растянутым тоном.

«Если я тебе скажу... если я тебе скажу, ты мне обещаешь (такая сонная! Головка валится, глаза гаснут...), обещаешь не жаловаться на лагерь?»

«После, Лолита. Теперь ложись. Я тебя оставлю одну, чтобы ты легла. Даю тебе десять минут».

«Ах, какая я была гадкая», продолжала она, тряся волосами, снимая с них медленными пальцами чёрную бархатную ленточку. «Дай-ка я тебе скажу».

«Завтра, Лолита. Ложись, ложись. Ради Бога ложись».

Ключ я сунул в карман и спустился по лестнице.



бездонной постели, дремотно поднимающую ногу, вяло возышающуюся со шнурками и при этом показывающую неполную сторону голой ляжки до самого шва штанишек в паху — она всегда со странной рассеянностью или бесстыдством, или со смесью того и другого относилась к подобному оголению. Вот, значит, каков был заветный образ её, который я запер в комнате, предварительно удостоверившись, что на двери нет задвижки снутри. Ключ с нумерованным привеском из резного дерева тотчас же превратился в увесистое «сезам — отворись», в сказочную отмычку, могущую отпереть блаженное и страшное будущее. Он был мой, он был часть моего горячего, волосистого кулака. Через несколько минут — скажем, двадцать, скажем полчаса (sicher ist sicher[61], как говаривал мой дядя Густав), я отопру дверь номера 342 и найду мою нимфетку, мою красу и невесту, в темнице хрустального сна. Присяжные! Если бы мой восторг мог звучать, он бы наполнил эту буржуазную гостиницу оглушительным рёвом. И единственное, о чём жалею сегодня, это что я не оставил молча у швейцара ключ 342-ой и не покинул в ту же ночь город, страну, материк, полушарие и весь земной шар. Позвольте объяснить. Меня не слишком смутили её покаянные иносказания. Я всё ещё был твёрдо намерен придерживаться решения шадить её чистоту, работая лишь под покровом ночи над совершенно усыпленной наркозом голенькой крошкой. «Сдержанность и благоговение» — вот был мой всегдашний девиз. Я намерен был придерживаться его, даже если бы эту чистоту (между прочим, основательно развенчанную современной наукой) слегка подпортило какое-нибудь ребячье эротическое переживание (по всей вероятности, гомосексуального порядка) в этом её мерзостном лагере. Конечно, в силу старомодных европейских навыков я, Жан-Жак Гумберт, принял на веру, когда впервые её увидел, два с половиной месяца тому назад, что она так непорочна, как полагается по шаблону быть «нормальному ребёнку» с самой той поры, когда кончился незабвенный античный мир с его увлекательными нравами. В нашу просвещённую эру мы не окружены маленькими рабами, нежными цветочками, которые можно сорвать в предбаннике, как делалось во дни Рима; и мы не следуем примеру величавого Востока в ещё более изнеженные времена и не ласкаем спереди и сзади услужливых детей, между бараниной и розовым шербетом. Всё дело в том, что старое звено, соединявшее взрослый мир с миром детским, теперь оказалось разъятым новыми обычаями и законами. Хотя я и интересовался одно время психиатрией и общественным призрением, я в сущности почти ничего не знал о детях. Ведь всё-таки Лолите было только двенадцать лет, и какие бы я поправки ни делал на среду и эпоху (даже принимая во внимание разнужданность американских детей школьного возраста), мне казалось, что развратные игры между этими резвыми подростками происходят всё-таки позже, да и в другой обстановке. Посему (подбираю опять нить моего рассуждения) моралист во мне обходил вопрос, цепляясь за условные понятия о том, что собой представляют двенадцатилетние девочки. Детский психиатр во мне (шарлатан, как большинство из них, но это сейчас неважно) пережёвывал новофрейдистский гуляш и воображал мечтательную и экзальтированную Лолиту в «латентной» фазе девичества. Наконец, сексуалист во мне (огромное и безумное чудовище) ничего бы не имел против наличия некоторой порочности в своей жертве. Но где-то по ту сторону беснующегося счастья совещались растерянные тени — и как я жалею, что им не внял! Человеческие существа, слушайте. Я должен был понять, что Лолита уже оказалась чем-то совершенно отличным от невинной Аннабеллы и что нимфическое зло, дышащее через каждую пору заворожённой девочки, которую я готовил для тайного услаждения, сделает тайну несбыточной и услаждение — смертельным. Я должен был знать (по знакам, которые мне подавало что-то внутри Лолиты, — настоящая детская Лолита или некий измождённый ангел за её спиной), что ничего, кроме терзания и ужаса, не принесёт ожидаемое блаженство. О, крылатые господа присяжные!

Она моя, моя, ключ в кулаке, кулак в кармане, она моя. Путём заклинаний и вычислений, которым я посвятил столько бессонниц, я постепенно убрал всю лишнюю муть и, накладывая слой за слоем прозрачные краски, довёл их до законченной картины. На этой картине она являлась мне обнажённой — ничего на ней не было, кроме одного носочка да браслета с брелоками; она лежала, раскинувшись, там, где её свалило моё волшебное снадобье; в одной ручке была ещё зажата бархатная ленточка, снятая с волос; её прянично-коричневое тело, с белым негативом коротенького купального трико, отпечатанным на загаре, показывало мне свои бледные молодые сосцы; в розовом свете лампы шелковисто блестел первый пух на толстеньком холмике. Огромный ключ со смуглым ореховым привеском был у меня в кармане.

Я бродил по различным залам, озарённый снутри, сумрачный снаружи: ведь лицо вождения всегда сумрачно; вождение никогда не бывает совершенно уверенным — даже и тогда, когда нежная жертва заперта у тебя в крепости — что какой-нибудь дьявол-конкурент или влиятельный божок не норовит отменить приготовленный для тебя праздник. Выражаясь вседневным языком, надо было выпить, но бара не оказалось в этой старой почтенной гостинице, полной запервших филистеров и стилизованных вещей.

Меня отнесло в мужскую уборную. Покидавший её посетитель в клерикально-чёрном костюме, с душой, comme on dit[62], нараспашку, проверяя гюльфик (жест, который венский мудрец объясняет желанием посмотреть, всё ли взято), спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я (Сигизмунд Второй) сказал, что Пар — парень на ять, после чего я смял в комочек бумажную салфеточку, которой вытирал кончики пальцев — они у меня весьма чувствительные — и, ловко метнув его в приготовленный для этого ресептакль, выплыл в холл. Удобно опершись обоими локтями на край конторки, я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала; и как насчёт койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила (покойница, разумеется, звонить не могла) и что если мы останемся, покойку поставят завтра. Из большого многолюдного помещения с надписью над дверью «Охотничий Зал» доносился гул многих голосов, обсуждавших не то садоводство, не то бессмертие души. Другая комната, под названием «Малиновая», вся облитая светом, со сверкающими столиками и одним длинным столом с морсом и бисквитами, была ещё пуста, ежели не считать отессы (увядшей женщины с характерной для отесс стеклянистой улыбкой и Шарлоттиной манерой говорить), которая, вся струясь, подошла ко мне и осведомилась, не господин Браток ли я, потому что, если так, мисс Борода меня как раз искала. «Вот уж имя для женщины», заметил я и не спеша вышел.

Прилиwała и отлиwała моя радужная кровь. Я решил ждать до половины десятого. Вернувшись в холл, я застал там перемену: некоторое число лиц, в цветистом шёлку или чёрном сукне, образовало отдельные небольшие группы, и эльф случая потешил мой взгляд прелестным ребёнком Лолитиных лет, в платье Лолитиногo фасона, но белом, и с белой ленточкой, придерживавшей её чёрные волосы. Она не была особенно хорошенькая, но она была нимфетка, и её голые, бледно-фарфоровые ноги и лилейная шея образовали на одно незабвенное мгновение чрезвычайно приятную антифонию (если можно выразить музыкальным термином ощущение в спинном мозгу) к моей жажде Лолиты, румяной и загорелой, возбуждённой и осквернённой. Бледненькая девочка почувствовала мой взгляд (который был, впрочем, совершенно небрежным и благодушным) и, будучи до смешного застенчивой, ужасно смутилась, закатывая глаза, и прижимая тыл руки к щеке, и одёргивая платьице, и наконец повернулась ко мне худыми подвижными лопатками, нарочито разговаривая со своей коровистой мамашей.

Я покинул шумный холл и вышел наружу; некоторое время я стоял на белых ступенях, глядя на карусель белёсых ночных мотыльков, вертевшихся вокруг фонаря в набухшей сыростью черноте зыбкой беспокойной ночи, и думал: всё, что сделаю, всё, что посмею сделать, будет, в сущности, такая малость... Вдруг я почувал в сумраке, недалеко от меня, чьё-то присутствие: кто-то сидел в одном из кресел между колоннами перрона. Я, собственно, не мог его различить в темноте, но его выдал винтовой скрежет открываемой фляжки, за которым последовало скромное бульканье, завершившееся звуком мирного завинчивания. Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос:

«Как же ты её достал?»

«Простите?»

«Говорю: дождь перестал».

«Да, кажется».

«Я где-то видал эту девочку».

«Она моя дочь».

«Врёшь — не дочь».

«Простите?»

«Я говорю: роскошная ночь. Где её мать?»

«Умерла».

«Вот оно что. Жаль. Скажите, почему бы нам не пообедать завтра втроем? К тому времени вся эта сволочь разъедется».

«Я с ней тоже уеду. Спокойной ночи».

«Жаль. Я здорово пьян. Спокойной ночи. Этой вашей девочке нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?»

«Спасибо, сейчас не хочу».

Он чиркнул спичкой, но оттого, что он был пьян, или оттого, что пьян был ветер, пламя осветило не его, а какого-то глубокого старца (одного из тех, кто проводит остаток жизни в таких старых гостиницах) и его белую качалку. Никто ничего не сказал, и темнота вернулась на прежнее место. Затем я услышал, как гостиничный старожил раскашлялся и с могильной гулкостью отхаркнулся.

Я покинул веранду. В общем прошло уже полчаса. Напрасно я не попросил у него глотка виски. Напряжение начинало сказываться. Если скрипичная струна может страдать, я страдал, как струна. Однако было бы неприлично показать, что спешу. Пока я пробирался сквозь созвездие людей, застывших в одном из углов холла, ослепительно блеснул магний — и ослабившийся пастор Браток, две дамы патронессы с приколотыми на груди неизбежными орхидеями, девочка в белом платье и, по всей вероятности, оскаленные зубы Гумберта Гумберта, протискивающегося боком между зачарованным священником и этой девочкой, казавшейся малолетней невестой, были тут же увековечены, — поскольку бумага и текст маленькой провинциальной газеты могут считаться вековыми. У лифта стояла другая щебечущая кучка. Я опять предпочёл лестницу. Номер 342 находился около другой, наружной лестницы для спасения на случай пожара. Можно было ещё спастись — но ключ повернулся в замке, и я уже входил в комнату.

29

Дверь освещённой ванной была приоткрыта; кроме того, сквозь жалюзи пробивался скелетообразным узором свет наружных фонарей; эти скрещивающиеся лучи проникали в темноту спальни и позволяли разобраться в следующем положении.

Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Её сквозящее через лёгкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки — и свою и мою; кудри были растрёпаны; полоса бледного света пересекала её верхние позвонки.

Я сбросил одежду и облачился в пижаму с той фантастической мгновенностью, которую принимаешь на веру, когда в кинематографической сценке пропускается процесс переодевания; и я уже поставил колено на край постели, как вдруг Лолита повернула голову и уставилась на меня сквозь полосатую тень.

Вот этого-то вошедший не ожидал! Вся затея с пилюлькой-люлькой (подловатое дело, *entre nous soit dit*[63]) имела целью навеять сон, столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить, а вот, подите же, она вперилась в меня и, с трудом ворочая языком, называла меня Варварой! Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для неё тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадёжным вздохом, Долли отвернулась, приняв своё первоначальное положение. Минуты две я стоял, напряжённый, у края, как тот парижский портной, в начале века, который, сшив себе парашют, стоял, готовясь прыгнуть с Эйфелевой башни. Наконец я взгромоздился на оставленную мне узкую часть постели; осторожно потянул к себе концы и края простынь, сбитые в кучу на юге от моих каменно-холодных пяток; Лолита подняла голову и на меня уставилась.

Как я узнал впоследствии от услужливого фармацевта, лиловая пилюля не принадлежала даже к большому и знатному роду барбиталовых наркотиков: неврастенику, верящему в её действие, она, пожалуй, помогла бы уснуть, но средство было слишком слабое, чтобы надолго уложить шуструю, хоть и усталую нимфетку. Неважно, был ли рамздэльский доктор шарлатаном или хитрецом. Важно, что я был обманут. Когда Лолита снова открыла глаза, я понял что, даже если снотворное и подействует через час или полтора, безопасность, на которую я рассчитывал, оказалась ложной. Тихо отвернувшись, она уронила голову на подушку — на ту, которой я был несправедливо лишён. Я остался лежать неподвижно на краю бездны, вглядываясь в её спутанные волосы и в проблески нимфеточной наготы, там, где смутно виднелась половинка ляжки или плеча, и пытаюсь определить глубину её сна по темпу её дыхания. Прошло некоторое время; ничего не изменилось, и набравшись смелости я решил слегка пододвинуться к этому прелестному, с ума сводящему мерцанию. Но едва я вступил в его тёплую окрестность, как ровное дыхание приостановилось, и на меня нашло ужасное подозрение, что маленькая Долорес совершенно проснулась и готова разразиться криками, если к ней прикоснусь любой частью своего жалкого, ноющего тела. Читатель, прошу тебя! Как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц! Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не выразишь; попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония; давай даже улыбнёмся слегка. Например, — мне негде было преклонить голову (чуть не написал: головку), и к общему моему неудобству прибавилась мерзкая изжога (от жаренного в сале картофеля, который они смеют тут называть «французским»!).

Она опять крепко спала, моя нимфетка; однако я не дерзал пуститься в волшебное путешествие. «*La Petite Dormeuse ou l'Amant Ridicule*».[64] Завтра накормлю её теми прежними таблетками, от которых так основательно цепенела её мать. Где они — в переднем ящике автомобиля или в большом саквояже? Может

быть, подождать часок и тогда опять попробовать подползти? Наука нимфетолепсии — точная наука. Можно ровно в секунду, если прижаться. На расстоянии в один миллиметр надо считать секунд десять. Подождём.

Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы, — причём заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на «изящность быта» и всё такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в двадцати шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных манёвров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха (а лежал я навзничь, не смея повернуть более гнусную свою сторону по направлению дымчатого бедра моей соложницы), коридор наполнялся до краёв жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это наконец прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия — дрожала стена за моим изголовием. Затем, в южном направлении от меня, кого-то стало невероятно рвать — человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной, сразу за нашей, обрушивался сущей Ниагарой. Когда же наконец все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы, на запад от моего бдения — благоустроенный, величавый, подчёркнуто-неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, — выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотающих во мгле сырой и ветреной ночи.

А между тем, меньше чем в шести вершках от меня и моей пылающей жизни находилась дымчатая Лолита! После долгого периода неподвижного бодрствования я снова стал добираться до неё шупальцами, и на этот раз скрип матраца не разбудил её. Мне удалось пододвинуть мою тяжкую, алчущую плоть так близко, что я почувал на щеке, словно тёплое дыхание, ауру её обнажённого плеча. Туг она приподнялась, охнула, затараторила с бредовой быстротой что-то о лодках, дёрнула простыню и впала обратно в своё тёмное, цветущее, молодое бесчувствие. Она заметалась в этом обильном потоке сна, и одна голая рука, недавно коричневая, теперь лунная, с размаху легла через моё лицо. Был миг, когда я держал пленницу, но она высвободилась из моих едва наметившихся объятий, причём сделала это не сознательно, не резко, не с какой-либо личной неприязнью, а просто — с безотносительно-жалобным бормотанием ребёнка, требующего полагающегося ему покоя. И всё вернулось в прежнее состояние: Лолита, повёрнутая изогнутым хребтом к Гумберту; Гумберт, подложивший под голову руку и терзающийся вожделием и изжогой.

Последняя принудила меня пойти в ванную за глотком воды: для меня это лучшее лекарство, не считая, быть может, молока с редисками; и когда я снова вступил в диковинную, бледно-полосатую темницу, где Лолитины старые и новые одежды расположились в различных зачарованных положениях, на разных частях как бы плавучей мебели, моя невозможная дочь подняла голову и отчётливыми тоном объявила, что тоже хочет пить. Теневою рукой она взяла у меня упругий и холодный бумажный стаканчик и, направив на его край длинные свои ресницы, залпом выпила содержимое; после чего младенческим движением, исполненным большей прелести, чем сладострастнейшая ласка, маленькая Лолита вытерла губы о моё плечо. Она откинулась на свою подушку (мою я изъял, пока она пила) и немедленно опять заснула.

Я не посмел предложить ей вторую порцию снотворного, да и не расставался ещё с надеждой, что первая в конце концов упрочит её сон. Я всё подступал к ней, готовый к любому огорчению; знал, что лучше ждать, но ждать был не в силах. Моя подушка пахла её волосами. Я пододвигался к моей мерцающей голубке, останавливаясь и втягиваясь всякий раз, что она, казалось, шевелилась или собиралась шевельнуться. Ветерок из Страны Чудес уже стал влиять на мои мысли; они казались выделенными курсивом, как если бы поверхность, отражавши их, зыблилась от этого призрачного дуновения. Временами моё сознание не в ту сторону загибалось, моё ползком перемещавшееся тело попадало в сферу сна и опять из него выползало; а раза два я ловил себя на том, что невольно начинаю издавать меланхоличный храп. Туман нежности обволакивал горы тоски. Иногда мне сдавалось, что зачарованная добыча готова на полпути встретить зачарованного ловца; что её бедро добровольно подвигается ко мне сквозь сыпучий песок далёкого, баснословного побережья; но эта дымка с ямочкой вдруг вздрагивала, и я понимал, что Лолита дальше от меня, чем когда-либо.

Я тут задерживаюсь так долго на содроганиях и подкрадываниях той давно минувшей ночи, потому что намерен доказать, что я никогда не был и никогда не мог быть брутальным мерзавцем. Нежная мечтательная область, по которой я брёл, была наследием поэтов, а не притоном разбойников. Кабы я добрался до цели, мой восторг был бы весь нег: он бы свёлся к внутреннему сгоранию, влажный жар которого она едва бы ощутила, даже если бы не спала. Однако я ещё надеялся, что её постепенно охватит такое полное оцепенение, что мне удастся насладиться не только одним мерцанием её наготы. Так, между пробными приближениями и смешением чувств,

преображавшим её то в глазчатое собрание лунных бликов, то в пушистый, цветущий куст, мне снилось, что я не сплю, снилось, что таюсь в засаде.

Настало некоторое затишье перед утром в бессонной Жизни гостиницы. Затем, около четырёх, коридорный клозет хлынул каскадом и стукнула дверь. В самом начале Шестого часа начал доходить в нескольких, так сказать, Выпусках звучный монолог, происходивший на каком-то внутреннем дворе или на автомобильной стоянке. Это, собственно был не монолог, ибо говоривший останавливался каждые несколько секунд для того, чтобы выслушать подразумеваемого собеседника, чей голос не достигал Меня, вследствие чего никакого настоящего смысла нельзя было извлечь из слышимой половины беседы. Её будничные интонации, однако, расчистили путь рассвету, и комната уже наполнилась сиренево-серой мутью, когда несколько трудолюбивых уборных стали действовать одна за другой и гремящий, воющий лифт стал ходить вверх и вниз; несколько минут я уныло дремал, и Шарлотта была русалкой в зеленоватом водоёме, и где-то в коридоре рано вставший пастор кому-то сказал сочным голосом: «с добрым утречком!», — и птицы возились в листве, и вот — Лолита зевнула.

Девственно-холодные госпожи присяжные! Я полагал, что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем я посмею открыться маленькой Долорес Гейз; но к шести часам она совсем проснулась, а уже в четверть седьмого стала в прямом смысле моей любовницей. Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила.

Услышав её первый утренний зев, я изобразил спящего, красивым профилем обращённого к ней. По правде сказать, я совершенно не знал, как быть. Не возмутится ли она, найдя меня рядом, а не на запасной койке? Что она сделает — заберёт одежду и запрётся в ванной? Потребуется, чтобы её немедленно отвезли в Рамздэль? В больницу к матери? Обратно в лагерь? Но моя Лолиточка была резвой девчонкой, и когда она издала тот сдавленный смешок, который я так любил, я понял, что она до этого созерцала меня играющими глазами. Она скатилась на мою сторону, и её тёплые русые кудри прилипли к моей правой ключице. Я довольно бездарно имитировал пробуждение. Сперва мы лежали тихо. Я тихо гладил её по волосам, и мы тихо целовались. Меня привело в какое-то блаженное смущение то, что её поцелуй отличался несколько комическими утонченностями в смысле трепетания пытливого жала, из чего я заключил, что её натренировала в раннем возрасте какая-нибудь маленькая лесбиянка. Таким изошрениям никакой Чарли не мог её научить! Как бы желая посмотреть, насытился ли я и усвоил ли обещанный давеча урок, она слегка откинулась, наблюдая за мной. Щёки у неё разгорелись, пухлая нижняя губа блестела, мой распад был близок. Вдруг, со вспышкой хулиганского веселья (признак нимфетки!), она приложила рот к моему уху — но рассудок мой долго не мог разбить на слова жаркий гул её шёпота, и она его прерывала смехом, и смахивала кудри с лица, и снова пробовала, и удивительное чувство, что живу в фантастическом, только что созданном, сумасшедшем мире, где всё дозволено, медленно охватывало меня по мере того, как я начинал догадываться, что именно мне предлагалось. Я ответил, что не знаю, о какой игре идёт речь, — не знаю, во что она с Чарли играла. «Ты хочешь сказать, что ты никогда?», начала она, пристально глядя на меня с гримасой отвращения и недоверия. «Ты — значит, никогда?», начала она снова. Я воспользовался передышкой, чтобы потыкаться лицом в разные нежные места. «перестань», гнусаво взвизгнула она, поспешно убирая коричневое плечо из-под моих губ. (Весьма курьёзным образом Лолита считала — и продолжала долго считать — все прикосновения, кроме поцелуя в губы да простого полового акта, либо «слюнявой романтикой», либо «патологией».)

«То есть, ты никогда», продолжала она настаивать (теперь стоя на коленях надо мной), «никогда не делал этого, когда был мальчиком?»

«Никогда», ответил я с полной правдивостью.

«Прекрасно», сказала Лолита, «так посмотри, как это делается».

Я, однако, не стану докучать учёному читателю подробным рассказом о Лолитиной самонадеянности.

Достаточно будет сказать, что ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конце развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде гёрл-скаутских костров и тому подобное. Для неё чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это совершенно её не занимало. Жезлом моей жизни Лолиточка орудовала необыкновенно энергично и деловито, как если бы это было бесчувственное приспособление, никак со мною не связанное. Ей, конечно, страшно хотелось поразить меня молодецкими ухватками малолетней шпаны, но она была не совсем готова к некоторым расхождениям между детским размером и моим. Только самолюбие не позволяло ей бросить начатое, ибо я, в диком своём положении, прикидывался безнадёжным дураком и предоставлял ей самой трудиться — по крайней мере пока ещё мог выносить своё невмешательство.

Но всё это, собственно, не относится к делу; я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий подвиг манит меня: определить раз навсегда губительное очарование нимфеток.

30

Я должен ступать осторожно. Я должен говорить шёпотом. О, ты, заслуженный репортёр по уголовным делам, ты, старый и важный судебный пристав, ты, некогда всеми любимый полицейский, ныне сидящий в одиночном заключении (а ведь сколько лет был украшением перекрёстка около школы!), ты, в страхе живущий отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах! Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту! Будь я живописцем и случись так, что директор «Привала Зачарованных Охотников» вдруг, в летний денёк, потерял бы рассудок и поручил мне переделать по-своему фрески в ресторане его гостиницы, вот что я бы придумал (описываю лишь фрагменты):

Было бы озеро. Была бы живая беседка в ослепительном цвету. Были бы наблюдения натуралистов: тигр преследует райскую птицу, змея давится, натягиваясь на толстого выхухоля, с которого содрали кожу. Был бы султан с лицом, искажённым нестерпимым страданием (страданием, которому противоречила бы округлость им расточаемых ласок), помогающий маленькой невольнице с прелестными ягодицами взобраться по ониксовому столбу. Были бы те яркие пузырьки гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов. Были бы всякие лагерные развлечения для промежуточной группы, Какао, Катание, Качели, Коленки и Кудри на солнечном берегу озера. Были бы тополя, яблоки, воскресное утро в пригородном доме. Был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвящая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя.

31

Я пишу всё это отнюдь не для того, чтобы прошлое пережить снова, среди нынешнего моего беспросветного отчаяния, а для того, чтобы отделить адское от райского в странном, страшном, безумном мире нимфолепсии. Чудовищное и чудесное сливались в какой-то точке; эту-то границу мне хочется закрепить, но чувствую, что мне это совершенно не удаётся. Почему?

Согласно римскому праву, лицо женского пола может вступить в брак в двенадцать лет; позже этот закон был одобрен церковью и до сих пор сохраняется, без особой огласки, в некоторых штатах Америки.

Пятнадцатилетний же возраст допускается законом везде. Нет ровно ничего дурного (твердят в унисон оба полушария) в том, что сорокалетний изверг, благословлённый служителем культа и разбухший от алкоголя, сбрасывает с себя насквозь мокрую от пота праздничную ветошь и въезжает по рукоять в юную жену. «В таких стимулирующих климатических условиях умеренного пояса (говорится в старом журнале из тюремной библиотеки), как те, что находим в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати, девушка достигает половой зрелости в конце двенадцатого года жизни». Долорес Гейз родилась менее, чем в трёхстах милях от стимулирующего Цинциннати. Я только слеую за природой. Я верный пёс природы. Откуда же этот чёрный ужас, с которым я не в силах справиться? Лишил ли я её девственности? Милостивые государыни, чуткие госпожи присяжные: я даже не был её первым любовником!

32

Она рассказала мне, как её совратили. Мы поехали в постели пресно-мучнистые бананы, подбитые персики да весьма вкусные картофельные чипсы, и die Kleine[65] мне всё рассказала. Её многословную, но сбивчивую повесть сопровождала не одна забавная moue[66]. Как я, кажется, уже отметил, мне особенно памятна одна такая ужимочка, основанная на подразумеваемом звуке «Ь», с искривлением шлёпогубого рта и закаченными глазами, выражающими шаблонную смесь комического отвращения, покорности и терпимого отношения к заблуждениям молодости.

Её поразительный рассказ начался со вступительного упоминания о подруге, которая с ней делила палатку, в предшествующее лето, в другом лагере, «очень шикарном», как она выразилась. Эта сожительница («настоящая беспризорница», «полусвихнувшаяся» девчонка, но «молодчина») научила её разным манипуляциям. Сперва лояльная Лолита отказалась назвать её.

«Это была, может быть, Грация Анджел?», спросил я.

Она отрицательно покачала головой. «Нет, совсем другая. Её отец — большая шишка. Он...»

«Так, может быть — Роза Кармин».

«Конечно, нет. Её отец...»

«Не Агнеса Шеридан, случайно?»

Она переглотнула и покачала головой, — а потом как спохватится!

«Слушай, откуда ты знаешь всех этих девчонок?»

Я объяснил.

«Словом, это другая», сказала она. «У нас много паскудниц в гимназии, но такой не сыщешь. Если уж хочешь всё знать, её зовут Елизабет Тальбот. Её братья учатся у нас, а она перешла в дорогую частную школу; её отец — директор чего-то».

Я вспомнил, с забавным уколом в сердце, как бедная Шарлотта, когда бывала в гостях, всегда норовила впустить в разговор всякие фасонистые штучки вроде: «Это было, когда моя дочь совершала экскурсию с маленькой Тальбот...»

Я спросил, узнали ли матери об этих сапфических развлечениях.

«Ах, что ты», выдохнула Лолита, как бы вся осев и прижав мнимо-трепещущую руку к белой груди, чтобы изобразить испуг и облегчение.

Меня, однако, больше занимали гетеросексуальные шалости. Она поступила в гимназию одиннадцати лет после того, что переехала с матерью в Рамздэль со «среднего Запада». Что же именно делали эти её «паскудные» одноклассники и одноклассницы?

«Известно что... Близнецы, Антоний и Виола Миранда, не даром спали всю жизнь в одной постели, а Дональд Скотт, самый большой балда в школе, занимался этим с Гэзель Смит в дядюшкином гараже, а спортсмен Кеннет Найт выставлял своё имущество напоказ при всяком удобном и неудобном случае, а...»

«Перелетим-ка в лагерь Ку», сказал спортсмен Гумберт, «но сперва — перерыв». И после перерыва я узнал все подробности.

У Варвары Бэрк, крепкого сложения, блондинки, на два года старше моей душеньки и, безусловно, лучшей пловчихи в лагере, была какая-то особенная байдарка, которую она делила с Лолитой «потому что я единственная из всех других девочек могла доплыть до Ивового Острова» (какое-нибудь, полагаю, спортивное испытание). В продолжение всего июля месяца, каждое утро — заметь, читатель, каждое проклятое утро — Варваре и Лолите помогал нести байдарку из Оникса в Эрикс (два небольших озера в лесу) тринадцатилетний Чарли Хольмс, сынок начальницы лагеря и единственный представитель мужского пола на две-три мили кругом (если не считать дряхлого, кроткого, глухого работника, да соседа фермера, который иногда посещал Лагерь на старом форде, чтобы сбить яйца, как это делают фермеры); каждое утро — о, мой читатель! — эти трое ребят, срезая путь, шли наискосок через прекрасную невинную чащу, наполненную до краёв всеми эмблемами молодости, росой, грибами, черникой, пением птиц, и в определённом месте, среди пышной чащобы, Лолита оставалась стоять на страже, пока Варвара и мальчик совокуплялись за кустом.

Сначала моя Лолита отказывалась «пробовать»; однако любопытство и чувство товарищества взяли верх, и вскоре она и Варвара отдавались по очереди молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, который, как кавалер, был едва ли привлекательнее сырой морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных чехольчиков, которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего другие размером и посещаемостью и называвшегося Озеро Клаймакс по имени соседнего фабричного города, столь бурно разросшегося за последнее время. Хотя, признавая, что это было «в общем ничего, забавно» и «хорошо против прыщиков на лице», Лолита, я рад сказать, относилась к мозгам и манерам Чарли с величайшим презрением. Добавлю от себя, что этот блудливый мерзавчик не разбудил, а пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину, несмотря на «забавность».

Было уже около десяти утра. Угомонилась страсть, и ужасное сознание беды опустилось на меня, как пепел, что поощрялось будничной реальностью тусклого, невралгического дня, от которого ныло в висках. Коричневая, голенькая, худенькая Лолита, обращённая узкими белыми ягодицами ко мне, а лицом к дверному зеркалу, стояла, упёршись руками в бока и широко расставив ноги (в новых ночных туфлях, отороченных кошачьим мехом), и сквозь свесившийся локон морщила нос перед хмурым стеклом. Из коридора доносились гулюкающие голоса чернокожих уборщиц, и немного погодя была сделана вкрадчивая попытка, прерванная моим громовым окриком, отворить дверь в наш номер. Я велел Лолите отправиться в ванную и хорошенько намылиться под душем, в котором она весьма нуждалась. Постель была в невероятном беспорядке, и вся в

картофельных чипсах. Девочка примерила костюмчик из синей шерсти, потом другой, состоявший из блузки без рукавов и воздушной, клетчатой юбочки, но первый показался ей тесен, а второй — велик; когда же я стал просить её поторопиться (положение начинало меня тревожить), она злобно швырнула мои милые подарки в угол и надела вчерашнее платье. Наконец, она была готова; я снабдил её напоследок чудной сумочкой из поддельной телячьей кожи (всунув целую горсточку центов и два совсем новеньких гривенника) и сказал ей купить себе какой-нибудь журнальчик в холле.

«Буду внизу через минутку», добавил я, «и на твоём месте, голубка, я бы не говорил с чужими».

Кроме моих бедных маленьких даров, укладывать было почти нечего; но мне пришлось посвятить некоторое время (что было рискованно — мало ли чего она могла натворить внизу) приведению постели в несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнёздышке нервного отца и его озорницы-дочки, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шляхами. Затем я оделся и распорядился, чтобы коридорный пришёл за багажом.

Всё было хорошо. Там, в холле, сидела она, глубоко ушедшая в кроваво-красное кожаное кресло, глубоко погружённая в лубочный кинематографический журнал. Сидевший напротив господин моих лет в твидовом пиджаке (жанр гостиницы преобразился за ночь в сомнительное подражание британскому усадебному быту) глядел, не отрываясь, через вчерашнюю газету и потухшую сигару на мою девочку. Она была в своих почти форменных белых носочках и пегих башмаках и в столь знакомом мне платьице из яркого ситца с квадратным вырезом; в желтоватом блеске лампы был заметнее золотистый пушок вдоль загорелых рук и икр. Одна нога была закинута через другую, высоко и легкомысленно; её бледные глаза скользили по строкам, то и дело перемигивая. Жена Билля преклонялась перед ним задолго до первой встречи; втайне любовалась этим знаменитым молодым киноартистом, когда он, бывало, ел мороженое у стойки в аптекарском магазине Шваба. Ничего не могло быть более детского, чем её курносое веснушчатое личико, или лиловый подтёк на голой шее, к которой недавно присосался сказочный вурдалак, или невольное движение кончика языка, исследующего налёт розовой сыпи вокруг припухших губ; ничего не могло быть безгрешнее, чем читать о Джиль, деятельной старлетке, которая сама шьёт свой гардероб и штудирует «серьёзную литературу»; ничего не могло быть невиннее, чем пробор в блестящих русых кудрях и шелковистый отлив на виске; ничего не могло быть наивнее... Но что за тошную зависть испытал бы вон тот мордастый развратник, кто бы он ни был (а смахивал он, между прочим, на моего швейцарского дядю Густава, тоже очень любившего *le d?couvert*[67]), если бы он знал, что каждый мой нерв всё ещё как кольцом охвачен и как елеем смазан ощущением её тела — тела бессмертного демона во образе маленькой девочки.

Был ли мистер Швайн абсолютно уверен, что моя жена не звонила? Да — уверен. Если она ещё позвонит, не будет ли он так добр передать ей, что мы поехали дальше, направляясь к местожительству тёти Клэр? О, разумеется, передаст. Я заплатил по счёту и, вернувшись к Лолите, заставил её вылезти из кресла. Она продолжала читать свой журнал всё время, пока мы шли к автомобилю. Всё ещё читая, она была отвезена в загородную кофейню. Съела она там порядочный брекфаст, я не мог пожаловаться; даже отложила журнал, чтобы есть; но она, такая всегда весёлая, была до странности скучная. Я знал, что Лолиточка может быть здорово неприятной, а потому старался держать себя в руках и с храброй улыбкой ожидал бури. Я не принял ванны, не побрился, и у меня не подействовал желудок. Шалили нервы. Мне не нравилось, как моя маленькая любовница пожимала плечиками и раздувала ноздри, когда я старался занять её безобидной болтовнёй. Я мягко спросил, например, знала ли что-нибудь о забавах в лесу Филлис Чатфильд, которая покинула лагерь несколько раньше, чтобы поехать к родителям в Мэн? «Послушай», сказала Лолита, сделав плачущую гримасу, «Давай найдём другую тему для разговора». Затем я попробовал — безуспешно, как я ни причмокивал — заинтересовать её дорожной картой. Позволю себе напомнить терпеливому читателю (чей кроткий нрав Лолите следовало бы перенять!), что целью нашего путешествия был весёлый городок Лепингвиль, находившийся где-то поблизости гипотетического госпиталя. План был вполне произвольным (как, увы, произвольной оказалась в дальнейшем не одна намеченная цель путешествия), и у меня дрожали поджилки, когда я спрашивал себя, как сделать, чтобы всё предприятие оставалось правдоподобным, и какой придумать другой правдоподобный маршрут после того, что мы пересмотрим все кинодрамы в Лепингвиле. Другими словами, Гумберту становилось всё больше и больше не по себе. Оно было очень своеобразное, это ощущение: томительная, мерзкая стеснённость — словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной. При движении, которое сделала Лолита, чтобы влезть опять в автомобиль, по её лицу мелькнуло выражение боли. Оно мелькнуло опять, более многозначительно, когда она уселась подле меня. Не сомневаюсь, что второй раз это было сделано специально ради меня. По глупости я спросил, в чём дело. «Ничего, скотина», ответила



она. Я не понял и переспросил. Она промолчала. «Вы покидаете Брайсланд», провозгласил плакат над дорогой. Словоохотливая же Лолита молчала. Холодные пауки ползали у меня по спине. Сирота. Одинокое, брошенное на произвол судьбы дитя, с которым крепко-сложённый, дурно-пахнущий мужчина энергично совершил половой акт три раза за одно это утро. Может быть, воплощение долголетней мечты и превысило все ожидания; но, вернее, оно взяло дальше цели — и перенеслось в страшный сон. Я поступил неосторожно, глупо и подло. И уж если во всём признаваться, скажу: где-то на дне тёмного омута я чувствовать вновь клокотание похоти — так чудовищно было влечение, возбуждаемое во мне этой несчастной нимфеткой! К терзаниям совести примешивалась мучительная мысль, что её скверное настроение, пожалуй, помешает мне опять овладеть ею, как только найду тихую, деревенскую дорогу, где мы могли бы остановиться на минутку. Словом, бедный Гумберт был в ужасном состоянии, и пока с бессмысленной неуклонностью автомобиль приближался к Лепингвиллю, водитель его тщетно старался придумать какую-нибудь прибаутку, под игривым прикрытием которой он посмел бы обратиться к своей спутнице. Впрочем, она первая прервала молчание:

«Ах», воскликнула она, — «раздавленная белочка! Как это жалко...»

«Да, не правда ли», поспешил поддержать разговор подобострастный, полный надежды Гум.

«Остановись-ка у следующей бензинной станции», продолжала Лолита. «Мне нужно в уборную».

«Мы остановимся, где хочешь», сказал я. И затем, когда красивая, уединённая, величавая роща (дубы, подумал я — о ту пору я совершенно не разбирался в американских деревьях) принялась отзываться зелёным эхом на гладкий бег машины, и вдруг сбоку, песчаная, окаймлённая папоротником тропа оглянулась на нас, прежде чем вильнуть в чашу, я предложил, что мы...

«Продолжай ехать!» визгливо перебила Лолита.

«Слушаюсь. Нечего сердиться». (куш, бедный зверь, куш!)

Я искоса взглянул на неё. Слава Богу, малютка улыбалась!

«Кретин!» проговорила она, сладко улыбаясь мне, «Гадина! Я была свеженькой маргариткой, и смотри, что ты сделал со мной. Я, собственно, должна была бы вызвать полицию и сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, грязный старик!»

Она не шутила. В голосе у неё звенела зловещая истерическая нотка. Немного погодя, она стала жаловаться, втягивая с шипением воздух, что у неё «там внутри всё болит», что она не может сидеть, что я разворотил в ней что-то. Пот катился у меня по шее, и мы чуть не переехали маленькое животное — не белку, — перебежавшее шоссе с поднятым трубой хвостом, и опять моя злая спутница обозвала меня негодяем. Когда мы остановились у бензинного пункта, она выкарабкалась без единого слова и долго отсутствовала. Медленно, ласково, пожилой друг со сломанным носом обтёр мне переднее стекло — они это делают по-разному в каждом месте, употребляя целую гамму приспособлений, от замшевой тряпки до намыленной щётки: этот орудовал розовой губкой.

Наконец она появилась: «Слушай», — сказала она тем нейтральным тоном, от которого мне делалось так больно: «Дай мне несколько пятаков и гривенников. Я хочу позвонить маме в больницу. Как номер?»

«Садись в автомобиль», ответил я. «Ты не можешь звонить по этому номеру».

«Почему?»

«Влезай — и захлопни дверь».

Она влезла и захлопнула дверь. Старик-гаражист улыбнулся ей лучезарно. Мы вымахнули на дорогу.

«Почему я не могу позвонить маме, если хочу?»

«Потому», сказал я, «что твоя мать умерла».

33

В весёлом Лепингвиле я купил ей четыре книжки комиксов, коробку конфет, коробку гигиенических подушечек, две бутылки кока-колы, маникюрный набор, дорожные часы со светящимся циферблатом, колечко с настоящим топазом, теннисную ракету, роликовые коньки, приделанные к высоким белым сапожкам, бинокль, портативную радиолку, жевательной резины, прозрачный пластиковый макинтош, тёмные очки, много ещё носильных вещей — модных свитеров, штанишек, всяких летних платьев...

В тамошней гостинице у нас были отдельные комнаты, но посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти.

— Конец Первой Части —

Тогда-то, в августе 1947-го года, начались наши долгие странствия по Соединённым Штатам. Всем возможным привалам я очень скоро стал предпочитать так называемые «моторкорты», иначе «мотели» — чистые, ладные, укромные прибежища, состоящие из отдельных домиков или соединённых под одной крышей номеров, идеально подходящие для сна, пререканий, примирений и ненасытной незаконной любви. Сначала, из страха возбудить подозрения, я охотно платил за обе половины двойного номера, из которых каждая содержала двухспальную кровать. Недоумеваю, для какого это квартета — предназначалось вообще такое устройство, ибо только очень фарисейская пародия уединения достигалась тем, что не доходящая до потолка перегородка разделяла комнату на два сообщающихся любовных уголка. Постепенно, однако, я осмелел, подбодрённый странными возможностями, вытекающими из этой добросовестной совместности (можно было представить себе, например, две молодых четы, весело обменивающихся сожителем, или ребёнка, притворяющегося спящим, с целью подслушать те же звуковые эффекты, какими сопровождалось его собственное зачатие), и я уже преспокойно брал однокомнатную кабинку с кроватью и койкой или двумя постелями, райскую келью с жёлтыми шторами, спущенными до конца, дабы создать утреннюю иллюзию солнца и Венеции, когда на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь.

Мы узнали — nous sonn?mes, если воспользоваться флорберовской интонацией — коттеджи, под громадными шатобриановскими деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные, расположенные на том, что путеводитель, издаваемый американской автомобильной ассоциацией, называл «тенистыми», «просторными», «планированными» участками. Были домики избяного типа, из узловатой сосны, балки которых своим золотисто-коричневым глянецом напоминали Лолите кожу жареной курицы. Мы научились презирать простые кабинки из белёных досок, пропитанные слабым запахом нечистот или какой-либо другой мрачно-стыдливой вонью и не могшие похвастать ничем (кроме «удобных постелей»), неулыбающаяся хозяйка которых всегда была готова к тому, что её дар («...ну, я могу вам дать...») будет отвергнут.

Nous sonn?mes — (эта игра чертовски забавна!) их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия — все эти «Закаты», «Перекаты», «Чудодворы», «Красноборы», «Красногоры», «Просторы», «Зелёные Десятины», «Мотели-Мотыльки»... Иногда реклама прибегала к особой приманке, например: приглашаем детей, обожаем кошечек (ты приглашаешься, тебя обожают!). Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабжёнными бесконечным разнообразием прыщущих струй, с одной общей, определённо не Лаодикийской склонностью: они норовили при употреблении вдруг обдать либо зверским кипятком, либо оглушительным холодом в зависимости от того, какой кран, холодный или горячий, повернул в эту минуту купальщик в соседнем помещении, тем самым лишивший тебя необходимого элемента смеси, тщательно составленной тобою. На стенках в некоторых мотельных ваннах были инструкции, наклеенные над унитазом (на заднем баке которого были негигиенично навалены чистые ваннные полотенца), призывающие клиентов не бросать в него мусора, жестянок из-под пива, картонных сосудов из-под молока, выкидышей и прочее; в иных мотелях были особые объявления под стеклом, как например: «Местные Развлечения: Верховая Езда. На главной улице можно часто видеть верховых, возвращающихся с романтической прогулки при лунном свете...»; «...и будящих тебя в три часа утра», глумливо замечала неромантическая Лолита.

Nous sonn?mes разнородных мотельщиков — исправившегося преступника или неудачника-дельца, среди директоров, а среди директрис — полублагородную даму или бывшую бандершу. И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, кричали поезда, с душераздирающей и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле.

Мы избегали так называемых «ночлегов для туристов» (приходившихся сродни похоронным салонам), т. е. сдаваемых в частных домах, и в сугубо мещанском вкусе, без отдельной ванной, с претенциозными туалетными столиками в угнетающе бело-розовых спальнях, украшенных снимками хозяйских детей во всех стадиях развития. Изредка я уступал уговорам Лолиты, любившей «шик» и брал номер в «настоящей» гостинице. Она выбирала в путеводителе (пока я ласкал её в тёмном автомобиле, запаркованном среди тишины таинственной, томно-сумеречной, боковой дороги) какой-нибудь восторженно рекомендованный приозёрный «отель-замок», обещавший множество чудес — несколько, пожалуй, преувеличенных светом электрического фонарика, которым она ездила по странице — как-то: конгениальное общество, еда в любое время, ночные пикники — и

многое другое, что у меня в уме вызывало только мерзкие представления о зловонных гимназистах в майках и о чьей-то красной от костра щеке, лгнувшей к её щеке, пока бедный профессор Гумберт, обнимая только собственные костистые колени, прохладил геморрой на сыром газоне. Её также соблазняли те в колониальном стиле «инны», которые, кроме «элегантной атмосферы» и цельных окон, обещали «неограниченное количество упоительнейшей снеди». Заветные воспоминания о нарядном отцовском отеле иногда побуждали меня искать чего-нибудь подобного в диковинной стране, по которой мы путешествовали. Действительность меня скоро расхолодила; но Лолиточка всё продолжала нестись по следу пряных пищевых реклам, меж тем как я извлекал не одно только финансовое удовлетворение из таких придорожных вывесок, как: «Гостиница „Лесная Грѐза“! Дети моложе четырнадцати лет даром!» С другой же стороны, меня бросает в дрожь при одном воспоминании о том будто бы «высшего ранга» курорте в среднезападном штате, где гостиница объявляла, что допускает «налѣты на холодильник» для подкрепления посреди ночи, и где расистского пошиба дирекция, озадаченная моим акцентом, хотела непременно знать девичье имя и покойной моей жены и покойной моей матери. Там у меня взяли за два дня двести двадцать четыре доллара! А помнишь ли, помнишь, Миранда (как говорится в известной элегии) тот другой «ультрашикарный» вертеп с бесплатным утренним кофе и проточной ледяной водой для питья, где не принимали детей моложе шестнадцати лет (никаких Лолит, разумеется)? Немедленно по прибытии в один из более простеньких мотелей (обычных наших стоянок), она запускала жужжащий пропеллер электрического вентилятора или заставляла меня вложить четвертак в комнатную радиолу, или же принималась читать проспекты — и подвывающим тоном спрашивать, почему ей нельзя поехать верхом по объявленной в них горной дорожке или поплавать в местном бассейне с тёплой минеральной водой. Чаще же всего, слоняясь, скучая по усвоенной ею манере, Лолита разваливалась, невыносимо желанная, в пурпурном пружинистом кресле или в саду на зелёном шезлонге, или палубной штуке из полосатой парусины, с такой же подставкой для ног и балдахинном, или в качалке, или на любой садовой мебели под большим зонтом на террасе, и у меня уходили часы на улещивания, угрозы и обещания, покамест я мог уговорить её мне предоставить на несколько секунд свои пропитанные солнцем молодые прелести в надёжном укрытии пятидолларового номера перед тем, как дать ей предпринять всё то, что предпочитала она моему жалкому блаженству.

Сочетая в себе прямодушие и лукавость, грацию и вульгарность, серую хмурь и розовую прыть, Лолита, когда хотела, могла быть необыкновенно изводящей девчонкой. Я, признаться, не совсем был готов к её припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда, вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском, цинично-озорном духе. Её внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным: сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики и так далее — вот очевидные пункты в её списке любимых вещей. Один Бог знает, сколько пятаков скормил я роскошно освещённым изнутри музыкальным автоматам в каждом посещаемом нами ресторанчике! У меня в ушах всё ещё звучат гнусавые голоса всех этих невидимых исполнителей посвящённых ей серенад, всех этих Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пэгги, и Гай, и Рекс, с их модными романсиками, столь же на слух неразличимыми, как неразличимы были на мой вкус разноимённые сорта поглощаемых ею сладостей. С какой-то райской простодушностью она верила всем объявлениям и советам, появлявшимся в читаемых ею «Мире Экрана» и «Мираже Кинолюбви»: «Наш СУПР сушит прыщички» или «Вы, девушки, которые не заправляете концов рубашки в штаны, подумайте дважды, так как Джиль говорит, что та мода кончена!» Если вывеска придорожной лавки гласила: «Купите у нас подарки!» — мы просто должны были там побывать, должны были там закупить всяких дурацких индейских изделий, кукол, медных безделушек, кактусовых леденцов. Фраза «Сувениры и Новинки» прямо околдовывала её своим хореическим ритмом. Если какой-нибудь кафетерий объявлял «Ледяные Напитки», она механически реагировала на приглашение, даром что все напитки везде были ледяные. Это к ней обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась — безуспешно — обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайнса, автора гастрономического гида, сошёл на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом.

В те дни ни я, ни она ещё не додумались до системы денежных взяток, которым немного позже суждено было так пагубно отразиться на моих нервах и на её нравственности. Я полагался на другие приёмы для того, чтобы держать мою малолетнюю наложницу в покорном состоянии и сносном настроении. За несколько лет до того она провела дождливое лето под тусклым оком мисс Фален, в Вермонте, в полуразрушенном деревенском доме, некогда принадлежавшем корявому, как дуб, Джонатану Гейзу, родоначальнику семьи. Дом всё ещё стоял среди

густо поросшего канадским златотысячником поля, на опушке дремучего леса, в конце вечно размытой дороги, в двадцати милях от ближайшего сельца. Лолиточка хорошо запомнила это облезлое строение, одиночество, старое пастбище, превратившееся в болото, постоянный ветер, всё это разбухшее от сырости захоlustье; и отвращение своё она выражала особой гримасой в ходу у американских детей, при которой растягивается рот и утолщается полувысунутый язык. И вот там-то она будет со мной жить, угрожал я ей, в многомесячном и, может быть, многолетнем, заточении, учась у меня французскому и латыни, ежели не изменится её «теперешняя позиция». О Шарлотта, я начинал тебя понимать!

Простоватая моя девочка орала: «нет!» — и в безумном страхе хватала мою рулевую руку всякий раз, что я поворачивал автомобиль посередине шоссе, как бы намереваясь тут же её умчать в ту тёмную и безвыходную глушь. Чем дальше, однако, мы отъезжали на запад, тем отвлеченнее становилась угроза, и мне пришлось обратиться к новым методам убеждения.

С глубочайшим стоном стыда вспоминаю один из них, а именно вызывавшийся мной призрак исправительного заведения. У меня достало ума, с самого начала нашего сожительства, учесть, что мне необходимо заручиться её полным содействием для того, чтобы держать наши отношения в тайне; что это содействие должно стать для неё как бы второй природой, невзирая ни на какое озлобление против меня и ни на какие другие находимые ею утехи.

«Поди-ка сюда и поцелуй папашу», говорил я бывало. «Выйди из этого вздорного настроения! В своё время, когда я ещё был для тебя идеалом мужчины (читатель заметит, как я силился подделаться под Лолитин язык), ты обмирала, слушая пластинки первейшего специалиста по вздрогну-и-всхлипу, боготворимого твоими соотроковицами (Лолита: „моими что? Говори по-человечески“). Этот идол твоих товаров тебе казался похожим на таинственного Гумберта. Но теперь я попросту старый папаша — сказочный отец, оберегающий сказочную дочь».

«Ma chère Dolores![68] Я хочу тебя защитить, милая, от всех ужасов, которые случаются с маленькими девочками в угольных складах и глухих переулках, а также, *comme vous le savez trop bien, ma gentille*[69], в лесах, полных синих ягодок в синейшее время года. Что бы ни произошло, я останусь твоим опекуном и, если ты будешь вести себя хорошо, надеюсь, что в близком будущем суд узаконит моё опекунство. Забудем, однако, Долорес Гейз, так называемую судебную терминологию — терминологию, находящую рациональным определением: „развратное и любострастное сожительство“. Я вовсе не преступный сексуальный психопат, позволяющий себе непристойные вольности с ребёнком. Раствлением занимался Чарли Хольмс; я же занимаюсь растением, детским растением, требующим особого ухода: обрати внимание на тонкое различие между обоими терминами. Я твой папочка, Ло. Смотри, у меня тут есть учёная книжка о девочках. Смотри, моя крошка, что в ней говорится. Цитирую: „нормальная девочка“ — нормальная, заметь — „нормальная девочка обычно прилагает все усилия к тому, чтобы понравиться отцу. Она в нём чувствует предтечу желанного, неуловимого мужчины“ („неуловимого“ — хорошо сказано, клянусь тенью Полония!). Мудрая мать (а твоя бедная мать стала бы мудрой, если бы осталась в живых) поощряет общение между отцом и дочерью, ибо понимает (прости пошлый слог), что девочка выводит свою мечту об ухаживании и замужестве из общения с отцом. Но что именно хочет сказать эта бодрая книжка словом „общение“, какое такое „общение“ рекомендует она? Опять цитирую: „Среди сицилийцев половые сношения между отцом и дочерью принимаются, как нечто естественное, и на девочку, участвующую в этих сношениях, не глядит с порицанием социальный строй, к которому она принадлежит“. Я высоко уважаю сицилийцев, — это великолепные атлеты, великолепные музыканты, великолепные, честнейшие люди, Лолита, и великолепные любовники. Но обойдёмся без отступлений. Ещё на днях мы с тобой читали в газете какую-то белиберду о каком-то нарушителе нравственности, который признался, что преступил закон, проведённый Манном, и перевёз прехорошенькую девятилетнюю девочку из штата в штат с безнравственной целью — не знаю, что он под этим подразумевал. Долорес, душка моя! Тебе не девять, а скоро тринадцать, и я бы не советовал тебе видеть в себе маленькую белую рабыню, а, кроме того, я не могу одобрить этот самый Mann Act, хотя бы потому, что он поддаётся скверному каламбуру, если принять имя почтенного члена конгресса за эпитет „мужской“: так мстят боги семантики мещанам с туго застёгнутыми гульфиками. Я твой отец, и я говорю человеческим языком, и я люблю тебя.»

«И наконец, давай посмотрим, что получится, если ты, малолеточка, обвинённая в совращении взрослого под кровом добропорядочной гостиницы, обратилась бы в полицию с жалобой на то, что я тебя умыкнул и изнасиловал. Предположим, что тебе поверят. Малолетняя, позволившая совершеннолетнему познать её телесно, подвергает свою жертву обвинению в „формальном изнасиловании“ или в „содомском грехе второй степени“, в зависимости от метода; и максимальны за это кара — десять лет заключения. Итак, я сажусь в

тюрьму. Хорошо-с. Сажусь в тюрьму до 1957 года. Но что тогда происходит с тобой, моя сиротка? О, разумеется, твоё положение лучше моего. Ты попадаешь под опеку Департамента Общественного Призрения — что, конечно, звучит довольно уныло. Отличная суровая надзирательница, вроде мисс Фален, но менее уступчивая и непьющая, заберёт твой губной карандаш и наряды. Никаких больше гулянок! Не знаю, слыхала ли ты про законы, относящиеся к зависимым, заброшенным, неисправимым и преступным детям? Пока я буду томиться за решёткой, тебе, счастливому, заброшенному и так далее ребёнку, предложен будет выбор между несколькими обиталищами, в общем довольно между собой схожими; дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны, и получают олады на прогорклом сале по воскресеньям. Туда-то ты попадёшь, Лолита: моя Лолита, эта Лолита, покинет своего Катулла, чтобы жить там с другими свихнувшимися детьми. Попросту говоря, если нас с тобой поймут, тебя проанализируют и заинтернируют, котёнок мой, c'est tout[70]. Ты будешь жить, моя Лолита будет жить (поди сюда, мой коричневый розан) с тридцатью девятью другими дурочками в грязном дортуаре (нет, пожалуйста, позволь мне...), под надзором уродливых ведьм. Вот положение, вот выбор. Не находишь ли ты, что, при данных обстоятельствах, Долорес Гейз должна оставаться верной своему старому папану?»

Вдалбливая всё это, я успешно терроризировал Лолиточку, которая, невзирая на некоторую нахальную живость ухваток и внезапные проявления остроумия, была далеко не столь блестящей девчонкой, как можно было заключить по её «умственному коэффициенту», выработанному её наставниками. Но если мне удалось установить, как основу то, что и тайну и вину мы должны с ней делить, мне гораздо труднее было поддерживать в ней хорошее настроение. Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоявшей ей приманки — определённой цели во времени и пространстве — которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. Иначе, костяк её дня, лишённый формирующего и поддерживающего назначения, оседал и разваливался. Поставленная цель могла быть чем угодно — маяком в Виргинии, пещерой в Арканзасе, переделанной в кафе, коллекцией револьверов и скрипок где-нибудь в Оклахоме, точным воспроизведением Лурдского Грота в Луизиане, или убогими фотографиями времён процветания рудокопного дела, собранными в Колорадском музее — всё равно чем, но эта цель должна была стоять перед нами, как неподвижная звезда, даже если я и знал наперёд, что когда мы доберёмся до неё, Лолита притворится, что её сейчас вырвет от отвращения.

Пустив в ход географию Соединённых Штатов, я часами старался создать в угоду ей впечатление, что мы живём «полной жизнью», что катимся по направлению к некоему необыкновенному удовольствию. Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу сорока восьми штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные Шоссе; в упоённом молчании мы скользили по их чёрному, бальному лоску. Лолита не только была равнодушна к природе, но возмущённо сопротивлялась моим попыткам обратить её внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта, ценить который я сам научился только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути. Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды северо-американской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеёнки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребёнка зелёными деревенскими видами, запечатлёнными на них — матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьём, мутной белизной каких-то неясно цветущих плодовых садов и, пожалуй, ещё изгородью, сложенной из камней, или гуашевыми холмами. Постепенно, однако, встречаемые теперь прообразы этих элементарных аркадий становились всё страннее на глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними. За обработанной равниной, за игрушечными кровлями медлила поволока никому ненужной красоты там, где садилось солнце в платиновом мареве, и тёплый оттенок, напоминавший очищенный персик, расходился по верхнему краю плоского сизого облака, сливающегося с далёкой романтической дымкой. Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лоррэна были вписаны в отдалённейшую, туманнейшую лазурь, причём одна только их кучевая часть ясно вылеплялась на неопределённом и как бы обморочном фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями, и виднелся мельком фермер с затылком мумии, а за ним тянулись полоски ртутью блестящей воды между полосками резко-зелёной кукурузы, и всё это сочетание раскрывалось веером — где-то в Канзасе.

Там и сям, в просторе равнин, исполинские деревья подступали к нам, чтобы сбиться в подобострастные купы

при шоссе и снабдить обрывками гуманитарной тени пикниковые столы, которые стояли на бурой почве, испещрённой солнечными бликами, сплюснутыми картонными чашками, древесными криватками и выброшенными палочками от мороженого. Моя небрежливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными — её пленяли их надписи: «Парни» — «Девки», «Иван да Марья» «Он» и «Она», и даже «Адам» и «Ева»; и, пока она там пребывала, я терялся в поэтическом сне, созерцая добросовестную красочность бензиновых приспособлений, выделяющуюся на чудной зелени дубов, или какой-нибудь дальний холм, который выкарабкивался, покрытый рубцами, но всё ещё неприрученный, из дебрей агрикультуры, старавшихся им завладеть.

По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные и гигантские рождественские ёлки, поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика. И снова, на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселённого неба, и Лолита требовала прохладительного напитка; её щёки энергично вдавались внутрь, над соломинкой, и когда мы возвращались в машину, температура там была адская; перед нами дорога переливчато блестела; далеко впереди встречный автомобиль менял, как мираж, очерк в посверке, отражающем его, и как будто повисал на мгновение, по-старинному квадратный и лобастый, в мерцании зноя. И по мере того, как мы продвигались всё дальше на запад, появлялись в степи пучки полыни, «сейджбраш» (как назвал её гаражист) и мы видели загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курганы в кляксах можжевельника, и затем настоящая горная гряда, бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый, и вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов на мучимых ветром блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении (хвост налево, белые ресницы направо), противоречившем всем человеческим правилам дорожного движения.

Мой адвокат советует мне дать отчётливое и прямолинейное описание нашего маршрута, и теперь я, кажется, достиг точки, где не могу избежать сей докуки. Грубо говоря, в течение того сумасшедшего года (с августа 1947-го до августа 1948-го года) наш путь начался с разных извилин и завитков в Новой Англии; затем зазмеился в южном направлении, так и сяк, к океану и от океана; глубоко окунулся в сё qu'on appelle «Dixieland»[71]; не дошёл до Флориды (оттого что там были в это время Джон и Джоана Фарло); повернул на запад; зигзагами прошёл через хлопковые и кукурузные зоны (боюсь, милый Клэрэнс, что выходит не так уж ясно, но я ничего не записывал, и теперь для проверки памяти у меня остался в распоряжении только до ужаса изуродованный путеводитель в трёх томиках — сущий символ моего истерзанного прошлого); пересёк по двум разным перевалам Скалистые Горы; закрутился по южным пустыням, где мы зимовали; докатился до Тихого Океана; поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам; почти дошёл до канадской границы; и затем потянулся опять на восток, через солончаки, иссечённые яругами, через равнины в хлебах, назад к грандиозно развитому земледелию (где мы сделали крюк, чтобы миновать, несмотря на визгливые возражения Лолиточки, родной город Лолиточки, в кукурузно-угольно-свиноводческом районе); и, наконец, вернулся под крыло Востока, пунктирчиком кончившись в университетском городке Бердслей.

2

Просматривая следующие страницы, читатель должен считаться не только с общим маршрутом, намеченным выше, с его многочисленными побочными заездами, туристическими тупиками, вторичными кругами и прихотливыми отклонениями, но также с тем фактом, что, далеко не будучи беспечной *partie de plaisir*[72], наше путешествие представляло собой крутое, тугое, телеологическое изветвление, чья единственная *raison d'être*[73] (эти французские клише показательны) сводилась к тому, чтобы держать мою спутницу в приличном расположении духа от поцелуя до поцелуя.

Перелистываю мой потрёпанный путеводитель и смутно вижу опять тот парк Магнолий в южном штате, обошедшийся мне в четыре доллара, который, судя по объявлению, следовало посетить по трём причинам: раз — потому что Джон Галсворти (посредственный, давно окаменевший писатель) провозгласил этот парк прекраснейшим в мире; два — потому что Бэдекер в 1900-ом году его отметил звёздочкой; и три — потому что... о читатель, о мой читатель, угадай!.. потому что дети (и не была ли моя Лолита, чорт подери, дитятей?) «пройдут, полные благоговения, с сияющими от умиления глазами, через это предвкушение Рая, впивая красоту, могущую наложить отпечаток на всю их жизнь». «Не на мою», мрачно заметила Лолита и уселась на

скамейку с воскресным приложением двух газет на своих хорошеньких коленках.

Мы вновь и вновь прошли через всю гамму американских придорожных ресторанов, от простецкого «Ешь!» с его оленьей головой (помню тёмный след длинной слезы у внутреннего угла стеклянного глаза), будто бы «юмористическими» цветными открытками с задницами, немецкого «курортного» типа, бумажками оплаченных счётов, посаженными на кол, леденцами в виде лилипутовых спасательных кругов, чёрными очками на продажу, рекламно-небесными видениями разных родов мороженого по стенам, половиной шоколадного торта под стеклом и несколькими отвратительно опытными мухами, извилисто и быстро ползущими по липкой сахарной сыпалке на мерзком прилавке; и до самого верхнего разряда, до дорогого кабарэ с притушенным светом, уморительно жалким столовым бельём, нелепыми официантами (бывшими каторжниками или подрабатывающими студентами), гневной спиной киноактрисы, соболиными бровями её хахаля, да оркестром, состоящим из стилиг с саксофонами.

Нами были осмотрены многие достопримечательности (слоновое слово!): величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере, где три юго-восточных штата празднуют географическую встречу (плата за осмотр в зависимости от возраста: с мужчин — один доллар; с едва опушившихся девочек — шестьдесят центов); гранитный обелиск в память баталии под Блю-Ликс, с древними костями и индейскими горшками в музее по соседству (гривенник с Лолиточки — очень недорого); вполне современная изба, смело подделывающаяся под былую избу, где родился Линкольн; скала с металлической доской в память автора стихотворения «Деревья» (мы заехали тут в Тополёвый Дол, Северная Каролина, куда ведёт дорога, которую мой добрый, терпимый, обычно столь сдержанный гид, гневно называет «весьма узкой и запущенной»), под чем я, хоть и не будучи поклонником поэта Кильмера, готов подписаться). С борта нанятой моторной лодки, которой управлял пожилой, но всё ещё отталкивающе красивый русский белогвардеец и даже, говорили, барон (у моей дурочки сразу вспотели ладошки), знавший в бытность свою в Калифорнии любезного Максимовича и его Валерию, нам было дано разглядеть недоступную Колонию Миллионеров на острове в некотором расстоянии от берега штата Георгии. Далее, мы осмотрели: собрание европейских отельных открыток в миссиссипийском музее, посвящённом коллекционерским причудам, где с горячим приливом гордости я выискал цветную фотографию отцовской «Мираны», её полосатые маркизы, её флаг, развевающийся над ретушированными пальмами. «Ну и что?» рассеянно отозвалась Лолита, а сама искоса поглядывала на бронзово-загорелого хозяина дорогой машины, следовавшего за нами в этот «музей причуд». Реликвии хлопковой эры. Лес в Арканзасе, и на её смуглом плече розово-лиловое вздутьё (работа комара или мухи), которое я сжал между длинными ногтями первых пальцев, чтобы выдавить из него чудный прозрачный яд, а потом долго высасывал, пока не насытился вдоволь её пряной кровью. Улица Бурбона (в городе Новый Орлеан), где тротуары, по словам путеводителя, могут (интересная возможность) служить подмостком для негрят, которые нет-нет (интересный слог) да и спляшут чечётку за несколько пенни (вот весело!), между тем как его многочисленные маленькие интимные ночные кабачки битком набиты посетителями (ишь, шалуны!). Образцы пограничного фольклора. Усадьбы времён до гражданской войны с железными балконами и ручной работы лестницами — теми лестницами, по которым в роскошном цветном кино актрисочка с солнцем обласканными плечами сбегает, подобрав обеими ручками — преградиозно — перёд юбки с воланами (а на верхней площадке преданная, непременно чернокожая, служанка качает головой). Меннингерский Институт, психиатрическая клиника (посещённая чисто из лихости). Участок глинистой почвы в изумительном узоре эрозии, а вокруг цветы юкки, такие чистые, восковые, но отвратительно кишашие какой-то белой молью. Индепенденс, Миссури, где начинался в старину Орегонский Путь; и Абилин, Канзас, где происходят состязания ковбоев под эгидой какого-то «Дикого Биля». Отдалённые горы. Близкие горы. Ещё горы: синеватые красавицы, недосыгаемые или вечно превращающиеся, одна за другой, в обитаемые холмы; горы восточных штатов — неудачницы, в рассуждении Альп, недоростки; западные колоссы, пронзающие сердце и небо: их серые в снеговых жилах, непреклонные вершины, внезапно появляющиеся при повороте шоссе; заросшие лесом громады, под тёмной черепицей аккуратно заходящих одна за другую ёлок, местами прерванной дымчато-бледным осинником; горные формации розовой и лиловой окраски; фараонические, фаллические, «чересчур допотопные» (по выражению блазированной Ло); сопки из чёрной лавы; апрельские горы с шёрсткой по хребту, вроде как у слонёнка; горы сентябрьские, сидящие сидья, с тяжёлыми египетскими членами, сложенными под опаданиями изношенного жёлтого бархата; белёсые выцветшие горы в зелёных круглых пятнах дубов; одна последняя ярко-рыжая гора с пышным синим ковром люцерны у подножия.

Ещё и ещё достопримечательности. Малое Айсберговое Озеро, где-то в Колорадо: сугробы вдоль асфальта, подушечки крохотных альпийских цветочков и снежный склон, по которому Ло, в красной кепке с козырьком,

пыталась съехать и распищалась, и попала под обстрел каких-то мальчишек, запустивших в неё снежками, и отвечала той же серебряной монетой. Скелеты обгорелых осин, группы остроконечных синих соцветий. Разные аттракционы, живописные дороги в горах, сотни живописных дорог в горах, тысячи Медвежьих Затонов, Шипучих Источников, Крашенных Каньонов. Техас: засухой поражённая равнина. Зал Хрусталей в длиннейшей в мире пещере, вход для детей моложе двенадцати лет свободен (за Лолиту уже плати!). Коллекция домодельных статуэток, оставленная городу местной скульпторшей: закрыто по понедельникам ужаснейший понедельник, пыль, ветер, сушь. Парк Непорочного Зачатья, в городке на мексиканской границе, через которую я не смел переехать. Там и в других садах, множество сумеречных существ вроде сереньких колибри, пытающихся как бы хоботком венчики неясных цветов. Шекспир, вымерший город в Новой Мексике, где семьдесят лет тому назад бандит «Русский Билль» был повешен со всякими красочными подробностями. Рыборазводная станция. Соты жилищ в отвесной скале. Мумия девочки (индейской современницы флорентийской Беатрисочки). Адский Каньон — двадцатый по счёту. Наше пятидесятое преддверие какого-то парадиза, по словам путеводителя, обложка которого к этому времени пропала. Сиеста под ёлками. Клещ у меня в паху. Всегда те же трое стариков, в шляпах и подтяжках, прохладжающихся летним вечерком на скамье у городского фонтана. Туманно-голубая бездна за перилами на горном перевале и спины семьи, наслаждающейся видом (меж тем как Лолита — горячо, радостно, дико, напряжённо, с надеждой, без всякой надежды — шептала: «Смотри, это Мак-Кристал с семьёй, пожалуйста, я прошу тебя поговорим с ними — поговорим с ними», читатель! — пожалуйста, я сделаю всё, что ты хочешь, ах, пожалуйста...). Индейские ритуальные танцы, чисто коммерческого сорта. ART, не «искусство» по английски, а «Американская Рефрижераторская Транзитная» фирма. Очевидная Аризона, индейские поселения, туземные иероглифы, след динозавра в песчаном ущелье — отпечатанный там тридцать миллионов лет тому назад, когда я был ребёнком. Худошавый, сажённого роста, бледный юнец с подвижным кадыком, пожирающий глазами Лолиту и её оранжево-коричневый животик между лифчиком и трусиками (который я поцеловал пять минут спустя, мой бедный друг). Зима в пустыне, весна в предгорье, цветущий миндаль. Рино — скучнейший город в Неваде, с ночной жизнью «космополиткой и хорошо развитой» (гид). Винный завод в Калифорнии, с церковью, построенной в виде бочки. Долина Смерти. Замок Скотти. Сомнительные произведения искусства, собиравшиеся неким Роджерсом в течение многих лет. Уродливые виллы красивых киноактрис. След ноги английского писателя Р. Л. Стивенсона на потухшем вулкане. Миссия Долорес: славное заглавие для романа. Фестоны, вырезанные в песчанике океанским прибором. Человек, бьющийся в бурном эпилептическом припадке на голой земле, в штатном парке Русской Теснины. Синее, синее Кратерное Озеро. Рыборазводная станция в штате Идаго и тамошняя каторжная тюрьма. Угрюмый Еллоустон Парк и его цветные горячие источники, малютки-гейзеры, булькающие радужные грязи (символы моей страсти). Стадо антилоп в заповеднике. Наша сотая пещера — со взрослых доллар, с Лолиты полтинник. Замок, построенный французским маркизом в Северной Дакоте. Дворец Кукурузы в Южной Дакоте; и гигантские головы президентов, вырубленные в граните реюющей вершины. Придорожные плакаты с рекламными стишками бритвенного крема: «Наши строки прочла бородастая Ната, и теперь она стала женою магната». Зоологический парк в Индиане с большой компанией обезьян, обитающей на бетонной реконструкции флагманской каравеллы Христофора Колумба. Миллиарды дохлых, рыбой пахнущих эфемерид на стекле каждого ресторанного окна вдоль песчаного, скучного озёрного берега. Жирные чайки на больших камнях — увиденные с парома «Сити оф Шебойган», чей бурый, мохнатый дым склонялся дугой над зелёной тенью, отбрасываемой им же на голубую поверхность озера. Вонючий мотель с нагнетательной трубой вентилятора, проходившей под городской канализацией. Дом Линкольна, в большей своей части фальсификация, с настольными книгами и мебелью соответствующего периода, набожно принимаемыми за его личное имущество рядовыми посетителями.

Между нами происходили скандалы, большие и маленькие. Самые крупные произошли в следующих местах: Ажурные Коттеджи, Виргиния; Парковый Проспект, Литль Рок, возле школы; Мильнеровский Перевал, на высоте 10 759 футов, в Колорадо; угол Седьмой Улицы и Центрального Проспекта, в городе Феникс; Третья Улица в Лос Анжелосе (из-за того, что билеты на посещение какой-то киносъёмки оказались распроданными); мотель «Тополёвая Тень», Юта, где шесть молодых деревьев были ростом не выше Лолиты и где она, ? rporos de rien[74], спросила меня, сколько ещё времени я собираюсь останавливаться с нею в душных домиках, занимаясь гадостями и никогда не живя как нормальные люди. Северный Проспект в Бэрксе, Орегон, угол Западной Вашингтонской улицы, против гастрономического магазина; какой-то городишко в Солнечной Долине, Идаго, перед кирпичной гостиницей с приятно перемежающимися бледно-розовыми и румяными кирпичами и с тополем напротив, чья струистая тень играла по памятной доске местного Списка Падших. Полынная пустошь



между Пайндэлем и Фарсоном. Где-то в Небраске, Главная улица (близ Первого Национального Банка, основанного в 1839 году), с каким-то железнодорожным переездом в пролёте улицы, а за ним — белыми органическими трубами силоса. И Мак-Евенскы улица, угол Уитонского проспекта, в мичиганском городе, носящем его, его имя.

Нам стал знаком странный человеческий придорожник, «Гитчгайкер», Номо pollex учёных, ждущий, чтобы его подобрала попутная машина, и его многие подвиды и разновидности: скромный солдатик, одетый с игопочки, спокойно стоящий, спокойно сознающий прогонную выгоду защитного цвета формы; школьник, желающий проехать два квартала; убийца, желающий проехать две тысячи миль; таинственный, нервный, пожилой господин, с новеньким чемоданом и подстриженными усиками; тройка оптимистических мексиканцев; студент, выставляющий на показ следы каникулярной чёрной работы столь же гордо, как имя знаменитого университета, вытканное спереди на его фуфайке; безнадежная дама в непоправимо испортившемся автомобиле; бескровные, чеканно очерченные лица, глянцевитые волосы и бегающие глаза молодых негодяев в крикливых одеждах, энергично, чуть ли не приапически выставляющих напряжённый большой палец, чтобы соблазнить одинокую женщину или сумрачного коммивояжёра, страдающего прихотливым извращением.

«Ах, подберём непременно!» часто умоляла Лолита, потирая друг о дружку, ей одной свойственным движением, голые колени, когда какой-нибудь особенно отталкивающий экземпляр Номо pollex, мужчина моих лет и столь же широкий в плечах, с face ? claques[75] безработного актёра, шёл, оборотясь к нам и пятясь, прямо перед нашим автомобилем.

О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой млеющей Лолитой! Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо-томное свечение, приводившее гаражистов, отельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракоттовых идиотов у синькой крашенных бассейнов в состояние припадочной похотливости, которая бы льстила моему самолюбию, если бы не обостряла так мою ревность; ибо маленькая Лолита отдавала себе полный отчёт в этом своём жарком свечении, и я не раз ловил её, coulant un regard[76] по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла, с мускулистой золотисто-коричневой обнажённой по локоть Рукой в браслетке часов, и не успевал я отойти (чтобы купить этой же Лолите сладкую сосульку), как уже она и красавец механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт.

Когда, во время наших более длительных привалов, я оставался, бывало, в постели, отдыхая после особенно пламенной утренней деятельности, и по доброте душевной (насытившийся, снисходительный Гум!) разрешал ей выйти в сад полюбоваться на розы или даже перейти через улицу и посетить детскую библиотеку в обществе мотельной соседки, некрасивой маленькой Мэри, и восьмилетнего её братишки, Лолита возвращалась с часовым опозданием: босоногая Мэри плелась далеко позади, а вместо братишки было двое верзил-старшеклассников, золотоволосых гнусов, состоявших из мускулов и гонореи. Читатель может легко представить себе, что я отвечал баловнице, когда она — довольно неуверенно, надобно признать — спрашивала меня, может ли она пойти с представленными мне Карлом и Фредом на роликовый каток.

Помню, как в другом месте, в первый раз, в пыльный, ветряный день, я действительно позволил ей покататься на роликах. Она имела жестокость заметить мне, что ей не будет никакого удовольствия, если я тоже пойду, так как в выбранный ею час ринг специально предназначается для молодёжи. После долгого спора мы выработали компромисс: я остался сидеть в автомобиле, остановившись среди других (пустых) машин, поставленных носом к роликовому катку на вольном воздухе; я мог видеть, как под его парусиновым шатром около пятидесяти подростков, многие парами, бесконечно катились по кругу под автоматическую музыку, и ветер серебрил деревья. Моя Долли была в синих ковбойских штанах и белых сапожках, как большинство девочек на катке. Я считал обороты ровно гремящей толпы — и вдруг хватился её. Когда она опять проехала, то была в сопровождении трёх фертов, разговор которых я подслушал несколько минут тому назад: стоя вне ринга, они обсуждали катавшихся девочек — и измывались над прелестной, долголягой красоточкой, явившейся в красных трусиках вместо длинных штанов.

Автомобилиста при въезде в Аризону и Калифорнию спрашивают, не ввозит ли он фруктов или растительных продуктов, и на этих пунктах, бывало, инспектор так пристально всматривался в нас, что бедное моё сердце давало перебой. «А мёду не везёте?» интересовался он, и моя медовая дурочка покатывалась со смеху. До сих пор вибрирует у меня вдоль оптического нерва образ Лолиты, едущей верхом, — звено в цепи платного тура по выючным тропам: она тряслась шагом, за дряхлой наездницей и перед красношеим хлыщем-ранчором, а позади него ехал я и глядел на его жирный торс в цветистой рубашке ещё более злобно, чем глядит автомобилист на

медленный грузовик, поднимающийся перед ним по горной дороге. А не то, в лыжном курорте, я видел её, уплывавшую от меня, небесную, отрешённую, на эфирном подъёмном стуле, всё выше и выше, по направлению к сверкающей вершине, где дожидались её смеющиеся, голые по пояс атлеты.

В каком бы городе мы ни останавливались, я первым делом осведомлялся, с присущей европейцу учтивостью, о местонахождении публичных бассейнов для плавания, музеев, местных школ, о числе детей в ближайшей школе и так далее; и в час отбытия школьного автобуса, улыбаясь и слегка подёргиваясь (я обнаружил этот нервный свой тик оттого, что жестокая Лолита первая передразнила его), я останавливался в стратегическом пункте, с моей беглой гимназисткой, сидевшей рядом со мной в машине, и наблюдал за тем, как девочки выходят из школы — картина всегда прелестная. Эти остановки стали вскоре надоедать моей нетерпеливой Лолите, и лишённая, как это случается с детьми, всякого сочувствия к маленьким чужим прихотям, она грубой бранью осыпала меня за требование, чтобы она меня ласкала, пока синеглазые брюнеточки в синих трусиках, рыженькие в зелёных курточках без рукавов, и мальчишеского вида дымчатые блондиночки в полинявших бумажных штанах проходили мимо в сиянии солнца.

Делая некоторую уступку и её капризам, я широко поддерживал всюду и всегда совместное её купание с другими девочками. Она обожала сверкающие бассейны и была очень ловкой ныряльщицей. Я же, в комфортабельном халате, садился в пёструю четырёхчасовую тень после собственного скромного погружения в воду, и вот блаженствовал, с фиктивной книгой, или мешочком конфет, или с тем и с другим, или ни с чем, кроме тайно горящих желез, глядя, как она резвится, в резиновом чепчике, вся бисерная от влаги, ровно загорелая, радостная, как на каникульной рекламе, в своих тесных атласных плавках и сборчатом лифчике. Двенадцатилетняя зазноба! Как самодовольно дивился я тому, что она — моя, моя, моя, как нежно я пересматривал наш недавний полдневный сеанс под стоны диких голубей и планировал следующий, предвечерний, и я шурился в стрельчатых лучах и сравнивал мою Лолиту с другими нимфетками, которых скуповатый случай собирал вокруг неё для моего антологического услаждения и разбора; и нынче, положив руку этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платье возбудил во мне более острое влечение, чем она, или если и возбудил, так только в двух-трёх исключительных случаях, при особом свете, при особой смеси ароматов в воздухе — однажды (случай безнадежный) бледная испанская девочка, дочка аристократа с тяжёлой челюстью, а другой раз — *mais je divague*[77].

Разумеется, мне приходилось быть всегда начеку, ибо я, проницательный ревнивец, отчётливо понимал ВСЮ опасность этих ослепительных игр. Стоило мне отвернуться — отойти, например, несколько шагов, чтобы посмотреть, кончили ли убирать кашу хижину — как уже, по возвращении, я заставал внезапную перемену. Лолиточка, *les yeux perdus*[78], окуная и полоща длиннопалые ножки в воде, сидела развалясь на каменном краю бассейна, меж тем как с каждой стороны от неё полулежал *un brun adolescent*[79], которого русая её красота и ртуть в младенческих складочках живота несомненно — думал я, о Бодлер! — заставят *se tordre*[80] в повторных снах в течение многих ночей...

Я попробовал научить её играть в теннис, дабы иметь с нею больше общих забав; но хотя я в своё время отлично играл, учителем я оказался прескверным; поэтому, в Калифорнии, я настоял, чтобы она взяла некоторое число дорогих уроков у знаменитого бывшего чемпиона, долговязого, морщинистого старика с целым гаремом мячиковых мальчиков. Вне площадки он казался ужасной развалиной, но иногда во время урока, когда для продления обмена, он позволял себе удар, чистый, как кактусовый цветок, и со струнным звоном возвращал мяч ученице, эта божественная смесь нежной точности и державной мощи напоминала мне, что тридцать лет тому назад, в Канн, я видел, как именно он в пух разбил великого Гобера! До того, как она стала заниматься с ним, я думал, что она никогда не научится играть. На какой-нибудь отельной площадке я, бывало, тренировал мою бездарную девочку, — и передо мной возникали те далёкие дни, когда при сильном горячем ветре, в вихре пыли, в тумане странной усталости, я давал мяч за мячом весёлой, невинной, изящной Аннабелле (блеск браслетки, плисированная юбочка, чёрная бархатка вокруг лба). Каждое моё слово, каждый настойчивый совет только усугубляли угрюмую злобу Лолиты. Странно сказать, нашим упражнениям она предпочитала — по крайней мере, до приезда в Калифорнию — бесформенный перешлёп (и бесконечные поиски мячей) с тоненькой, слабенькой, но удивительно хорошенькой — в стиле *ange gauche*[81] — сверстницей. В качестве зрителя, всегда готового оказать помощь, я подходил к этой чужой девочке и вдыхал её лёгкий мускусный запах, пока трогал её голую руку и держал её за кисть с выдающейся косточкой или перемещал туда-сюда напором ладони её прохладную ногу, чтобы добиться лучшей постановки для удара слева. Тем временем Ло, нагнувшись вперёд, с солнечно-русскими волосами, падающими через лицо, вбивала ракету, как трость калеки, в землю и испускала страшный крик отвращения, вызванного моим вмешательством. Я оставлял их в покое и,

сидя в стороне, с шёлковым шарфом вокруг шеи, продолжал на них смотреть и сравнивать их телодвижения. Было это в южной Аризоне, кажется, где зимние дни с ленцой, с тёплым исподом. Неуклюжая Лолиточка промахивалась и ругалась или попадала примитивной подачей в сетку и в отчаянии поднимала к небу ракету, показывая влажный, блестящий молодой пух под мышкой, между тем как её ещё более нелепая и не менее прелестная партнёрша прилежно кидалась на каждый мяч и всё всегда мазала; но обе они развлекались необычайно и ясными, звенящими голосами, не переставая, вели точный счёт в этой своей бессмысленной игре. Помню, я как-то предложил достать им холодных напитков: поднялся по гравием посыпанной тропинке и вернулся, неся два высоких стакана ананасного сока, с газированной водой и янтарным льдом. Вдруг я почувствовал пустоту в груди и остановился: девочек не было на площадке. Я наклонился, чтобы поставить стаканы на скамью — и почему-то с какой-то ледяной ясностью увидел лицо только что убитой Шарлотты. Я огляделся, и мне показалось, что мелькнула фигура Лолиты в белых трусиках, удалявшаяся сквозь пятнистую тень по садовой дорожке в сопровождении высокого мужчины, который нёс две ракеты. Я ринулся за ними, но когда я стал пробиваться с треском через кустарник, то увидел, в вариантном поле зрения (как если бы линия жизни то и дело раздваивалась), мою Лолиту в длинных штанах и её подругу в трусиках, шагающих взад и вперёд по плевелистой полянке и хлещущих ракетами по кустам в беспорядочных поисках последнего потерянного мяча.

Перебирать эти светлые мелочи побуждает меня главным образом желание доказать моим судьям, что я прямо из сил выбивался, чтобы доставить моей Лолите всевозможные удовольствия. Как восхитительно было видеть её, ребёнка, показывающей другому ребёнку одно из немногих своих достижений, например, особый способ прыгать со скакалкой! Меньшая нимфетка, прозрачно-бледная красotka с незагорелыми лопатками, держа правой рукой кисть левой за спиной, смотрела во все глаза — как смотрело и павлиное солнце, лежавшее на гравии под цветущими деревьями, посреди моего многоочитого рая — смотрела, как моя веснушчатая и вульгарная егоза подпрыгивала, повторяя движения стольких других играющих девочек, видом которых я так упивался на испещрённых солнцем, обильно политых, свежее пахнувших тротуарах и паркетах древней Европы. Немного погодя, она возвращала скакалку своей маленькой испанской подруге и в свою очередь смотрела, наблюдая за повторением урока, иногда отводя волосы со лба, или складывая на груди руки и наступая носком судной ноги на подъём другой, или легко опустив руки на свои ещё мальчишеские бёдра, и я шёл проверить, кончили ли наконец проклятые мотельные горничные убирать наш коттедж; убедившись в этом, я на прощание ласково кивал застенчивой, черноволосой девочке — пажу моей принцессы — и, отеческим жестом глубоко запустив пальцы под кудри Лолиточки, а затем нежно, но крепко обхватив её за шею, вёл мою артачившуюся детку в наш укромный домик для быстрого сопряжения перед обедом.

«Чья это кошка так расцарапала вас, бедного?» восклицала спелая, мясистая, красивая женщина — отталкивающего для меня типа, из тех, которым я всегда особенно нравился, — обращаясь ко мне за табль-д'отом в «большом доме» во время обеда, после которого должны были начаться обещанные Лолите танцы. Вот почему я старался держаться подальше от людей, между тем как Лолита, напротив, делала всё возможное, чтобы вовлечь в свою орбиту наибольшее число потенциальных свидетелей.

Она, образно говоря, виляла хвостиком — и даже всем своим маленьким задом, как это делают сучки — когда, бывало, к нам подсыпался ослабившийся незнакомец и заводил бодрый разговор, исходя из сравнения географических данных на номерных знаках наших машин: «Далеко же вы заехали!» Любопытные родители, желая выключать из Лолиты что-нибудь обо мне, предлагали ей пойти с их детьми в кино, но я всегда за неё отказывался. Мы с ней несколько раз едва не попались. Каскады клозетов преследовали меня, конечно, во всех наших караван-сараях; но я никогда не представлял себе, до чего тонки эти вафельные перегородки в мотелях «соединённого» типа, покуда, как-то вечером, после слишком громких с моей стороны стонов наслаждения, мужское покашливание за стеной заполнило паузу столь же отчётливо, как если бы я сам прочистил горло; а на другое утро, пока я пил утреннее кофе в молочном баре (Лолита всегда спала поздно и любила, чтобы я ей приносил кувшинчик горячего кофе в постель), мой давешний сосед, пожилой дурак в безрамных очках на длинном добродетельном носу и с профессионально-союзным значком в петлице, изловчился преспокойно втянуть меня в беседу, в течение которой поинтересовался, не встаёт ли моя «супружница» столь же неохотно, как и его, когда не находится дома на ферме; и если бы не душило меня сознание чудовищной опасности, я бы извлёк много удовольствия из странного, удивлённого выражения, появившегося на его тонкогубом обветренном лице, когда я лаконично ответил, сползая с высокого табурета, что «я, слава Богу, вдов».

Как сладостно было приносить ей это кофе — и не давать его ей, покуда она не исполнит своей утренней

обязанности! Каким я был вдумчивым другом, каким страстным отцом, каким внимательным педиатром, обслуживавшим все телесные нужды моей полубрюнеточки! Упрекаю природу только в одном — в том, что я не мог, как хотелось бы, вывернуть мою Лолиту наизнанку и приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду лёгких, чете милостивых почек! В особенно тропические дни, в липкой духоте коттеджа, мне нравилось прохладное ощущение кожаного сиденья кресла под моей массивной наготой. Я держал её у себя на коленях. Она сидела, как обыкновеннейший ребёнок, ковыряя в носу, вся поглощённая лёгким чтением в приложении к газете, столь же равнодушная к проявлению моего блаженства, как если бы это был случайный предмет, на который она села — башмак, например, или кукла, или рукоятка ракеты — и который она не вынимала из-под себя просто по лени. Глазами она прослеживала приключения своих любимых персонажей на страничке юмора (среди них была хорошо нарисованная неряха-девчонка в белых носочках, скуластенькая и угловатая, которой я сам не прочь был бы насладиться). Любила изучать подробности на Фотографиях фатальных автомобильных столкновений. Никогда не сомневалась в реальности места, времени и обстоятельств, будто бы относившихся к рекламным снимкам голоногих красавиц. И до странности увлекалась портретами провинциальных невест, некоторые из которых были в полном венчальном облачении, с букетами в руках и очками на носу.

На неё садилась муха и прогуливалась в окрестностях её пупочка или принималась исследовать нежные, бледные венчики сосцов. Она пыталась поймать её в кулак (Шарлоттин способ) и затем обращалась к отделу «Посмотрим, насколько вы сообразительны».

«Посмотрим, насколько вы сообразительны. Думаете ли вы, что было бы меньше преступлений против нравственности, если бы девочки придерживались некоторых правил. Не играли бы поблизости общественных уборных. Не принимали бы ни сладостей от чужих, ни предложения „прокатиться“. Записывали бы номер автомобиля, подобравшего их...»

«...и фабричную марку сладостей», подсказал я.

Она продолжала, отодвигая щёку от моей наступавшей щеки (и это был, заметь, ещё лёгкий день, о мой читатель!)

«Если нет у тебя карандаша, но ты уже умеешь читать...»

«Мы», вставил я шутливо, «средневековые мореходы, положили в эту бутылку...»

«Если», повторила она, «у тебя нет карандаша, но если ты уже умеешь читать и писать — вот что он хочет сказать, понимаешь теперь, балда? — то попробуй нацарапать номер на земле при дороге...»

«...своими коготками, Лолита».

3

Она вошла в мою страну, в лиловую и чёрную Гумбрию, с неосторожным любопытством; она оглядела её с пренебрежительно-неприязненной усмешкой; и теперь мне казалось, что она была готова отвергнуть её с самым обыкновенным отвращением. Никогда не вибрировала она под моими перстами, и визгливый окрик («что ты, собственно говоря, делаешь?») был мне единственной наградой за все старания её растормошить. Чудесному миру, предлагаемому ей, моя дурочка предпочитала пошлейший фильм, приторнейший сироп. Подумать только, что выбирая между сосиской и Гумбертом — она неизменно и беспощадно брала в рот первое. Не помню, упомянул ли я название бара, где я завтракал, в предыдущей главке? Он назывался так: «Ледяная Королева». Улыбаясь не без грусти, я сказал Лолите: «А ты — моя ледяная принцесса». Она не поняла этой жалкой шуточки.

О, не хмурься, читатель! Я вовсе не стремлюсь создать впечатление, что мне не давалось счастье. Милый читатель должен понять, что странник, обладающий нимфеткой, очарованный и порабощённый ею, находится как бы за пределом счастья! Ибо нет на земле второго такого блаженства, как блаженство нежить нимфетку. Оно «вне конкурса», это блаженство, оно принадлежит к другому классу, к другому порядку чувств. Да, мы ссорились, да, она бывала прегадкой, да, она чинила мне всякие препятствия, но невзирая на её гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадёжность, я всё-таки жил на самой глубине избранного мной рая — рая, небеса которого рдели как адское пламя, — но всё-таки, рая.

Иной опытный психиатр, который сейчас изучает мой труд — и которого д-р Гумберт успел погрузить, надеюсь, в состояние кроличьего гипноза — несомненно очень хотел бы, чтобы рассказчик повёз свою Лолиту на берег моря и там бы нашёл по крайней мере «гратификацию» давнего позыва, а именно избавление от «подсознательного» наваждения незавершённого детского романа с изначальной маленькой мисс Ли.

Что ж, товарищ доктор, позвольте вам сказать, что я действительно искал пляжа, хотя должен вдобавок признаться, что к тому времени, как мы добрались до этого миража серой воды, моя спутница уже подарила мне столько усад, что мечта о «Приморском Королевстве», о «Сублимированной Ривьере» и тому подобном давно перестала быть глубинным порывом и свелась к рассудочной погоне за чисто теоретическим переживанием. Эдгаровы ангелы это знали — и устроили дело соответствующим образом. Посещение вполне убедительного лукоморья на Атлантической стороне оказалось вконец испорченным скверной погодой: тяжёлое, промозглое небо, илистые волны, присутствие необъятного, хоть и вполне заурядного тумана — что могло дальше отстоять от чётких чар, от лазоревой обстановки и ручных обстоятельств моего средиземноморского приключения?

Два-три полутропических пляжа на Мексиканском Заливе были достаточно солнечны, но усыпаны ядовитыми, звездистыми или студенистыми тварями, и обдуваемы ураганным ветром. Наконец, на калифорнийском побережье, против призрака Тихого Океана, я нашёл особый род уединения в пещере, до которой доносились, с отрезка пляжа за гнилыми деревьями, вопли нескольких девочек-скаутов, купавшихся впервые при сильном прибое; но туман нависал как мокрое одеяло, песок был неприятно зернистый и клейкий, и Лолита вся покрылась гусиной кожей и зёрнами песка, и (единственный раз в жизни!) я имел к ней не больше влечения, чем к ламантину. Однако мои учёные читатели, может быть, воспрянут духом, когда я объясню им, что, даже ежели бы мы набрали где-нибудь на отзывчивый к нам морской бережок, было бы поздно, ибо моё настоящее «освобождение» пришло гораздо раньше: в тот миг, именно, когда Аннабелла Гейз, она же Долорес Ли, она же Лолита, явилась мне, смугло-золотая, на коленях, со взглядом, направленным вверх, на той убогой веранде, в фиктивной, нечестной, но отменно удачной приморской комбинации (хотя ничего не было по соседству, кроме второсортного озера).

На этом закончу перечень особых ощущений, зависевших, если не происходивших, от постулатов современной психиатрии. Посему я отказался и заставил Лолиту отказаться от пляжей, которые только наводили уныние, если были пустыни, или слишком были населены, если их обливало солнце. С другой же стороны, меня ещё преследовали воспоминания о моих безнадёжных скитаниях в городских парках Европы, а потому я не переставал интересоваться возможностью любовных игр под открытым небом и искать подходящих мест на том «лоне природы», где я некогда претерпел столько постыдных лишений. Судьба и тут мне перечила.

Разочарования, которые я теперь хочу зарегистрировать (тихонько отклоняя мою повесть в сторону тех беспрестанных рисков и страхов, которые сопровождали моё счастье), никак не должны бросать тень на американскую глушь — лирическую, эпическую, трагическую, но никогда не похожую на Аркадию. Она прекрасна, душераздирающе прекрасна, эта глушь, и ей свойственна какая-то большеглазая, никем не воспетая, невинная покорность, которой уже нет у лаковых, крашенных, игрушечных швейцарских деревень и вдоволь прославленных Альп. Бесчисленные любовники лежали в обнимку, целуясь, на ровном газоне горных склонов Старого Света, на пружинистом, как дорогой матрац, мху, около удобного для пользования, гигиенического ручейка, на грубых скамьях под украшенными вензелями дубами и в столь многих Лачугах под сенью столь многих буковых лесов. Но в американской глуши любитель вольного воздуха не найдёт таких удобных возможностей предаться самому древнему из преступлений и забав. Ядовитые растения ожгут ягодицы его возлюбленной, безымённые насекомые в зад ужалят его; острые частицы лесного ковра уколут его в коленища, насекомые ужалят её в колени; и всюду кругом будет стоять непрерывный шорох потенциальных змей — что говорю, полувымерших драконов! — между тем как похожие на крохотных крабов семена хищных цветов прилепляются, в виде мерзкой изумрудной корки, равно и к чёрному носку на подвязке, и к белому неподтянутому носочку.

Немного преувеличиваю. Как-то в летний полдень, чуть ниже границы распространения леса, где небесного оттенка соцветия (я бы их назвал шпорником) толпились вдоль журчащего горного потока, мы наконец нашли, Лолита и я, уединённое романтическое место, приблизительно в ста футах над перевалом, где мы оставили автомобиль. Склон казался неисхоженным. Последняя запыхавшаяся сосна остановилась для заслуженной передышки на скале, до которой долезла. Сурок свистнул, увидя нас, и исчез. Я разложил плед для Лолиты. Под ним тихо потрескивала травяная сушь. Киприда пришла и ушла. Зазубренная скала, венчавшая верхний скат, и заросль кустарника ниже нашего ложа как будто должны были нас защитить и от солнца и от человека. Увы, я не учёл присутствия слабо отмеченной боковой тропинки, подловато вилявшей между кустами и камнями неподалёку от нас. Вот тогда-то мы едва не попались; немудрёно, что этот случай навсегда излечил меня от тоски по буколке.

Помнится, операция была кончена, совсем кончена, и она всхлипывала у меня в объятиях — благотворная буря рыданий после одного из тех припадков капризного уныния, которые так участились за этот в общем

восхитительный год. Я только что взял обратно какое-то глупое обещание, которое она вынудила у меня, пользуясь слепым нетерпением мужской страсти, и вот она теперь раскинулась на пледе, обливаясь слезами и щипля мою ласковую руку, а я радостно смеялся, и отвратный, неопиcуемый, невыносимый и — как я подозреваю — вечный ужас, который я ныне познал, был тогда лишь чёрной точечкой в сиянии моего счастья; и вот так мы лежали, когда я испытал одну из тех встрясок, которые в конце концов выбили моё бедное сердце из колеи, ибо я вдруг встретился с тёмными, немигающими глазами двух странных и прекрасных детей, фавненка и нимфетки — близнецов, судя по их совершенно одинаковым плоским чёрным волосам и бескровным личикам. Они припали к земле, уставившись на нас, и синева их одинаковых костюмчиков сливалась с синевой горных цветов. Отчаянным движением я подхватил плед, чтобы им прикрыться, — и одновременно нечто, похожее на пушбол в белых горошинках, начало поворачиваться в кустах около нас, превращаясь постепенно в разгибавшуюся спину толстой стриженной брюнетки, которая машинально прибавила ещё одну дикую лилию к своему букету, оглядываясь на нас через головы своих очаровательных, из синего камня вырезанных детей. Ныне, когда у меня на совести совсем другая беда, я знаю, что я смелый человек, но в те дни мне это было невдомёк, и я помню, что удивился собственному хладнокровию. Прошептав одно из тех сдержанных приказаний, которые, несмотря на ужас положения, даёшь растерянноскорчившемуся животному — (какой безумной надеждой или ненавистью трепещут бока молодого зверя, какие чёрные звёзды разрываются в сердце у дрессировщика!), я заставил Лолиту встать, и мы важно удалились, а потом с неприличной поспешностью сползли к дороге, где остался автомобиль.

За ним стояла щегольская машина семейного образца, и красивый ассириец с сине-чёрной бородкой, un monsieur tr?s bien[82], в шёлковой рубашке и багровых штанах, по всей видимости муж ботанизовавшей толстухи, с серьёзной миной снимал фотографию надписи, сообщавшей высоту перевала. Она значительно превышала 10 000 футов, и я задыхался. С хрустом песка и с заносом мы тронулись, причём Лолита всё ещё доодевалась, беспорядочно возясь и ругая меня такими словами, какие, по-моему, девочкам не полагается знать, а подавно употреблять.

Случались и другие неприятности. Раз в кино, например. В то время Лолита ещё питала к нему истинную страсть (которая сократилась потом до вялой снисходительности, когда она опять стала ходить в гимназию). Мы просмотрели за один год, с неразборчивым упоением, около ста пятидесяти или даже двухсот программ, причём иногда нам приходилось видеть ту же хронику по несколько раз, оттого что различные главные картины сопровождалась одним и тем же выпуском киножурнала, тянувшимся за нами из городка в городок. Больше всего она любила следующие сорта фильмов, в таком порядке: музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. Во-первых, настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались не настоящие сценические карьеры в какой-то — в сущности «гореупорной» — сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны, и в которых седовласый, умилённый, в техническом смысле бессмертный отец, сначала неодобрительно относившийся к артистической карьере сумасбродной дочери, неизменно кончал тем, что горячо аплодировал ей на премьере в дивном театре. Мир гангстеров был особенный: там героические репортёры подвергались страшным пыткам, телефонные счета доходили до миллиардов долларов и, в мужественной атмосфере неумелой стрельбы, злодеи преследовались через сточные трубы и пакгаузы патологически-бесстрашными полицейскими (мне было суждено доставить им меньше хлопот). Были, наконец, фильмы «дикого запада» — терракотовый пейзаж, краснолицые, голубоглазые ковбои, чопорная, но прехорошенькая учительница, только что прибывшая в Гремучее Ущелье, конь, вставший на дыбы, стихийная паника скота, ствол револьвера, пробивающий со звоном оконное стекло, невероятная кулачная драка, — во время которой грохается гора пыльной старомодной мебели, столы употребляются, как оружие, сальто спасает героя, рука злодея, прижатая героем к земле, всё ещё старается нащупать обронённый охотничий нож, дерущиеся крикают, отчётливо трахает кулак по подбородку, нога ударяет в брюхо, герой, нырнув, наваливается на злодея; и тотчас после того, как человек перенёс такое количество мук, что от них бы слёг сам Геракл (мне ли не знать этого ныне!), ничего не видать, кроме довольно привлекательного кровоподтёка на бронзовой скуле разогревшегося героя, который обнимает красавицу-невесту на дальней границе цивилизации. Мне вспоминается дневное представление в маленьком затхлом кинематографе, битком набитом детьми и пропитанном горячим душком кинолакомства — жареных кукурузных зёрен. Выходила жёлтая луна над мурлыкающим гитаристом в нашейном платке; он поставил ногу на сосновое бревно и пощипывал струны, и я — совершенно невинно — закинул руку за плечо Лолиты и щекой приблизился к её виску, как вдруг — две ведьмы за нами стали бормотать престранные вещи — не знаю, правильно ли я понял, но то, что я наполовину расслышал, заставило меня снять с неё мою ласковую руку, и, конечно, остальная часть фильма прошла для

меня в тумане.

Тут мне приходится сделать странное признание. Вы будете смеяться — но если сказать всю правду, мне как-то никогда не удалось в точности выяснить юридическую сторону положения. Не знаю его до сих пор. О, разумеется, кое-какие случайные сведения до меня дошли. Алабама запрещает опекуну менять местожительство подопечного ребёнка без разрешения суда; Миннесота, которой низко кланяюсь, предусматривает, что если родственник принимает на себя защиту и опеку дитяти, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, авторитет суда не пускается в ход. Вопрос: может ли отчим обаятельной до спазмы в груди, едва опушившейся душеньки, отчим всего с одномосячным стажем, невзрачный-вдовец с небольшим, но самостоятельным доходом в настоящем, и с парапетами Европы, разводом и сидением в нескольких сумасшедших домах в прошлом, может ли он считаться родственником и, следовательно, естественным опекуном? И если нет, должен ли я, смею ли я, оставаясь в пределах разумного, уведомить какой-нибудь отдел Общественного Призрения и подать прошение (как это собственно подают прошение?) и допустить, чтобы представитель суда расследовал быт кроткого, но скользкого Гумберта и опасной Долорес Гейз? Из многочисленных книг о браке, растлении и удочерении, в которые я, таясь, заглядывал в публичных библиотеках больших и малых городов, я ничего не вычитал, кроме тёмных намёков на то, что государство — верховный опекун девочек в нежнейшем возрасте. Пильвен и Запель, если правильно я запомнил их имена, авторы внушительного труда о брачных законах, совершенно игнорировали отчимов с сиротками, оставшимися у них на руках и коленях. Лучший мой друг, выпущенная ведомством социального обеспечения монография (Чикаго, 1936 г.), которую ни в чём не повинная старая дева выкопала для меня с большим трудом из пыльных глубин библиотечного склада, утверждала следующее: «Не существует такого правила, чтобы всякий несовершеннолетний должен был иметь опекуна; роль суда пассивная, и он только тогда приходит в действие, когда положение ребёнка явно становится угрожающим». Я пришёл к заключению, что человек назначается опекуном только после того, что он выразит торжественное и формальное желание сделаться оным; но целые месяцы могут пройти, пока его вызовут на слушание его дела и позволят ему отрастить пару сизых крыл, приличных его чину, а между тем прекрасное демонское дитя законом предоставляется самому себе, что в сущности и относится к Долорес Гейз. Затем слушается дело. Два-три вопроса со стороны судьи, два-три успокоительных ответа со стороны адвоката, улыбки, кивок, морозящий дождик на дворе, — и утверждение в должности сделано. И всё-таки я не дерзал. Не соваться, быть мышью, лежать, свернувшись в норе! Суд начинал развивать судорожную деятельность только тогда, когда впутывался денежный вопрос: два корыстных опекуна, обокраденная сирота, третий — ещё более зубастый — участник... Но в данном случае всё было в совершенном порядке, давно сделан был инвентарь, и небольшое материнское наследство ждало в полной неприкосновенности совершеннолетия Долорес Гейз. Благоразумнейшим курсом, казалось, было воздержание от подачи прошения. Да, но не вмешается ли какая-нибудь организация, вроде Человеколюбивого Общества, если буду держаться слишком тихо?

Дружески настроенный Фарло, который был чем-то вроде судебного ходатая и мог бы, вероятно, дать солидный совет, слишком был занят раковым заболеванием жены, чтобы сделать больше того, что обещал, а именно — продолжать заботиться о тощем имуществе Шарлотты, куда я не оправлюсь, весьма постепенно, от потрясения, произведённого на меня её смертью. Я твёрдо внушил ему, что Долорес — моя незаконная дочь, и поэтому не мог ожидать, чтобы он вчуже интересовался положением. Как читатель успел, вероятно, смекнуть, делец я никудышный; но, конечно, ни лень, ни незнание не должны бы были помешать мне искать профессиональной подмоги на стороне. Останавливало меня ужасное чувство, что, коли стану приставать к судьбе и стараться обосновать и осмыслить её баснословный подарок, этот подарок будет вдруг отнят у меня, как тот чертог на вершине горы в восточной сказке, который исчезал, лишь только тот или иной покупатель спрашивал сторожа, отчего это издали так ясно виднеется полоска закатного неба между чёрной скалой и фундаментом.

Я подумал, что в Бердслее (где находится Бердслейский Женский Университет) я наверное отыщу те справочники, с которыми мне ещё не удалось ознакомиться, как например, трактат Вернера «Об американском законе опекунства» или некоторые брошюры, издаваемые Детским Бюро. Я решил, кроме того, что для Лолиты всё будет лучше, чем деморализирующее безделье, в котором она пребывала. Мне удавалось заставить её оказать мне столько сладких услуг — их перечень привёл бы в величайшее изумление педагога-теоретика; но ни угрозами, ни мольбами я не мог убедить её прочитать что-либо иное, чем так называемые «книжки комиксов» или рассказы в журнальчиках для американского прекрасного пола. Любая литература рангом чуть выше отзывалась для неё гимназией, и хотя она была не прочь когда-нибудь попробовать Сказки Шехерезады или «Маленькие Женщины», она категорически отказывалась тратить «каникулы» на такие серьёзные, учёные книги.

Мне теперь думается, что было большой ошибкой вернуться на восток и отдать её в частную гимназию в Бердслее, вместо того чтобы каким-нибудь образом перебраться через мексиканскую границу, благо было так близко, и притаиться годика на два в субтропическом парадизе, после чего я мог бы преспокойно жениться на маленькой моей креолке; ибо, признаюсь, смотря по состоянию моих гланд и ганглий, я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому — от мысли, что около 1950-го года мне придётся тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чьё волшебное нимфетство к тому времени испарится, — к мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалёком будущем заставить её произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту Вторую, которой было бы восемь или девять лет в 1960-ом году, когда я ещё был бы *dans la force de l'âge*[83]; больше скажу — у подозрительной трубы моего ума или безумия, хватало силы различить в отдалении лет *un vieillard encore vert*[84] (или это зелёнькое — просто гниль?), странноватого, нежного, слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в «искусстве быть дедом», воспетом Виктором Гюго.

В дни этого нашего дикого странствования, не сомневаюсь, что как отец Лолиты Первой я был до смешного неудовлетворительным. Впрочем, я очень старался. Я читал и перечитывал книжку с ненамеренно библейским заглавием «Познай свою дочь», достав её в том же магазине, где я купил Лолите, в её тринадцатый день рождения, роскошное, как говорится в коммерции, издание, с «красивыми» иллюстрациями, «Русалочки» Андерсена. Но даже в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денёк (причём Лолитин взгляд всё перелетал от окна к её наручным часикам и опять к окну), или хорошо и сытно обедали в битком набитом «дайнере» (оседлом подобии вагона-ресторана), или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся, кровью обрызганную машину и на женский башмачок в канаве (слышу, как Лолита говорит, когда опять трогаемся в путь: «Вот это был точно тот тип спортивных туфель, который я вчера так тщетно описывала кретину-прикащику!») — во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она — дочерью. Может быть, думал я, эта на бегство похожая перемена мест так пагубно влияет на нашу способность мимикрии? Может быть, постоянное местожительство и рутина школьной жизни внесут некоторое улучшение?

В выборе Бердслея я руководился не только тем, что там была сравнительно приличного тона женская гимназия, но и тем, что там находился известный женский университет. Мне хотелось быть *cas*?[85], хотелось прикрепиться к какой-нибудь пёстрой поверхности, с которой бы незаметно слились мои арестантские полосы. Вот мне и вспомнился хорошо знакомый мне профессор французской литературы в Бердслейском университете: добряк употреблял в классах мной составленные учебники и даже пригласил меня однажды приехать прочесть лекцию. Лекторство в женском университете никак не могло меня соблазнить, конечно, ибо я (как было уже раз отмечено на страницах сей исповеди) мало знаю внешностей гаже, чем тяжёлые отвислые зады, толстые икры и прыщавые лбы большинства студентов (может быть, я в них вижу гробницы из огрубевшей женской плоти, в которых заживо похоронены мои нимфетки!); но я тосковал по ярлыку, жизненному фону, личине, и как вскоре расскажу, существовала ещё особая и довольно причудливая причина, почему общество милого Гастона Годэна могло бы мне послужить исключительно верной защитой.

Был, наконец, вопрос денег. Мой доход не выдерживал трат, причиняемых нашей увеселительной поездкой. Я, правда, старался выбирать хижины подешевле; но то и дело бюджет наш трещал от стоянок в шумных отелях-люкс или претенциозных «дудках» (псевдоранчо для фатов). Потрясающие суммы уходили также на осмотр достопримечательностей и на Лолитин гардероб, да и старый Гейзовский рыдван, хотя был жилистой и весьма преданной машиной, постоянно нуждался в более или менее дорогом ремонте. В одной из книжечек маршрутных карт блокнотного типа, случайно уцелевшей среди бумаг, которыми власти милостиво разрешили мне пользоваться для этих записок, я нашёл кое-какие набросанные мною выкладки, из которых следует, что за экстравагантный 1947—48 год, от одного августа до другого, кров и стол стоили нам около 5 500 долларов, а бензин, масло и починки — 1 234; почти столько же ушло на разные дополнительные расходы, так что за сто пятьдесят дней действительной езды (мы покрыли около 27 000 миль!), да приблизительно двести дней промежуточных стоянок, скромный рантье Гумберт потратил 8 000 долларов или, скажем, даже 10 000, ибо я по непрактичности своей забыл, верно, немало статей.

И вот мы двинулись опять на восток: я, скорее опустошённый, чем окрылённый торжеством страсти, она, пышущая здоровьем, с расстоянием между подвздошными косточками всё ещё не больше, чем у мальчика, хотя рост у неё увеличился на два вершка, а вес на восемь американских фунтов. Мы побывали всюду. Мы, в общем, ничего не видали. И сегодня я ловлю себя на мысли, что наше длинное путешествие всего лишь осквернило извилистой полосой слизи прекрасную, доверчивую, мечтательную, огромную страну, которая задним числом



свелась к коллекции потрёпанных карт, разваливающихся путеводителей, старых шин и к её всхлипыванию ночью — каждой, каждой ночью, — как только я притворялся, что сплю.

4

Когда сквозь гирлянды теней и света мы подкатали к номеру 14 по улице Тэера, нас встретил серьёзный маленький мальчик с ключами и запиской от Гастона, снявшего для нас этот дом. Моя Лолита, не удостоив ни единым взглядом свою новую обитель, слепо включила радио, к которому инстинкт тотчас привёл её, и повалилась на диван в гостиной с пачкой старых иллюстрированных журналов, которую с той же незрячей точностью она раздобыла, запустив руку в нижнюю анатомию диванного столика.

Мне в сущности всё равно было, где жить, при условии, чтобы можно было где-нибудь запереть Лолиту; но, вероятно, в течение переписки с неопределённо выразившимся Гастоном я неопределённо вообразил кирпичную, плющом обвитую виллу. На самом же деле новое наше жилище походило удручающим образом на Гейзовский дом (до которого было всего лишь четыреста миль): такая же скучная постройка из серых досок с гонтовой крышей и тусклозелеными маркизами; и комнаты, хоть были меньше и обставлены в более строго плюшево-тарелочном стиле, представляли сходное расположение. Мой кабинет, однако, оказался неожиданно просторным помещением, выложенным с пола до потолка этак двумя тысячами книг по химии — наука, которую преподавал в Бердслейском университете мой уехавший на год домохозяин.

Я понадеялся было, что Бердслейская женская гимназия, дорогая школа для приходящих учениц, с полдненным завтраком и эффектным гимнастическим залом, не только пестует все эти молодые тела, но также даёт некоторую основную пищу молодым умам. Гастон Годэн, который редко бывал прав в своих суждениях об американском быте, предупредил меня, что школа, должно быть, одна из тех, где, по его выражению (как иностранца его тянуло к таким фразам), «учат правилам не столько грамматическим, сколько ароматическим». Боюсь, что даже этого она не достигала.

При первом моём свидании с начальницей, мисс Пратт, она выразила одобрение по поводу «милых голубых глазок» моей дочки (это у Лолиты-то голубые глазки!) и моей дружбы с «нашим гениальным французом» (это Гастон-то — гений!), а затем, передав Долли некоей мисс Корморант, она наморщила лоб, как бы собираясь с мыслями и после паузы начала так:

«Мы не особенно стремимся, мистер Гумбард, к тому, чтобы наши ученицы становились книжными червями или умели отбарабанить названия всех европейских столиц — которых всё равно никто не знает, — или там знали бы наизусть годы забытых сражений. Что нас действительно интересует, это — приспособление ребёнка к жизни группы. Вот почему мы придаём такое значение танцам, дебатам, любительским спектаклям и встречаем с мальчиками. Перед нами встают некоторые факты. Ваша прелестная Долли скоро вступит в возрастную группу, где такие термины, как „кавалеры“, „выходить с кавалером“, „выходное платье“ и тому подобное, будут так же важны для неё, как для вас, скажем, „коммерческие дела“, „коммерческие связи“, „коммерческий успех“, а для меня (тут она фальшиво улыбнулась) — благополучие моих учениц. Доротея Гумбард уже вовлечена в целую систему социальной жизни, которая состоит — нравится ли это нам или нет — из сосисочных киосков, молочных баров, солодовых и коковых напитков, кинокартин, танцулек, ночных пикников на пляже и даже парикмахерских вечеринок, на которых девочки друг дружку причёсывают!

Разумеется, Бердслейская гимназия относится отрицательно к некоторым из этих интересов, а иные из них мы отводим на другие, более конструктивные рельсы. Мы всегда стараемся повернуться спиной к туману, а лицом — прямо к солнцу! Короче говоря, хотя мы и пользуемся некоторыми методами формального образования, нас больше занимает коммуникация, чем композиция, т. е. как бы мы ни уважали Шекспира и других, мы хотим, чтобы наши девочки свободно общались с живым миром вокруг них вместо того, чтобы углубляться в заплесневелые фолианты. Правда, мы всё ещё продвигаемся ощупью, но делаем мы это рационально, как гинеколог, прощупывающий опухоль. Мы на всё смотрим, доктор Гумбург, с органической и организационной точки зрения. Мы отделились от целой массы никчёмных предметов, которые по традиции некогда предлагались девицам на изучение, не оставляя времени для практических сведений и прикладных искусств, и всех тех сведений, которые им понадобятся, когда они станут устраивать свою жизнь и — как циник мог бы добавить — жизнь мужа. Мистер Гумберсон, позвольте мне это выразить так: знать точное положение планеты несомненно важно, но знать, где наиболее целесообразное место на кухне для холодильника, может быть, ещё важнее для будущей молодой хозяйки. Вы говорите, что всё что вы хотите, чтобы девочка получила от школы, это — хорошее образование. Но как вы понимаете понятие — „образование“? В прежние дни это было

преимущественно словесным явлением; иначе говоря, вы могли бы заставить ребёнка зазубрить хорошую энциклопедию, и он знал бы, пожалуй, больше, чем школа может дать. Доктор Гуммер, отдаёте ли вы себе отчёт в том, что для современного подростка какой-нибудь средневековый поход представляет меньше жизненной ценности, чем поход (она чуть не подмигнула) в кафетерию с молодым человеком? Это я повторяю шутку, которую на днях позволила себе наша психоаналитичка. Мы живём не только в мире идей, но в мире вещей. Слова без практического опыта не имеют смысла. Что, собственно говоря, может значить для Доротеи Гуммерсон какая-нибудь Греция или Ближний Восток с их гаремами и рабынями?»

Эта программа меня сперва несколько смутила; но я посоветовался с двумя умными дамами, в прошлом связанными с школой, и они уверили меня, что девочки там много и основательно читают и что весь этот вздор насчёт «коммуникации» — просто рекламная шумиха, имеющая целью придать старомодной Бердслейской гимназии полезный в финансовом смысле «модерный» оттенок, хотя на самом деле она осталась столь же чопорной, как чепец.

Другое, что мне понравилось в этой именно школе, рассмешит, пожалуй, некоторых моих читателей; но для меня оно представлялось очень важным, ибо уже так я устроен. Дело в том, что через улицу, как раз против нашего дома, я заметил брешь между зданиями — сорную пустошь с ярко-окрашенными кустами, кучу кирпичей, несколько в беспорядке лежащих досок и лилово-палевую пену убогих осенних цветов; через эту брешь можно было разглядеть в мреющей дали отрезок Школьной улицы, идущей параллельно нашей, Тэеровской, а за этим отрезком — школьную площадку для игр. Помимо психологического утешения от смежности Доллиного дня с моим, доставляемого мне этой комбинацией, я сразу предугадал удовольствие, которое получу, рассматривая с постели в моём кабинете, при помощи мощного бинокля, статистически неизбежный процент нимфеток среди девочек, играющих вокруг Долли во время большой перемены. К сожалению, в первый же школьный день явились рабочие и построили забор поперёк пустоши, после чего очень скоро за забором выросло сооружение из жёлтого дерева, которое наглухо закрыло мою волшебную брешь. Когда же они нагромодили достаточно материала, чтобы мне напортить, эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появились опять.

5

На Тэеровской улице — одной из лучших неторговых улиц, под зелёными, рыжими, золотыми древесными шатрами маститого университетского городка — неизбежно было, чтобы завелись личности, встречающие вас учтивым лаем метеорологических приветствий. Я гордился точной температурой моих отношений с ними: ни малейшей грубости, но полная отчуждённость. Мой сосед на запад от меня, который мог быть дельцом или профессором, или тем и другим, заговаривал со мной, бывало, пока он брил газон или поливал автомобиль, или, несколько позднее, размораживал проезд к крыльцу (наплевать, если все эти глаголы не подходят), но моё отрывистое буркание, будучи лишь в такой мере членораздельным, что звучало как трафаретное согласие или вопросительное заполнение паузы, мешало какому-либо развитию фамильярных отношений. Из двух домов по сторонам недолговечной пустоши напротив нас один был заколочен, а в другом жили две профессорши английской словесности, твидовая, коротко-волосая мисс Лестер и блекло-женственная мисс Фабиан: их единственной темой во время наших кратких тротуарных бесед были (я благословлял их так!) юная прелесть моей дочери и «наивный шарм» Гастона Годэна. Соседка моя с восточной стороны была значительно опаснее всех. Эта банальная проныра вышла прямо из фарса. Её покойный брат был когда-то «причастен к университету» — в качестве старшего сторожа. Помню, как она раз остановила Долли на улице, пока я стоял у окна в гостиной, лихорадочно ожидая возвращения из школы моей голубки. Омерзительная старая дева, пытаясь скрыть болезненное любопытство под маской приторного доброхотства, опиралась на свой тощий, как трость, зонтик (крупя только что прекратилась, бочком выскользнуло холодное, мокрое солнце), а Долли, в расстёгнутом, несмотря на гнилую стужу, коричневом пальто, стояла, прижимая к животу двухэтажную постройку из нескольких книг на бюваре (так у них было в моде носить учебники); её розовые колени виднелись между краем юбки и неуклюжими голенищами длинных резиновых сапог, и придурковатая, растерянная улыбочка то появлялась, то погнала на её курносом лице, которое — может быть вследствие бледного зимнего света — казалось почти некрасивым, вроде как у простенькой немецкой M?gdelein[86]; и вот так она стояла и старалась справиться с вопросами мисс Восток: «А где твоя мама, милая? А чем занимается твой бедный отец? А где вы жили раньше?» Другой раз эта гнусная тварь ко мне подошла на углу с приветственным подвыванием, — но мне удалось избежать разговора; а несколько дней спустя от неё пришла записка в конверте

с тёмно-синим ободком: тонко мешая патоку с ядом, она предлагала Долли прийти к ней как-нибудь в воскресенье «свернуться в кресле и перебрать кипу чудных книг, которые покойная мать подарила мне в детстве, вместо того чтобы включать радио на полную громкость каждую ночь до Бог знает какого часа». Большую осторожность я также должен был соблюдать с госпожой Гулиган, уборщицей и прескверной кухаркой, которую я унаследовал вместе с пылесосом от предыдущих жильцов. Долли получала дневной завтрак в школе, так что тут затруднений не было; брекфаст же, весьма обильный, я научился готовить для неё сам, а вечером подогревал обед, который Гулиганша стряпала перед уходом. У этой доброжелательной и безвредной женщины был, слава Богу, довольно мутный глаз, не замечавший подробностей; я делал постели и в этом стал большим экспертом, но всё же никогда не мог отвязаться от чувства, что где-нибудь остался роковой след; а в редких случаях, когда присутствие Гулиганши совпадало с Лолитиным, я всё опасался, что моя простодушная девочка подпадёт под уютные чары отзывчивой бабы и что-нибудь выболтает на кухне. Мне часто мнилось, что мы живём в освещённом насквозь стеклянном доме и что ежеминутно тонкогубое пергаментное лицо соседки может заглянуть сквозь случайно не завешенное окно, чтобы даром посмотреть вещи, за один взгляд на которые самый пресытившийся voyeur[87] заплатил бы небольшое состояние.

б

Два слова о Гастоне Годэне. Его общество было для меня приятно — или, по крайней мере, не тягостно — из-за флюидов совершенной безопасности, которые, идя от его широкой фигуры, обвевали со всех сторон мою тайну. Это не значит, что он о ней догадывался: у меня не было особых причин открыться ему, а он был слишком эгоцентричен и рассеян, чтобы подметить или почуять что-либо, могущее повести к откровенному вопросу с его стороны и столь же откровенному ответу с моей. Он хорошо отзывался обо мне в разговорах с другими бердслейцами, он был моим добрым глашатаем. Если бы он узнал *mes go?ts*[88] и статус Лолиты, это его бы заинтересовало только, поскольку оно могло бы бросить некоторый свет на простоту моего отношения к нему самому, отношения, лишённого как учтивой натянутости, так и всякого намёка на распущенность; ибо, невзирая на его бесцветный ум и туманную память, он может быть, сознавал, что о нём мне известно больше, чем бюргерам Бердслея. Это был пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк, суживавшийся кверху, где он заканчивался парой узких плеч неодинаковой вышины и грушевидной головой с гладким зачёсом на одной стороне и лишь остатками чёрных плоских волос на другой. Нижняя же часть его тела была огромная, и он передвигался на феноменально толстых ногах забавной походкой осторожного слона. Он всегда носил чёрное — даже чёрный галстук; он редко принимал ванну; его английская речь была сплошным бурлеском. Однако все его считали сверхобаятельным, обаятельно-оригинальным человеком! Соседи нянчились с ним; он знал по имени всех маленьких мальчиков в своём квартале (жил за несколько улочек от меня) и нанимал их чистить тротуар перед его домом, сжигать опавшие листья в заднем дворе, носить дрова к нему в сарайчик и даже исполнять некоторые простые обязанности в доме; он их кормил французскими шоколадными конфетами с «настоящим» ликёром внутри, в уединённом серальчике, который он себе завёл в подвале, развесив всякие занятые кинжалы и пистолеты по заплесневелым, но украшенным коврами стенам промеж закамуфлированных водопроводных труб. На чердаке у него было «ателье»: наш милый шарлатан немножко занимался живописью. Он покрыл косую стенку мансарды большими фотографиями задумчивого Андрэ Жида, Чайковского, Нормана Дугласа, двух других известных английских писателей, Нижинского (многолялого и всего обвитого фиговыми листьями), Гарольда Эксэкса (мечтательно-левого профессора в среднезападном колледже) и Марселя Пруста. Все эти бедняки были готовы, казалось, вот-вот соскользнуть со своей наклонной плоскости. Кроме того, у него был альбом с моментальными снимками всех маленьких Джимов и Джеков околodka, и когда я, бывало, перелистывая его, говорил что-нибудь любезное, Гастон надувал свои и так толстые губы и цедил с сентиментальной ужимкой: «*Oui, ils sont gentils*».[89] Его карие глаза блуждали при этом по разнообразным более или менее художественным безделушкам в мастерской, вмещавшей и собственные его жалкие полотна (примитивно-условно написанные глаза, срезанные гитары, синие сосцы, геометрические узоры — словом, всё «современное»), и, неопределённо жестикуюлируя по направлению какого-нибудь предмета, расписной деревянной салатницы или вазы в прожилках, он говорил: «*Prenez donc une de ces poires. La bonne dame d'en face m'en offre plus que je n'en peux savourer*».[90] Или: «*Mississe Taille Lore vient de me donner ces dahlias, belles fleurs que j'ex?cte*»[91] — (всё это — сумрачно, грустно, с налётом мировой тоски...)

По очевидным причинам я предпочитал его жилищу моё, когда мы с ним встречались, чтобы играть в шахматы два или три раза в неделю. Смахивая на старого подбитого идола, он сидел, положив на колени пухлые руки, и

так смотрел на доску, как будто это был труп. Минут десять он, посапывая, думал — и затем сделал проигрышный ход. А не то симпатия, после ещё более длительного раздумья, произносил: «Au roi!»[92] с замедленным гавканием старого пса, кончавшимся звуком какого-то полоскания, от чего его брыла тряслись, как студень; и затем он поднимал треугольные брови с глубоким вздохом, ибо я ему указывал, что он стоит сам под шахом.

Порой, с того места, где мы сидели в холодном моём кабинете, я мог слышать, как босоногая Лолита упражняется в балетной технике на голом полу гостиной, под нами; но у Гастона способности восприятия приятно тупели от игры, и до его сознания не доходили эти босые ритмы — и-раз, и-два, и-раз, и-два, вес тела смещается на выпрямленную правую ногу, нога вверх и в сторону, и-раз, и-два — и только, когда она начинала прыгать, раскидывая ноги на вершине скачка или сгибая одну ногу и вытягивая другую, и летя, и падая на носки, — только тогда мой пасмурный, землисто-бледный, величавый противник принимался тереть голову или щёку, словно путая эти отдалённые стуки с ужасными ударами, наносимыми ему тараном моего грозного ферзя. Порой же Лола моя слоняющейся походкой врывалась к нам, пока мы размышляли над доской, — и для меня было всегда большим удовольствием видеть, как Гастон, не отрывая слонового глазка от своих фигур, церемонно вставал, чтобы пожать ей руку, и тотчас отпускал её вялые пальчики, и потом, так и не взглянув на неё ни разу, опускался опять; чтобы свалиться в ловушку, которую я ему приготовил. Однажды, около Рождества, после того что я его не видел недели две, он спросил меня: «Et toutes vos fillettes, elles vont bien?»[93] — откуда мне стало ясно, что он умножил мою единственную Лолиту на число костюмных категорий, мельком замеченных его потупленным мрачным взглядом в течение целого ряда её появлений, то в узких синих штанах, то в юбке, то в трусиках, то в стёганом халатике, то в пижаме.

Весьма нехотя я так долго вожусь с бедным Гастоном (грустно подумать, что через год, во время поездки в Европу, из которой он не вернулся, он оказался замешан dans une sale histoire[94] — в Неаполе, как на зло!). Я бы и вовсе не упомянул его, если бы его существование в Бердслее не представляло такого странного контраста моему собственному случаю. Он необходим мне теперь для защиты. Вот, значит, перед вами он, человек совершенно бездарный; посредственный преподаватель; плохой учёный; кислый, толстый, грязный; закоренелый мужеложник, глубоко презирающий американский быт; победоносно кичащийся своим незнанием английского языка; процветающий в чопорной Новой Англии; балуемый пожилыми людьми и ласкаемый мальчишками — о, да, наслаждающийся жизнью и дурачащий всех; и вот, значит, я.

7

Мне предстоит теперь справиться с неприятной задачей: отметить определённое изменение к худшему в нравственном облике Лолиты. Если, с одной стороны, её участие в любовном восторге, возбуждаемом ею, было всегда незначительным, то с другой, и чистая корысть сперва не побуждала её к поблажкам. Но я был слаб, я был неосмотрителен, моя гимназистка-нимфетка держала меня в волшебном плену. По мере того, как всё человеческое в ней приходило в упадок, моя страсть, моя нежность, мои терзания только росли; и этим она начала пользоваться.

Её недельное жалование, выплачиваемое ей при условии, что она будет исполнять трижды в сутки основные свои обязанности, было, в начале Бердслейской эры, двадцать один цент (к концу этой эры оно дошло до доллара и пяти центов, что уже составляло не один цент, а целых пять за сеанс). Это было более чем щедрой оплатой, если принять во внимание, что девочка постоянно получала от меня всякие мелкие подарки; не было случая, чтобы я не позволил ей попробовать какое-нибудь интересное сладкое или посмотреть новый фильм, — хотя, разумеется, я считал себя вправе нежно потребовать от неё добавочного поцелуя или даже целого ассортимента сверхурочных ласок, когда знал, что она особенно облюбовала то или иное из удовольствий, свойственных её возрасту. С ней бывало, однако, не легко. Уж больно апатично зарабатывала она свои три копейки (а потом три пятака) в день, а в иных случаях умела жестоко торговаться, когда было в её власти отказать мне в некоторых особого рода разрушающих жизнь, странных, медлительных, райских отравках, без которых я не мог прожить больше нескольких дней сряду и которые, ввиду коренной сущности несказанной истомы, я не мог добыть силой. Хорошо учитывая магию и могущество своего мягкого рта, она ухитрилась — за один учебный год! — увеличить премию за эту определённую услугу до трёх и даже четырёх долларов! О, читатель! Не смейся, воображая меня на дыбе крайнего наслаждения, звонко выделяющим гривенники, четвертаки и даже крупные серебряные доллары, как некая изрыгающая богатство, судорожно-звukaющая и совершенно обезумевшая машина; а меж тем, склонённая над эпилептиком, равнодушная виновница его

неистового припадка крепко сжимала горсть монет в кулачке, — который я потом всё равно разжимал сильными ногтями, если, однако, она не успевала удрать и где-нибудь спрятать награбленное. И совершенно так же, как чуть ли не, каждый второй день я медленно объезжал школьный район и вылезал из автомобиля, чтобы, едва передвигая ноги, заглядывать в молочные бары и всматриваться в туманные пролёты аллей, прислушиваясь к удаляющемуся девичьему смеху между ударами сердца и шелестом листопада, совершенно так же, я, бывало, обыскивал её комнату, просматривая изорванные бумажки в красивой мусорной корзине с нарисованными розами, и глядел под подушку девственной постели, которую я сам только что сделал. Раз я нашёл восемь долларовых билетов в одной из её книг (с подходящим заглавием «Остров Сокровищ»), а другой раз дырка в стене за репродукцией Уистлеровой «Матери», оказалась набитой деньгами — я насчитал двадцать четыре доллара и мелочь — скажем, всего двадцать шесть долларов, — которые я преспокойно убрал к себе, ничего ей не сказав, после чего она обвинила, нагло на меня глядя, в «подлом воровстве» честнейшую госпожу Гулиган. Впоследствии она подтвердила величину своего интеллектуального коэффициента тем, что нашла более верное хранилище, которого я так никогда и не отыскал; но к этому времени я произвёл экономическую революцию, заставив её постепенно зарабатывать трудным и рвотным для неё способом право участвовать в театральной программе школы; потому что я больше всего боялся не того, что она меня разорит, а того, что она наберёт достаточно денег, чтобы убежать. Мне думается, что эта бедная девочка со злыми глазами считала, что с какими-нибудь пятидесятью долларами в сумке ей удастся каким-нибудь образом добраться до Бродвея или Холливуда — или до мерзкой кухни придорожного ресторана (Нужна Подавальщица) в мрачнейшем степном штате, где дует ветер и мигают звёзды над амбарами, фарами, барами, парами и всё вокруг — мразь, гниль, смерть.

8

Я приложил все старания, господин судья, чтобы разрешить проблему «кавалеров». Вы не поверите, но каюсь, я даже почитывал местную газету, «Бердслейскую Звезду», где была рубрика «Для Юношества», чтобы выяснить, как мне себя вести!

«Совет отцам. Не отпугивайте молодых друзей вашей дочери. Допустим, что вам трудно осознать, что теперь мальчики находят её привлекательной. Для вас она всё ещё маленькая девочка. Для мальчиков же она прелестна и забавна, красива и весела. Им она нравится. Сегодня вы делаете крупные сделки в вашем директорском кабинете, но вчера вы были попросту гимназист Джим, носивший учебники Дженни.

Вспомните-ка! Разве вам не хочется, чтобы ваша дочь теперь в свою очередь находила счастье в восхищении нравящихся ей мальчиков? Неужели вы не хотите, чтобы они вместе предавались здоровым забавам?»  
Здоровые забавы? Боже мой!

«Почему бы вам не смотреть на этого Тома и Джона, как на гостей у себя в доме? Почему не затеять беседу с ними? Заставить их разговориться, рассмешить их, дать им чувствовать себя свободно?»

Входи-ка, Том, в мой публичный дом!

«Если она нарушает правила, не устраивайте ей скандала в присутствии её „сообщника“. Пусть она испытает тяжесть вашего недовольствия наедине с вами, и пусть перестанут её кавалеры считать, что она дочь старого людоеда».

Первым делом, старый людоед составил два списка — один «абсолютно запрещённого», другой — «неохотно дозволенного». Абсолютно запрещены были выезды с кавалерами — вдвоём, или с другой парочкой, или с двумя парочками (следующий шаг вёл, конечно, к массовой оргии). Ей позволялось зайти в молочный бар с подругами и там поболтать да похихикать с какими-нибудь случайными молодыми людьми, пока я ждал в автомобиле на некотором расстоянии. Сказал ей, что если её группу пригласит социально приемлемая группа из мужской частной гимназии (той, которая называлась Бутлеровская Академия для Мальчиков) на ежегодный бал (под надзором учителей и их жён), я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье (воздушное, розовое — в котором тонкорукая тринадцатилетняя или четырнадцатилетняя девочка выглядит как фламинго). Кроме того, я обещал, что устрою вечеринку у нас в доме, на которую ей можно будет пригласить наиболее хорошеньких из подруг и наиболее приличных из гимназистов, с которыми она к тому времени познакомится на бутлеровском балу. Но я заверил её, что пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распалённым мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле, или встречаться с кавалерами на вечеринках у подруг, или вести вне предела слышимости долгие телефонные разговоры с молодым человеком, даже если она собирается «только обсуждать его отношения с

одной моей подругой».

От этих запретов и ограничений Лолита приходила в ярость, ругала меня паршивым жуликом и ещё худшими словесами, — и я в конце концов потерял бы терпение, если бы не понял вдруг, к сладчайшему моему облегчению, что злило её, собственно, не то, что я лишаю её того или другого удовольствия, а лишаю — общих прав. Я, видите ли, покушался на условную программу жизни, на общепринятые развлечения, на «вещи, которые полагается делать», на отроческую рутину; ибо ничего нет консервативнее ребёнка, особенно девочки, будь она самой что ни на есть баснословной, русой, розовато-рыжей нимфеткой в золотой дымке октябрьского вертограда.

Не истолкуйте моих слов превратно. Я не могу поклясться, что в течение той зимы (1948—1949 г.) Лолите не удалось войти мимоходом в непристойное соприкосновение с мальчишками. Как бы пристально я ни следил за её досугами, постоянно случались, конечно, необъяснимые утечки времени, которые она задним числом пыталась заткнуть путём чересчур уж замысловатых объяснений; и, конечно, моя ревность то и дело зацеплялась подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства; но я очень явственно чувствовал, — и ныне могу поручиться за правильность этого чувства, — что не стоило серьёзно опасаться. Я так чувствовал не потому, что ни разу не подвернулся мне какой-нибудь осязаемый твёрдый молодой кадык (который я бы раздавил голыми руками) среди бессловесных мужского пола статистов, мелькавших где-то на заднем плане, но и потому, что мне становилось «более чем очевидно» (любимое выражение моей тётки Сибиллы), что все варианты старшеклассников — от потеющего болвана, которого приводит в трепет возможность держать ручку соседки в тёмном кино, до самодовольного насильника с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем — одинаково претили моей искушённой маленькой любовнице. «Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков», намарала она в учебнике, и под этим, рукою Моны (Мона должна теперь появиться с минуты на минуту): «А как насчёт Риггера?» (ему тоже пора появиться).

Посему так безлики у меня в памяти те ребята, которых мне доводилось видеть в её обществе. Существовал, например, Красный Свитер, который в один прекрасный день — в первый день, когда выпал снег — проводил её до дому. Из окна гостиной я наблюдал за тем, как они напоследок разговаривали у нашего крыльца. На ней было первое её пальто с меховым воротничком; коричневая шапочка венчала любимую мою причёску — ровная чёлка спереди, завитушки с боков и природные локоны сзади — и её потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались ещё более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки её всё время жестикулировали: она то наступала левой на подъём правой, то отодвигала пятку назад или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков, — и начинала всю серию снова. Существовал Ветронепроницаемый, который как-то в воскресенье разговаривал с нею перед рестораном, между тем как его мать и сестра пробовали меня утащить ради досужей болтовни; я волочил ноги и оглядывался на свою единственную любовь. В ней уже развилась не одна традиционная ужимка, как, например, вежливый способ молодой барышни показать, что она буквально «скорчилась» от смеха: наклонив голову и всё ещё имитируя беспомощный хохот, она отступила на несколько шагов (уже чуя мой зов) и затем повернулась и двинулась по направлению ко мне, с потухающей улыбкой. Я гораздо больше любил (может быть, потому что это напоминало мне её первую незабвенную исповедь) — её манеру вздыхать («ах, Боже мой!») с шутливо-мечтательной покорностью судьбе, или произносить длинное «Ах, нет!» низким рычащим голосом, когда удар судьбы уже грянул. Но больше всего мне нравилось смотреть на неё — раз мы уже заговорили о жестах и юности, — когда она, бывало, колесила взад и вперёд по Тэеровской улице на своём новом велосипеде, тоже казавшемся прелестным и юным. Она поднималась на педалях, чтобы работать ими побойчее, потом опускалась в томной позе, пока скорость изнашивалась. Остановившись у почтового ящика, относившегося к нам, она (всё ещё сидя верхом) быстро листала журнал, извлечённый оттуда, совала его обратно, прижимала кончик языка к уголку верхней губы, отталкивалась ногой и опять неслась сквозь бледные узоры тени и света.

В общем, она как будто лучше приспособилась к своему окружению, чем я в своё время представлял себе, созерцая свою избалованную девочку-рабыню и те броские, как запястья, особенности поведения, которыми она наивно щеголяла зимой в Калифорнии. Хотя я никогда не мог свыкнуться с той постоянной тревогой, в которой бьются нежные сердца великих грешников, я считал, что в смысле защитной окраски я ничего убедительнее не мог придумать. Лёжа у окна на своей узкой кабинетной койке после краткой сессии обожания и отчаяния в холодной спальне у Лолиты и припоминая события завершившегося дня, я следил за собственным обликом, который крался, а не просто проходил, перед воспалённым оком моего воображения. Я следил, как д-р Гумберт, «красивый брюнет» бульварных романов, с примесью, может быть, кельтской крови в жилах, принадлежащий,

вероятно, к консервативной, если не консервативнейшей, церкви, выходит проводить дочь в школу. Я наблюдал, как он приветствует медленной улыбкой и приятным движением бровей (чёрных и густых, как у мужчин на рекламах) добрую госпожу Гулиган, от которой несло чумным смрадом и которая, я знал, направится, при первом удобном случае, к хозяйской бутылке джина. Глазами западного соседа, бывшего палача или автора религиозных брошюр — кому какое дело? — я видел в откровенное окно его кабинета нашего героя (как его бишь? кажется, француз или швейцарец), размышляющего перед пишущей машинкой (довольно измождённый профиль, почти гитлеровская прядь на бледном лбу). По праздникам можно было видеть профессора Г. Г. в хорошо сшитом пальто и коричневых перчатках, шествующего к Вальтону (кафе, известное своими фарфоровыми, в фиолетовых бантах, кроликами и коробками шоколада, среди которых сидишь и ждёшь, чтобы освободился столик — столик для двоих, ещё загаженный объедками предыдущей четы). Мы теперь видим его в будний день, около часу дня, важно приветствующего стоокою восточную соседку; осторожно маневрируя, он выводит автомобиль из гаража мимо проклятых можжевёловых кустов и съезжает на скользкую дорогу. Подняв холодный взгляд от книги, смотрю на стенные часы в перегретой университетской библиотеке, среди глыбоподобных молодых женщин, застигнутых и превращённых в камень переизбытком человеческого знания. Шагаю по газону колледжа вместе со служителем культа Риггером (он же преподаёт Закон Божий в женской гимназии): «Мне кто-то сказал, что её мать была знаменитой актрисой, погибшей при крушении самолёта. Это не так? Значит, я плохо понял. Неужели? Вот оно что. Очень грустно». (Изволишь, милочка, сублимировать маму?) Медленно толкая металлическую колясочку с накопляющимися продуктами через лабиринт супермаркета, позади профессора В., такого же медленно двигающегося, безобидного вдовца, с глазами козла. Расчищаю лопатой оснеженный въезд: пиджак скинут, роскошный чёрно-белый шарф обмотан вокруг шеи. Следом иду, без видимых признаков плотоядного нетерпения (даже заставляю себя вытереть ноги о мат) за дочкой-гимназисткой, входящей в дом. Сопровождаю Долли к дантисту... хорошенькая ассистентка, сияющая на неё... старые журналы... *ne montrez pas vos zhambes*[95], как говорила покойница. За обедом с Долли в городском ресторане: мы заметили, что мистер Эдгар Г. Гумберт ел свой бифштекс европейским способом — не покладая ножа. Приятели (почти двойники) наслаждаются концертом: два мраморноликих, умиротворённых француза сидящих рядом — мосье Гумберт с музыкальной дочуркой и мосье Годэн с не менее одарённым сыночком профессора В. (который проводит гигиенический вечер в городе Провиденс, славном борделями). Отпираю гараж: квадрат света поглощает машину и гаснет. В красочной пижаме спускаю рывками штору в Доллиной спальне. В субботу утром, никем не видимый, торжественно взвешиваю голенькую, зимой отбелённую девочку на весах в ванной комнате. Его видели и слышали в воскресенье утром (а мы-то думали, что он ходит в церковь!): он кричал дочке: «Вернись не слишком поздно!» — она шла играть в теннис. Он впускает в дом до странности наблюдательную её подругу: «Впервые вижу, сэр, мужчину в шёлковой домашней куртке — кроме, конечно, как в кинодрамах».

9

Я с удовольствием думал, что познакомлюсь с Лолитиными подругами, но в общем они не оправдали ожидания. Перечислю Опаль Икс, Линду Голль, Авис Чапман, Еву Розен и Мону Даль — (все эти фамилии, за исключением одной, — лишь приближения к настоящим). Опаль, застенчивое, мешковатое, прыщавое создание в очках, души не чаяла в Долли, которая цукала её. С Линдой Голль, лучшей теннисисткой в школе, Долли играла сингли не меньше двух раз в неделю: у меня есть подозрение, что Линда была настоящей нимфеткой, но почему-то она у нас не бывала (может быть, ей не позволялось бывать); она мне запомнилась только как вспышка самородного солнца на прямоугольнике крытого корта. Из других ни одна не могла претендовать на нимфетство, кроме Евы Розен. Авис представляла собой жирную, коренастую девочку с волосатыми ногами; Мона же, хоть и блистала какой-то грубоватой, чувственной красотой (причём ей было всего на год больше, чем моей стареющей любовнице), явно перестала давно быть нимфеткой, если когда-либо и была таковой. С другой стороны, Ева Розен, маленькое «перемещённое лицо» из Франции, служила примером того, что и не отличающаяся исключительной красотой девочка может иногда обнаружить, для проницательного любителя, некоторые основные элементы нимфеточной прелести — идеально-тоненькую, едва развившуюся фигуру, странно-задерживающийся взгляд, приподнятые скуловые кости. Её блестящие медные волосы напоминали если не окраской, то шелковистым глянецом, волосы Лолиты. Черты её нежного, молочно-бледного лица с розовыми губами и белёсыми ресницами лишены были той лисьей заострённости, которая свойственна великому внерасовому клану рыжеволосых; к тому же, она не носила зелёного — этого мундира их клана; я

вижу её всегда в чёрном или тёмно-вишнёвом — в очень элегантном чёрном пуловере, например, и в чёрных башмачках на высоких каблуках; ногти она мазала гранатово-красным лаком и (к большому Лолитинуму отвращению) любила говорить по-французски: интонации у Евы всё ещё оставались дивно-чистыми, но для школьных и спортивных терминов она обращалась к разговорному американскому языку, и тогда лёгкий бруклинский акцент примешивался к её речи, что забавляло меня в этой парижаночке, ходившей в новоанглийскую школу со псевдобританскими притязаниями. К сожалению, Лолита, которая сперва с уважением говорила, что «дядя этой французской девчонки — миллионер», скоро прекратила, из каких-то «светских» соображений дружбу с Евой, так и не дав мне времени насладиться — о, совсем скромно — её душистыми появлениями в нашем гостеприимном доме. Милый читатель знает, какое значение я всегда придавал присутствию целой стайки девочек-пажей, утешительно-призовых нимфеток, вокруг моей Лолиты. Одно время я приглядывался к Моне Даль, которая часто посещала нас, особенно в весенний семестр, когда Лолита и она так увлеклись сценическим искусством. Я, случалось, спрашивал себя, какие тайны возмутительно ненадёжная Долорес Гейз сообщила Моне; ведь мне Лолочка успела выболтать — сдавшись однажды на мою срочную и хорошо оплачиваемую мольбу — совершенно неслыханные подробности относительно романа, затеянного Моной на атлантическом курорте с каким-то моряком. Характерно, что Лолита избрала себе в наперсницы изящную, холодную, Опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз (ослышался, по клятвенному заверению Лолиты) беспечно говорящей в прихожей (Лолита только что заметила про свой свитер, что он из «девственной», мол, шерсти): «Вот и всё, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя». Голос у Моны отличался курьёзной хрипотцой; она завивала у хорошего парикмахера свои тускло-чёрные волосы и носила большие серьги; у неё были янтарно-карие, слегка навывкате, глаза и сочные губы. Лолита рассказывала, что учительницы журили Мону за то, что она навешивает на себя так много стразовых украшений. У неё дрожали руки. Над ней тяготел умственный коэффициент в сто пятьдесят пунктов. Упомяну ещё громадное шоколадно-бурое родимое пятно, находившееся у неё на уже вполне женской спине, которую я осмотрел в тот вечер, когда Лолита и она нарядились в очень открытые, пастельных оттенков, платья для бала в Бутлеровской школе.

Забегая немного вперёд, но поневоле память перебегает по всей клавиатуре, когда думаю об этом учебном годе в Бердслее. В ответ на мои расспросы о том, с какими Лолита волоочась мальчиками, мадемуазель Даль выказала изящную уклончивость. Разговор происходил в тот день, когда Лолита, отправившись играть в теннис в тот весьма «светский» спортивный клуб, к которому Линда принадлежала, звонила оттуда по телефону, что она, может быть, опоздает на целый час, так что не могу ли я, пожалуйста, занять Мону, когда та придёт репетировать с ней сцену из «Укрощения Строптивой». И вот красивая Мона, пуская в ход все свои модуляции, все чары обхождения и голоса, и глядя мне в глаза с какой-то (или я ошибался?) лёгкой искрой хрустальной иронии, ответила мне так:

«По правде сказать, сэр, Долли вообще не думает о желторотых мальчиках. По правде сказать, мы с ней соперницы. И она и я безумно влюблены в преосвященного Риггера» (ходячая шутка — я уже упоминал об этом угрюмом громадном мужлане с лошадиной челюстью; он меня довёл чуть ли не до смертоубийства своими впечатлениями от поездки в Швейцарию, которыми донимал меня на каком-то чаепитии для родителей, не помню точно когда).

«А как прошёл бал?» «Ах, буйственно!» «Виноват?» «Не бал, а восторг. Словом, потрясающий бал». «Долли много танцевала?» «О, не так уже страшно много — ей скоро надоело». «А что думает Мона (томная Мона) о самой Долли?» «В каком отношении, сэр?» «Считает ли она, что Долли преуспевает в школе?» «Что ж, девчонка она — ух, какая!» «А как насчёт общего поведения?» «Девчонка, как следует». «Да, но всё-таки?..» «Прелесть девчонка!» — и сделав это заключение, Мона отрывисто вздохнула, взяла со столика случайно подвернувшуюся книгу и, совершенно изменив выражение лица, притворно нахмутив брови, осведомилась: «Расскажите мне про Бальзака, сэр. Правда ли, что он так замечателен?» Она придвинулась так близко к моему креслу, что я учуял сквозь косметическую муть духов и кремов взрослый, неинтересный запах её собственной кожи. Неожиданно, странная мысль поразила меня: а что если моя Лолитка занялась сводничеством? Коли так, она выбрала неудачную кандидатку себе в заместительницы. Избегая хладнокровный взгляд Моны, я с минуту поговорил о французской литературе. Наконец явилась Долли — и посмотрела на нас, прищулив дымчатые глаза. Я предоставил подружек самим себе. На повороте лестницы было створчатое, никогда не отворяемое, паутиной заросшее оконце, в переплёте которого один квадратик был из рубинового стекла, и эта кровоточащая рана среди других бесцветных клеток, а также её несимметричное расположение (ход коня, бе восемь — це шесть) всегда меня глухо тревожили.



Иногда... Ну-ка пожалуйста, сколько именно раз, товарищ? Можете ли вы припомнить четыре, пять или больше таких случаев? Или же ни одно человеческое сердце не вынесло бы свыше двух-трёх раз? Иногда (ничего не могу сказать в ответ на вопрос ваш), в то время, как Лолита расхлябанно готовила заданный урок, сося карандаш, развалиясь поперёк кресла и положив ноги через его ручку, я сбрасывал с себя все цепи педагогической сдержанности, отменял все наши ссоры, забывал всё своё мужское самолюбие — и буквально на четвереньках подползал к твоему креслу, моя Лолита! Она тогда смотрела на меня взглядом, похожим на серый мохнатый вопросительный знак (говорящий с недоверием, с раздражением: «Как — уже опять?»); ибо ты ни разу не соизволила понять, что я способен, без каких-либо определённых намерений, нестерпимо хотеть уткнуться лицом в твою шотландскую юбочку, моя любимая! Боже мой — хрупкость твоих голых рук и ног, Боже мой, как тянуло меня сложить, обнять все четыре этих прозрачных, прелестных конечности, вроде как ноги сложенного жеребёнка, и взять твою голову в мои недостойные руки, и подтянуть кверху кожу висков с обеих сторон, и поцеловать твои окитайченные глаза, и — «Ах, отстань от меня, старый павиан!», говорила ты. «Христа ради, прошу тебя, отстать от меня наконец!» И я вставал с пола, а ты смотрела, нарочитым дёрганьем лица подражая моему нервному тикю. Но ничего, это не имеет значения, я всего лишь животное, ничего, будем продолжать эту жалкую повесть.

Как-то в понедельник, в одно декабрьское, кажется, утро, позвонила мисс Пратт и попросила меня приехать поговорить кое о чём. Я знал, что отметки Долли за последний месяц были неважные; но вместо того, чтобы удовлетвориться каким-нибудь правдоподобным объяснением вызова, я вообразил Бог знает какие ужасы и должен был подкрепить себя пинтой джинанаса, прежде чем решиться поехать в школу. Медленно, с таким чувством, будто весь состою из гортани и сердца, я взошёл на плаху.

Мисс Пратт, огромная, неряшливого вида женщина с седыми волосами, широким, плоским носом и маленькими глазками за стёклами роговых очков, попросила меня сесть, указав на плюгавый и унижительный пуф, меж тем как она сама присела с тяжеловатой лихостью на ручку дубового кресла. Несколько секунд она молчала, вперив в меня взгляд, улыбающийся и любопытный. Мне вспомнилось, что она так глядела и в первое наше свидание, но тогда я мог позволить себе сурово нахмуриться в ответ. Наконец её глаза соскользнули с меня. Она впала в задумчивость — вероятно, напускную. Как бы решившись на что-то, она стала обеими толстопалыми руками тереть, складкой об складку, свою тёмно-серую фланелевую юбку у колена, счищая что-то — меловой след, что ли. Затем она сказала — всё ещё потирая юбку и не поднимая глаз:

«Позвольте мне спросить вас без обиняков, мистер Гейз. Вы ведь старомодный, европейский отец, не правда ли?»

«Да нет», сказал я. «Консервативный, может быть, но не то, что подразумевается под старомодным».

Она перевела дух, насупилась, а затем, приподняв большие, пухлые руки, хлопнула в ладоши, выражая намерение обратиться к сути дела, и снова уставилась на меня блестящими глазками.

«Долли Гейз», сказала она, «очаровательная девчурка, но начальная пора полового созревания ей, по-видимому, причиняет кое-какие затруднения».

Я слегка поклонился. Что я мог сделать другого?

«Она всё ещё маячит», сказала мисс Пратт, представляя это маячение соответствующим движением корицей усеянных рук, «между двумя зонами, анальной и генитальной. В основе она, конечно, очаровательная...»

Я переспросил: «Простите, между какими зонами?»

«Вот это заговорил в вас старомодный европеец!» возгласила Праттша, слегка ударив по моим наручным часам и внезапно выставив фальшивые зубы. «Я только хотела сказать, что биологическая тяга и тяга психологическая — хотите папиросу? — не совсем сливаются в вашей Долли, не образуют, так сказать, нечто закруглённое». Её руки на миг обхватили невидимый арбуз.

«Она привлекательна, умна, но небрежна — (тяжело дыша, не покидая насеста, моя собеседница сделала паузу, чтобы взглянуть на отзыв об успехах очаровательной девчурки, лежавший справа от неё на письменном столе). Её отметки становятся всё хуже и хуже. Вот я себя и спрашиваю, мистер Гейз», — снова это мнимое раздумие. «Что ж», продолжала она бодро, «а я вот папиросы курю и, как наш незабвенный доктор Пирс говаривал, не

горжусь этим, но чрезвычайно это люблю!» Она закурила, и дым, который она выпустила из ноздрей, напомнил мне пару кабаньих клыков.

«Давайте-ка я вам представлю несколько деталей, это не займёт много времени. Где это у меня?» (она стала перебирать свои бумаги). «Да. Она держится вызывающе с мисс Редкок и невозможно груба с мисс Корморант. А вот доклад одной из наших специальных научных работниц: с удовольствием участвует в хоровом пении класса, хотя её мысли немного как будто блуждают. При этом закидывает ногу на ногу и помахивает левой в такт. В рубрике обычных словечек: лексикон из двухсот сорока двух слов обыкновеннейшего слэнга подростков с придачей некоторого числа многосложных слов явно европейского происхождения. Много вздыхает в классе. Где это?.. Да. Вот тут за последнюю неделю в ноябре. Много вздыхает... Энергично жуёт резину. Ногтей не кусает, а жаль — это лучше бы соответствовало общей картине — с научной точки зрения, конечно. Менструация, по словам субъекта, вполне установившаяся. Не принадлежит в данное время ни к какой церковной организации. Кстати, мистер Гейз, её мать была? Ах, вот оно что. А вы сами? Да, конечно, это никого не касается — кроме, может быть, Господа Бога. Нам ещё кое-что хотелось выяснить... У неё, по-видимому, нет никаких домашних обязанностей? Ага, так, так. Вы, мистер Гейз, видно хотите, чтобы ваша Долли росла принцессой. Ну, что у нас ещё тут имеется? Берёт в руки книги и откладывает их весьма грациозно. Голос приятный. Довольно часто хихикает. Немного мечтательна. Имеет какие-то свои тайные шуточки, читает обратно, например, фамилии некоторых учительниц. Волосы темнорусые и светлорусые попеременно, с блеском — ну, я думаю (Праттша заржала), — это вы сами знаете. Нос незаложен, ступни с высоким подъёмом, глаза — погодите, у меня тут был более недавний отчёт. Да! Вот он. Мисс Гольд говорит, что отметки за теннисный стиль Долли поднялись от „отлично“ до „великолепно“ — они даже лучше, чем у нашей чемпионки Линды Голль, но у Долли плохая концентрация, что отражается на счёте. Мисс Корморант не может решить, имеет ли Долли исключительную власть над своими эмоциями или же сама всецело находится под их властью. Мисс Зелва докладывает, что ей, т. е. Долли, не удаётся словесно оформить свои переживания, а Мисс Дутен считает, что Доллины органические функции выше всех похвал. Мисс Молар думает, что Долли близорука и должна бы пойти к хорошему офтальмологу, между тем как мисс Редкок, напротив, утверждает, что девочка симулирует переутомление глаз для того, чтобы оправдать учебные недочёты. И наконец, мистер Гейз, есть нечто основное, беспокоящее наших исследователей. Хочу вас спросить откровенно. Хочу знать, если ваша бедняжка-жена, или вы сами, или кто-либо другой в семье, — я правильно понимаю, что у неё есть в Калифорнии несколько тёток и дедушка с материнской стороны? — ах, все померли — извините в таком случае — но как бы то ни было, нас тревожит вопрос, объяснил ли ей какой-нибудь член семьи, как собственно происходит размножение у млекопитающих? У нас у всех впечатление, что в пятнадцать лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами, или точнее, подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить своё невежество и чувство собственного достоинства. Хорошо, я ошиблась — не пятнадцать, а почти четырнадцать. Видите ли, мистер Гейз, наша школа не верит, что нужно детишек питать рассказами о пчёлках и тычинках, об аистах и птичках-неразлучках, но мы весьма твёрдо верим, что надобно учениц подготовить ко взаимно-удовлетворительному брачному сожителю и к благополучному материнству. Мы чувствуем, что Долли могла бы преуспевать, если бы она больше старалась. Доклад мисс Корморант в этом отношении знаменателен. У Долли есть склонность, мягко говоря, нахальничать. Но все мы чувствуем, что, во-первых, вам нужно попросить вашего домашнего доктора объяснить ей элементарные основы половой жизни, а во-вторых, вы должны ей позволить наслаждаться обществом братьев её товарок, — либо в Клубе Молодёжи, либо в Организации преосвященного Риггера, либо, наконец, в прекрасной домашней обстановке наших школьных родителей».

«Она может встречаться с мальчиками в собственной прекрасной домашней обстановке», проговорил я.

«Мы очень надеемся, что так будет», сказала Праттша с воодушевлением. «Когда мы стали спрашивать её о её затруднениях, Долли отказалась обсуждать домашнее положение, но мы поговорили с некоторыми из её подруг и — слушайте — мы, например, настаиваем на том, чтобы вы взяли обратно вето, которое вы наложили на её участие в наших спектаклях. Вы просто обязаны разрешить ей играть в „Зачарованных Охотниках“. При первом распределении ролей, она оказалась восхитительной маленькой нимфой. Весной же автор проведёт несколько дней в Бердслейском Университете и, может быть, согласится присутствовать на двух-трёх репетициях в нашей новой аудитории. Я хочу сказать, что вот в таких вещах и состоит счастье — быть молодой, хорошенькой, полной жизни. Вы должны понять...»

«Я всегда казался самому себе», вставил я, «очень понятливым отцом».

«Ах, не сомневаюсь! Но мисс Зелва и мисс Дутен думают, — и я склонна согласиться с ними, — что вашу

Долли преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода, а потому не перестаёт дразнить и мучить других девочек — и даже кое-кого из наших учительниц помоложе, и бессмысленно выворачивать задом наперёд их имена, — потому что у них-то бывают невинные встречи с кавалерами».

Пожал плечами. Потрёпанный эмигрант.

«Давайте-ка, приложим ум сообща, мистер Гейз. Что же с ней такое, с этой девочкой?»

«Она мне представляется совсем нормальной и счастливой», ответил я (может быть, катастрофа наконец приблизилась? Может быть, они уличили меня? Может быть, обратились к гипнотизёру?)

«Что тревожит меня», сказала мисс Прыг, посмотрев на часы и начав обсуждать весь вопрос сызнова, «это то, что и наставницы, и товарки находят Долли враждебно настроенной, неудовлетворённой, замкнутой, — и все мы недоумеваем, почему это вы так против всех нормальных развлечений, свойственных нормальным детям?» «Включая любовные прелиминарии?», спросил я развязно, отчаянно — так огрызается припёртая к стене старая крыса.

«Что ж, я, разумеется, приветствую такую передовую терминологию», сказала Праттша с ухмылкой. «Но не в этом дело. Поскольку существует у нас в Бердслейской гимназии надзор, наши спектакли, танцы и другие естественные увеселения не могут считаться в прямом смысле любовными прелиминариями, хотя, конечно, девочки встречаются с мальчиками, если к этому сводится ваше возражение».

«Ладно», сказал я — и мой пуф испустил усталый вздох. «Ваша взяла. Она может участвовать в пьесе. Но если часть ролей, мужская, то ставлю условие: мужская часть поручается девочкам.»

«Меня всегда поражает», сказала мисс Пратт, «как изумительно некоторые иностранцы — или, во всяком случае, натурализованные американцы — пользуются нашим богатым языком. Я уверена, что мисс Гольд — она у нас руководит драматической группой — весьма и весьма обрадуется. Между прочим, она, по-моему, одна из немногих учительниц, которые как будто относятся хорошо — т. е. я хочу сказать, которые как будто умеют подойти к трудной Долли. Ну вот, на этом мы покончили с общими вопросами; теперь остаётся небольшая частность. Мистер Гейз, ваша Долли опять напраказила».

Мисс Пратт сделала паузу, а затем провела тылом указательного пальца под ноздрями влево и вправо с такой силой, что её нос пустился в воинственную пляску.

«Я человек прямодушный», сказала она, «но в жизни есть некоторые условности, и мне трудно — Хорошо, давайте, я объясню так: есть, например, господа Уокер, живущие в старинном доме, который мы тут называем Герцогским Замок — вы, конечно, знаете этот громадный серый дом на вершине холма — они посылают двух своих дочек в нашу школу, и у нас есть также племянница президента университета, доктора Мура, исключительно благовоспитанная барышня — не говоря о целом ряде других знатных детей. И вот, принимая во внимание эти обстоятельства, мы несколько ошарашены, когда Долли, которая выглядит такой приличной девочкой, употребляет слова, которые вам, иностранцу, вероятно, просто неизвестны или непонятны. Может быть, было бы лучше — может быть, позвать сюда Долли и, не откладывая, тут же всё обсудить? Не хотите? Видите ли — Ах, уж давайте без обиняков. Долли написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит писсуар на низкопробном мексиканском жаргоне, — написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению, их раздала девочкам мисс Редкок, которая выходит замуж в июне, и мы решили, что Долли останется после классов — этак полчаса. Но если вы желаете...»

«Нет», сказал я, «не хочу нарушать ваших правил. Я с ней поговорю наедине. Я это выясню».

«Да, сделайте это», сказала мисс Пратт, вставая со своего места на ручке кресла. «А мы с вами можем опять поговорить в скором времени, и если улучшения не будет, попросим нашу докторшу проанализировать девочку».

Может быть, жениться на Праттше и задушить её?

«А кроме того, пускай ваш домашний врач осмотрит её физически — простая, рутинная проверка. Я посадила её в Класс-Квас, последний в конце коридора».

Объясню, что Бердслейская гимназия подражала знаменитой школе для девочек в Англии тем, что надала разных, будто бы «традиционных», названий классным комнатам, как, например: Класс-Раз, Класс-Два-с, Класс-Алмаз и прочее. «Квас» оказался дурно-пахнущим, с коричневой репродукцией «Годов Невинности» Рейнольдса над чёрной доской и с несколькими рядами корявых парт. За одной из них Лолита была погружена в главу о Диалоге в «Драматической Технике» Бэкера, и всё было очень тихо, а спереди от неё сидела другая девочка, с очень голой, фарфоровобелой шеей и чудными бледно-золотыми волосами, и тоже читала, забыв решительно всё на свете, причём бесконечно оборачивала мягкий локон вокруг пальца, и я сел рядом с Долли прямо позади этой шеи и этого локона, и расстегнул пальто, и за шестьдесят пять центов плюс разрешение

участвовать в школьном спектакле добился того, чтобы Долли одолжила мне, под прикрытием парты, свою мелом и чернилами испачканную, с красными костяшками руку. Ах, это, несомненно, было глупо и неосторожно с моей стороны, но после недавних терзаний в кабинете начальницы, я просто был вынужден воспользоваться комбинацией, которая, я знал, никогда не повторится.

12

Около Рождества она сильно простудилась, и её осмотрела одна из подруг Биянки Лестер, докторша Ильза Тристрамсон — (здравствуйте, Ильза, вы были очень милы, не выказали излишнего любопытства и трогали мою голубку так нежно). Докторша установила бронхит, потрепала Лолиту по голой спине (где пушок вдоль хребта дыбом стоял от жара) и уложила её в постель на недельку или дольше. Сначала у неё была высокая температура, и я не мог отказаться от зноя неожиданных наслаждений (*Venus febriculosa!*[96]) но, по правде сказать, очень вялая девочка постанывала, и кашляла, и тряслась от озноба в моих настойчивых объятиях. А как только она поправилась, я устроил для неё Вечеринку с Мальчиками.

Пожалуй, я слишком много выпил, готовясь к тяжёлому испытанию. Пожалуй, я поставил себя в дурацкое положение. Девочки украсили и заштепселили ёлочку (немецкий рождественский обычай, только раньше были свечки, а теперь — цветные лампочки). Выбирали пластинки и кормили ими граммофон моего домохозяина. Долли была в нарядном сером платье с облегающим лифом и юбкой клёш. Мурлыча мотив, я ушёл к себе наверх, но затем каждые десять или двадцать минут спускался, как болван, на несколько секунд под предлогом, что забыл трубку на камине или пришёл посмотреть, где оставил газету; и с каждым разом мне становилось труднее и труднее проделывать эти простые действия, и я поневоле вспоминал те ужасно далёкие дни, в Рамздэле, когда я, бывало, так мучительно готовился к тому, чтобы небрежно войти в комнату, где граммофон пел «Маленькую Кармен».

Вечеринка не совсем удалась. Из трёх приглашённых девочек одна не пришла вовсе, а один из кавалеров привёл своего двоюродного брата Роя, так что оказалось два лишних мальчика. Оба кузена знали все танцы, но другие двое почти совсем не умели танцевать, вследствие чего большая часть вечера ушла на то, чтобы поставить вверх дном кухню, а затем на ведение трескучих споров насчёт того, в какую сыграть карточную игру, и некоторое время спустя две девочки и четыре мальчика очутились сидящими на полу в гостиной, где отворили все окна и играли в какую-то словесную игру, правила которой Опаль никак не могла понять, меж тем как Мона и Рой, долговязый благообразный юноша, пили имбирный лимонад на кухне, сидя на столе и болтая ногами, и горячо обсуждая Предопределение и Закон Статистической Вероятности. Когда они все ушли, Лолита издала звук вроде «ых!», прикрыла глаза и упала в кресло, звездообразно раскинув руки и ноги, этим подчёркивая своё отвращение и измождение, и стала божиться, что такой мерзкой шайки мальчишек она никогда в жизни не видела. Я купил ей новую теннисную ракету за эту фразу.

Январь выдался сырой и мягкий, а февраль ввёл в заблуждение кусты форситии, покрывшиеся вдруг золотыми цветами. Старожилы не могли запомнить такой погоды! Посыпались и другие подарки. На её четырнадцатое рождение, в первый день 1949-го года, я подарил ей велосипед — ту очаровательную механическую газель, которую я уже однажды упоминал, и к этому прибавил Историю Современной Американской Живописи; мне почему-то доставляло дивное удовольствие обращение её с велосипедом, то есть её подход к нему, движение бедрышка при влезании на него и тому подобное, но мои попытки облагородить её художественный вкус окончились неудачей: она хотела знать, надо ли считать фермера, дремлющего после полдника на сене (кисти Дориды Ли), отцом нарочито сладострастной дивчины на переднем плане, и не могла понять, почему я утверждаю, что Грант Вуд и Питер Гурд талантливы, а Реджинальд Марш и Фредерик Уо бездарны.

13

К тому времени, когда весна подкрасила улицу Тэера жёлтыми, зелёными и розовыми мазками, Лолита уже бесповоротно влюбилась в театр. Мисс Пратт, которую я однажды в воскресенье заметил завтракающей с какими-то дамами у Вальтона, поймала издали мой взгляд и — пока Лолита не смотрела — сердечно и сдержанно наградила меня беззвучными аплодисментами. Я не терплю театра, вижу в нём, в исторической перспективе, примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой, несмотря на индивидуальные инъекции гения, как, скажем, поэзия Шекспира или Вен Джонсона, которую, запершись у себя и не нуждаясь в актёрах, читатель автоматически извлекает из

драматургии. Будучи в то время слишком занят собственными литературными трудами, я не нашёл возможным ознакомиться с полным текстом «Зачарованных Охотников» — той пьесы, в которой Долорес Гейз получила роль дочери фермера, вообразившей себя не то лесной волшебницей, не то Дианой: эта дриада, каким-то образом достав учебник гипноза, погружает заблудившихся охотников в различные забавные трансы, но в конце концов подпадает сама под обаяние бродяги-поэта (Мона Даль). Вот в сущности всё, что я вычитал из смятых обрывков неряшливо настуканного текста, которые Лолита рассыпала по всему дому. Мне было и приятно и грустно, что заглавие пьесы случайно совпадает с названием незабвенной гостиницы, но я устало сказал себе, что незачем об этом напоминать моей собственной чаровнице, боясь, что бесстыдный упрёк в сентиментальности мне причинит ещё больше страдания, чем её пренебрежительная забывчивость. Мне показалось, что пьеса — один из многих анонимных пересказов какой-то банальной легенды. С тем же успехом, конечно, я мог бы подумать, что, в погоне за привлекательным названием, основатель гостиницы подвергся, непосредственно и исключительно, влиянию случайной фантазии им нанятого второстепенного стенописца и что впоследствии вывеска отеля подсказала заглавие пьесы. Но и со своим доверчивым, простым и благожелательным умом нечаянно повернул всё это в другую сторону и машинально предположил, что фрески, вывеска и заглавие произошли из общего источника, из местного что ли предания, которое я, будучи чужд новоанглийскому фольклору, мог и не знать. Вследствие этого у меня сложилось впечатление (всё такое же случайное и лишённое всякого значения), что проклятая пьеса принадлежит к типу прихотливых пустыков для детской аудитории, приспособленных и переделанных тысячу раз, как, например, «Гензель и Гретель» такого-то, или «Спящая Красавица» такой-то, или «Новое платье короля» неких Мориса Вермонта и Марионы Румпельмейер (всё это можно найти в любом таком сборнике, как «Школьная Сцена» или «Сыграем Пьесу!»). Другими словами, я не знал, — а если бы знал, то было бы мне в те дни наплевать, — что на самом деле пьеса «Зачарованные Охотники» — недавно написанное и в техническом смысле самобытное произведение, в первый раз поставленное всего месяца три-четыре тому назад в фасонистой нью-йоркской студии. Насколько я мог судить по роли моей прелестницы, вещица была удручающе вычурная, с отзвуками из Ленормана и Метерлинка и всяческих бесцветных английских мечтателей. Охотники в пьесе были, как полагается в Америке, одеты все одинаково, в одинаковых красных кепках, и только отличались качеством вооружения. Один был банкир, другой водопроводчик, третий полицейский, четвёртый гробовщик, пятый страховщик, а шестой — беглый каторжник (драматические эффекты тут самоочевидны); все они внутренне переменились, попав в Доллин Дол, и уже помнили настоящую свою жизнь только как какую-то грёзу или дурной сон, от которого их разбудила маленькая моя Диана; но седьмой охотник (не в красной, а в зелёной кепке — экий разиня!) был Молодой Поэт, и он стал настаивать, к великой досаде Дианиты, что и она и другие участники дивертисмента (танцующие нимфы, эльфы, лешие) — всё лишь его, поэтово, сотворение. Насколько я понял, кончалось тем, что, возмущённая его самоуверенностью, босая Долорес приводила своего поэта, т. е. Мону, одетую в клетчатые штаны со штрипками, на отцовскую ферму за глухоманью, чтобы доказать хвастуну, что она-то сама — вовсе не его вымысел, а деревенская, твердостоящая на чернозёме девушка; и поцелуй под занавес закреплял глубокую идею пьесы, поучающей нас, что мечта и действительность сливаются в любви. Благоразумие советовало мне обойтись без критики в разговорах с Лолитой: она так хорошо увлекалась «проблемами выразительности», так прелестно складывала вместе свои узкие флорентийские ладони, хлопая ресницами и заклиная меня не присутствовать на репетициях в школе, как это делали некоторые довольно смешные родители! Ей хотелось, говорила она, ослепить меня совершенно гладким первым представлением, а кроме того я, видите ли, как-то всегда вмешиваюсь не в своё дело, не то говорю и стесняю её в присутствии её знакомых.

Среди репетиций случилась одна совсем особенная... о сердце, сердце!... был в мае один особенный день, полный радостной суеты — но всё это как-то прошло мимо, вне моего кругозора, не задержавшись у меня в памяти, и когда уже после, к вечеру, я опять увидел Лолиту (она сидела на велосипеде, балансируя, прижав руку к влажной коре молодой берёзы на краю нашего лужка), меня так поразила сияющая нежность её улыбки, что я на миг поздравил себя с окончанием всех моих печалей. «Скажи», спросила она, «ты, может быть, помнишь, как назывался отель — ах, ты знаешь какой отель (нос у неё сморщился), ну, скажи — ты знаешь, — там, где были эти белые колонны и мраморный лебедь в холле? Ну, как это ты не знаешь (она шумно выдохнула) — тот отель, где ты меня изнасиловал? Хорошо, не в том дело, к чорту. Я просто хочу спросить, не назывался ли он (почти шёпотом) — „Зачарованные Охотники“? Ах, да (мечтательно), в самом деле?» И вдруг, с маленьким взвизгом влюблённого, вешнего смеха, она шлёпнула ладонью по глянцевитому стволу и понеслась в гору, до конца улицы, и затем покатила назад, в позе совершенного покоя, держа ступни, одну выше, другую ниже, на неподвижных педалях и забыв одну руку на колене, не прикрытом ситцевой юбкой.

Так как говорилось, что музыка связана с увлечением балетом и сценой, я позволил Лолите брать уроки рояля с мисс Ламперер (как мы, знатоки Флобера, можем её для удобства назвать), к белому с голубыми ставнями домику которой, в двух милях от Бердслея, Лолита катила два раза в неделю. Как-то, в пятницу вечером, в последних числах мая (и около недели после той особенной репетиции, на которую, как и на прочие, я не был допущен), зазвонил телефон в кабинете, где я кончал подчищать королевский фланг Гастона, и голос мисс Ламперер спросил, приедет ли моя Эмма — то бишь Лолита — в следующий вторник: она пропустила два урока подряд — в прошлый вторник и нынче. Я сказал: «да, конечно приедет» — и продолжал игру. Как легко поверит читатель, мои способности теперь пошатнулись и через два-три хода я вдруг заметил, сквозь муть внешехматного страдания, что Гастон — ход был его — может завладеть моим ферзём; он это заметил тоже, но опасаясь западни со стороны заковыристого противника, долго не решался, и отдувался, и сопел, и тряс брылами, и даже взглядывал на меня украдкой, неуверенно пододвигая и опять вбирая пухлые, собранные в пучок пальцы, — безумно хотел взять эту сочную штуку, а не смел — и внезапно схватил её (не научил ли его этот случай той опасной смелости, которую он потом стал выказывать в другой области?), и я провёл скучнейший час, пока добился ничьей. Он допил свой коньяк и, немного погодя, ушёл вразвалку, вполне довольный результатом (*mon pauvre ami, je ne vous ai jamais revu et quoiqu'il y ait bien peu de chance que vous voyiez mon livre, permettez-moi de vous dire que je vous serre la main bien cordialement, et que toutes mes fillettes vous saluent*[97]). Я нашёл Долорес Гейз за кухонным столом, уплетающей клин торта и не отрывающей глаз от листка с ролью. Она подняла их навстречу моему взгляду, — в них была какая-то небесная пустота. Когда я заявил ей о своём открытии, она осталась до странности безмятежной и только сказала *d'un petit air faussement contrit*[98], что она, конечно, очень скверная девочка, но было просто невозможно противиться соблазну, и вот она потратила эти часы музыки — о читатель, о мой читатель! — на то, чтобы разучивать с Моной в городском парке волшебные-лесные сцены пьесы. Я сказал: «Превосходно», и прошагал к телефону. Мать Моной ответила: «да, она дома» и, с материнским нейтральным вежливо-довольным смешком удалилась, крича уже за сценой: «Тебя просит Рой», и в следующую минуту подшелестнула Мона и тотчас же, низким, монотонным, но не лишённым ласковости голосом, принялась отчитывать Роя за какую-то им сделанную или сказанную пакость, и я перебил её, и вот уже Мона, спокойно переключившись, говорила своим смиреннейшим, наисексуальнейшим контральто: «да, сэр», «разумеется, сэр», «я одна виновата, сэр, в этой несчастной истории» (какая плавность! какая светскость!), «право, я очень сожалею» — и так далее и тому подобное, как выражаются эти шлюшки. Я опять спустился на первый этаж, откашливаясь и держась за сердце. Лолита сидела теперь в гостиной, в своём любимом кожаном кресле. Она сидела развалившись, выкусывая заусеницу, следя за мной глумливым взглядом бессердечных, дымчатых глаз и не переставая качать табурет, на который поставила пятку вытянутой, в одном носке, ноги, — и с приступом тошной боли я увидел ясно, как она переменялась с тех пор, как я познакомился с ней два года тому назад. Или перемена случилась за последние две недели? Где была моя нежность к ней? Разрушенный миф! Она находилась прямо в фокусе моего накалённого добела гнева. Мгла вожделения рассеялась, ничего не оставив, кроме этой страшной светозарности. О да, она переменялась! Кожа лица ничем не отличалась теперь от кожи любой вульгарной неряхи-гимназистки, которая делит с другими косметическую мазь, накладывая её грязными пальцами на немытое лицо, и которой всё равно, чей грязный пиджачный рукав, чья прыщами покрытая щека касаются её лица. А меж тем в прежние дни её лицо было подёрнуто таким нежным пушком, так сверкало росой слёз, когда бывало играючи, я катал её растрёпанную голову у себя на животе! Грубоватая краснота заменила теперь свечение невинности. Весенний насморк с местным названием «кроличьей простуды» окрасил в огненно-розовый цвет края её презрительных ноздрей. Объятый неким ужасом, я опустил взор, и он машинально скользнул по исподней стороне её опроставшейся, из-под юбочки напряжённо вытянутой ляжки — ах, какими отполированными и мускулистыми стали теперь её молодые ноги! Её широко расставленные, серые как матовое стекло глаза, с лопнувшей на белке красной жилкой, смотрели на меня в упор, и мне казалось, я различаю в её взгляде тайную мысль, что, может быть, Мона права, и ей, сиротке Долорес, удалось бы меня выдать полиции без того, чтобы самой понести кару. Как я ошибся! Каким безумцем я себя показал! Всё в ней было равно непроницаемо — мощь её стройных ног, запачканная подошва её белого носка, толстый свитер, которого она не сняла, несмотря на духоту в комнате, её новый луковый запах и особенно — тупик её лица с его странным румянцем и недавно крашенными губами. Эта краска оставила след на её передних зубах, и меня пронзило одно воспоминание — о, не образ воскресшей Моники, а образ другой,

очень молодой проституточки в борделе, много лет тому назад, которую кто-то успел перехватить, пока я решал, искупает ли её единственная прелесть — юность — ужасную возможность заразиться Бог знает чем, и у которой были точно такие же горящие маслаки, и умершая мама, и крупные передние зубы, и обрывок тускло красной ленточки в простонародно-русых волосах.

«Ну что же, говори уж», сказала Лолита. «Подтверждение приемлемо?»

«О да», сказал я. «Абсолютно приемлемо. Да. И я не сомневаюсь ни секунды, что вы это вместе придумали.

Больше скажу — я не сомневаюсь, что ты ей сообщила всё, что касается нас».

«Вот как?»

Я совладел с одышкой и сказал: «Долорес, всё это должно прекратиться немедленно. Я готов выхватить тебя из Бердслея и запереть ты знаешь где, или это должно прекратиться. Я готов увезти тебя через несколько минут — с одним чемоданом; но это должно прекратиться, а не то случится непоправимое».

«Непоправимое? Скажите пожалуйста!»

Я отпихнул табурет, который она всё раскачивала пяткой, и нога её глухо ударилась об пол.

«Эй», крикнула она, «легче на поворотах!»

«Прежде всего, марш наверх!» крикнул я в свою очередь и одновременно схватил и вытащил её из кресла. С этой минуты я перестал сдерживать голос, и мы продолжали орать друг на дружку, причём она говорила непечатные вещи. Она кричала, что люто ненавидит меня. Она делала мне чудовищные гримасы, надувая щёки и производя дьявольский лопающийся звук. Она сказала, что я несколько раз пытался растлить её в бытность мою жильцом у её матери. Она выразила уверенность, что я зарезал её мать. Она заявила, что она отдаст первому мальчишке, который этого захочет, и что я ничего не могу против этого. Я велел ей подняться к себе и показать мне все те места, где она припрятывает деньги. Это была отвратительная, нестерпимо-громкая сцена. Я держал её за костлявенькую кисть, и она вертела ею так и сяк, под шумок стараясь найти слабое место, дабы вырваться в благоприятный миг, но я держал её совсем крепко и даже причинял ей сильную боль, за которую, надеюсь, сгниёт сердце у меня в груди, и раза два она дёрнулась так яростно, что я испугался, не треснула ли у неё кисть, и всё время она пристально смотрела на меня этими своими незабвенными глазами, в которых ледяной гнев боролся с горячей слезой, и наши голоса затопляли звонивший наверху телефон, и в этот самый миг, как я осознал этот звон, она высвободилась и была такова.

С персонажами в кинофильмах я, по-видимому, разделяю зависимость от всемогущей *machina telephonica* и её внезапных вторжений в людские дела. На этот раз оказалось, что звонит разозлённая соседка. Восточное окно гостиной оставалось широко открытым, — хотя штора по милости судьбы была опущена; и за этим окном сырая чёрная ночь кислой новоанглийской весны, затаив дыхание, подслушивала нашу ссору. Мне всегда думалось, что тип внутренне похабной старой девы, внешне похожей на солёную пикшу, — чисто литературный продукт скрещивания родством связанных лиц в современном американском романе; но теперь я убеждён, что щепетильная и блудливая мисс Восток — или по-настоящему (вскроем это инкогнито) мисс Финтон Лебон — должно быть по крайней мере на три четверти высунулась из окна своей спальни, стараясь уловить суть нашей ссоры.

«Какой кавардак... какой галдёж...», квакала телефонная трубка. «Мы не живём тут в эмигрантском квартале. Этого нельзя никак...»

Я извинился за шум, поднятый дочерними гостями («Знаете — молодёжь...») и на пол-кваке повесил трубку.

Внизу хлопнула дверь. Лолита? Убежала из дому?

В лестничное оконце я увидел, как стремительный маленький призрак скользнул между садовыми кустами; серебристая точка в темноте — ступица велосипедного колеса — дрогнула, двинулась и исчезла.

Так случилось, что автомобиль проводил ночь в ремонтной мастерской на другом конце города. Мне приходилось пешком преследовать крылатую беглянку. Даже теперь, когда ухнуло в вечность больше трёх лет с той поры, я не в силах вообразить эту улицу, эту весеннюю ночь без панического содрогания. Перед освещённым крыльцом их дома мисс Лестер прогуливала старую, разбухшую таксу мисс Фабиан. Как изверг в стивенсоновской сказке, я был готов всех раздавить на своём пути. Надо попеременно: три шага идти медленно, три — бежать. Тепловатый дождь забарабанил по листьям каштанов. На следующем углу, прижав Лолиту к чугунным перилам, смазанный темнотой юноша тискал и целовал её — нет не её, ошибка. С неизрасходованным зудом в когтях, я полетел дальше.

В полумиле от нашего четырнадцатого номера Тэеровская улица спутывается с частным переулком и поперечным бульваром; бульвар ведёт к торговой части города; у первого же молочного бара я увидел — с какой мелодией облегчения! — Лолитин хорошенький велосипед, ожидавший её. Я толкнул, вместо того чтобы

потянуть, дверь, потянул, толкнул опять, потянул и вошёл. Гляди в оба! В десяти шагах от меня, сквозь стеклянную стенку телефонной будки (бог мембраны был всё ещё с нами), Лолита, держа трубку в горсточке и конфиденциально сгорбившись над ней, взглянула на меня прищуренными глазами и отвернулась со своим кладом, после чего торопливо повесила трубку и вышла из будки с пребойким видом.

«Пробовала тебе позвонить домой», беспечно сказала она. «Принято большое решение. Но сперва угости-ка меня кока-колой, папочка».

Сидя у бара, она внимательно следила за тем, как вялая, бледная девушка-сифонщица накладывала лёд в высокий бокал, напускала коричневую жидкость, прибавляла вишнёвого сиропа — и моё сердце разрывалось от любви и тоски. Эта детская кисть! Моя прелестная девочка... У вас прелестная девочка, мистер Гумберт. Мы с Биянкой всегда восхищаемся ею, когда она проходит мимо. Мистер Пим (проходящий мимо в известной трагикомедии) смотрел, как Пиппа (проходящая мимо у Браунинга) всасывает свою нестерпимую смесь. *J'ai toujours admiré l'oeuvre ormonde du sublime Dublinois.*[99] И тем временем дождь превратился в бурный и сладостный ливень.

«Вот что», сказала она, тихо подвигаясь на своём велосипеде подле меня, одной ногой скребя по тёмно-блестящей панели. «Вот что я решила. Хочу переменить школу. Я ненавижу её. Я ненавижу эту пьесу. Честное слово! Уехать и никогда не вернуться. Найдём другую школу. Мы уедем завтра же. Мы опять проделаем длинную поездку. Только на этот раз мы поедem, куда я хочу, хорошо?»

Я кивнул. Моя Лолита.

«Маршрут выбираю я? *C'est entendu?*»[100], спрашивала она, повиливая рядом со мной. Пользовалась французским языком только, когда бывала очень послушной девчоночкой.

«Ладно. *Entendu.* А сейчас гоп-гоп-гоп, Ленора, а то промокнешь» (буря рыданий распирала мне грудь).

Она оскалила зубы и с обольстительной ухваткой школьницы наклонилась вперёд, и умчалась. Птица моя! Холёная рука мисс Лестер держала дверь крыльца приотворённой для переваливавшейся старой собаки *qui prenait son temps*[101].

Лолита ждала меня у призрачной берёзы.

«Я промокла насквозь», заявила она громким голосом. «А ты — доволен? К чорту пьесу! Понимаешь?»

Где-то наверху лапа невидимой ведьмы с грохотом закрыла окно.

Мы вошли к себе в дом; передняя сияла приветственными огнями; Лолита стащила свитер, потрянула бисером усыпанными волосами и, приподняв колено, протянула ко мне оголённые руки.

«Понеси меня наверх, пожалуйста. Я что-то в романтическом настроении».

Физиологам, кстати, может быть небезынтересно узнать, что у меня есть способность — весьма, думается мне, необыкновенная — лить потоки слёз во всё продолжение другой бури.

15

Тормоза подтянули, трубы вычистили, клапаны отшлифовали, и кое-какие другие починки и поправки оплатил не ахти как много смыслящий в механике господин Гумберт, после чего автомобиль покойной госпожи Гумберт оказался в достаточно приличном виде, чтобы предпринять новое путешествие.

Мы обещали Бердслейской гимназии, доброй, старой Бердслейской гимназии, что вернёмся, как только кончится мой голливудский ангажемент (изобретательный Гумберт намекнул, что его приглашают консультантом на съёмку фильма, изображавшего «экзистенциализм» — который в 1949 году считался ещё ходким товаром.) На самом же деле я замышлял тихонько переплюхнуться через границу в Мексику — я осмелел с прошлого года — и там решить, что мне делать дальше с моей маленькой наложницей, рост которой теперь равнялся шестидесяти дюймам, а вес — девяносту английских фунтов. Мы выкопали наши туристические книжки и дорожные карты. С огромным смаком она начертила маршрут. Спрашивалось, не вследствие ли тех сценических ирреальных занятий она переросла своё детское напускное пресыщение и теперь с обстоятельным вниманием стремилась исследовать роскошную действительность? Я испытывал странную лёгкость, свойственную сновидениям, в то бледное, но тёплое воскресное утро, когда мы покинули казавшийся озадаченным кров профессора Хима и покатали по главной улице города, направляясь к четырехленточному шоссе. Летнее, белое в чёрную полоску платье моей возлюбленной, ухарская голубая шапочка, белые носки и коричневые мокасины не совсем гармонировали с большим, красивым камнем — гранёным аквамаринном — на серебряной цепочке, украшавшим её шею: подарок ей от меня — и от весеннего ливня. Когда мы поравнялись с «Новой Гостиницей», она вдруг усмехнулась. «В чём дело?» спросил я. «Дам тебе грош, коль не соврёшь», — и



она немедленно протянула ко мне ладошку, но в этот миг мне пришлось довольно резко затормозить перед красным светофором. Только мы застопорили, подъехала слева и плавно остановилась другая машина, и худая чрезвычайно спортивного вида молодая женщина (где я видел её?) с ярким цветом лица и блестящими медно-красными кудрями до плеч приветствовала Лолиту звонким восклицанием, а затем, обратившись ко мне, необыкновенно жарко, «жанна-дарково» (ага, вспомнил!), крикнула: «Как вам не совестно отрывать Долли от спектакля, вы бы послушали; как автор расхваливал её на репетиции». «Зелёный свет, болван», проговорила Лолита вполголоса, и одновременно, красочно жестикулируя на прощанье многобраслетной рукой, Жанна д'Арк (мы видели её в этой роли на представлении в городском театре) энергично перегнула нас и одним махом повернула на Университетский Проспект.

«Кто именно — Вермонт или Румпельмейер?»

«Нет, это Эдуза Гольд — наша режиссерша».

«Я говорю не о ней. Кто именно сварганил пьесу о твоих Зачарованных Охотниках?»

«А, вот ты о чём. Кто именно? Да какая-то старуха, Клэр что-то такое, кажется. Их была целая куча там».

«И она, значит, похвалила тебя?»

«Не только похвалила — даже лобызнула в лобик — в мой чистый лобик», и цыпка моя испустила тот новый маленький взвизг смеха, которым — может быть, в связи с другими театральными навыками — она с недавних пор любила щеголять.

«Ты пресмешное создание, Лолита», сказал я (передаю мою речь приблизительно). «Само собой разумеется, что меня страшно радует твой отказ от дурацкого спектакля. Но только странно, что ты его бросила всего за неделю до его естественного разрешения. Ах, Лолита, смотри, не сдавайся так легко! Помнится мне, ты отказалась от Рамздэля ради летнего лагеря, а от лагеря ради увеселительной поездки, — и я мог бы привести ещё несколько резких перемен в твоём настроении. Ты у меня смотри. Есть вещи, от которых никогда не следует отказываться. Будь упорнее. Будь немножко нежнее со мной, Лолита. Кроме того, ты слишком много ешь. Объём твоей ляжки не должен, знаешь, превосходить семнадцати с половиной дюймов. Чуточку набавишь, — и всё кончено между нами (я, конечно, шутил). Мы теперь пускаемся в длинное, счастливое путешествие. Я помню...»

16

Я помню, что ребёнком, в Европе, я грезил над картой Северной Америки, на которой «палач», т. е. средняя часть «Аппалачских гор», крупным шрифтом растянулся от Алабамы до Мэна, так что вся обхватываемая область (включая Пенсильванию и Нью-Йорк) являлась моему воображению как исполинская Швейцария или даже Тибет, сплошь горы, чередование дивных алмазных пиков, огромные хвойные деревья, le montagnard ?migr?[102] в великолепной своей медвежьей дохе, и Felis tigris Goldsmithi[103], и краснокожие индейцы под катальпами. Как ужасно, что всё это свелось к мизерному пригородному палисаднику и дымящейся железной корзине для сжигания мусора... Прощай, Аппалачие! Покинув его, мы пересекли Огайо, три штата, начинающихся на «И», и Небраску — ах, это первое дуновение Запада! Мы уехали не спеша, так как у нас была целая неделя, чтобы достичь Уэйс, городок в Скалистых Горах, где ей страстно хотелось посмотреть на Обрядовые Пляски индейцев в день ежегодного открытия Магической Пещеры, и почти три недели, чтобы добраться до Эльфинстона, жемчужины одного из западных штатов, где ей мечталось взобраться на Красный Утёс, с которого одна немолодая звезда экрана не так давно бросилась и убила на смерть после пьяного скандала со своим сутенёром.

Снова нас приветствовали осмотрительные мотели такими обращениями, прибитыми в простенках, как например:

«Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный (подчёркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предупреждения всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчёркнуто) ненужного материала в унитаз. Благодарствуйте. Приезжайте опять. Дирекция. Постскрипtum: Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьями на Свете».

В этих страшных местах две постели стоили нам десять долларов в ночь. Мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась. Прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке, в соседнем номере кто-то во всеуслышание вешал пиджак в гулкой стенной шкаф, вешалки были хитроумно прикручены к перекладине проволокой для предотвращения кражи, и — последнее оскорбление — картины над четой кровати были

идентичными близнецами. Я заметил, между прочим, перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный каравансарай, а там нарастал и второй этажик, между тем как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж, и мотель преспокойно возвращался к образу и подобию доброго старого отеля третьего разряда.

Теперь хочу убедительно попросить читателя не издеваться надо мной и над помутнением моего разума. И ему и мне очень легко задним числом расшифровать сбывшуюся судьбу; но пока она складывается, никакая судьба, поверьте мне, не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намёк. В юности мне даже попался французский рассказ этого рода, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом; но не так действует Мак-Фатум — даже если и распознаешь с испугом некоторые тёмные намёки и знаки.

Например: я не мог бы поклясться, что в одном случае, незадолго до среднезападной части нашей поездки или в самом начале этого этапа, ей не удалось сообщить кое-что неизвестному человеку или неизвестным людям, или же как-то снестись с ним или с ними. Мы только что остановились у бензиновой станции под знаком Пегаса, и выскользнув из машины она исчезла где-то за гаражем, благо поднятый капот, под который я заглянул, следя за манипуляциями механика, скрыл её на мгновение от моего взгляда. Не видя её, но будучи в покладистом настроении, я только покачал доброй головой, хотя, строго говоря, посещение публичных уборных запрещалось совершенно, ибо я инстинктивно чувствовал, что уборные — как и телефоны — представляли собой по непроницаемой для меня причине те острые пункты, за которые ткань моей судьбы имела склонность зацепляться. У каждого есть такие роковые предметы или явления, — в одном случае повторяющийся ландшафт, в другом — цифры, которые боги тщательно подбирают для того, чтобы навлечь значительные для нас события: тут Джон всегда споткнётся; там всегда разобьётся сердце Дженни.

Итак, машину мою обслужили, и я отъехал от бензоколонок, чтобы дать место развозному грузовичку — и тут растущий объём её отсутствия начал томить меня в серой пустоте ветреного дня. Не в первый раз и не в последний глядел я с таким тусклым беспокойством на неподвижные мелочи, которые как будто дивятся (вроде деревенских зевак), что попали в поле зрения замешкавшегося путешественника: это тёмно-зелёное ведро для отбросов, эти густо-чёрные с белым боком шины на продажу, эти жёлтые жестянки с машинным маслом, этот румяный холодильник с разнообразными напитками, эти четыре, пять... семь пустых бутылок в деревянных клетках ящика, видом своим напоминавшего не совсем заполненную крестословицу, это насекомое, терпеливо поднимающееся по внутренней стороне окна в ремонтной конторе... Радиомызыка доносилась из её открытой двери, и оттого что ритм не был синхронизирован с колыханием и другими движениями ветром оживлённой растительности, — получалось впечатление старого видового фильма, который живёт собственной жизнью, меж тем как пианино или скрипка следует музыкальной линии, находящейся вне сферы вздрагивающего цветка или качающейся ветки. Отзвук последних рыданий Шарлотты нелепым образом пронзил меня, когда, в платье, зыблющемся не в лад с музыкой, Лолита выбежала с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что клозет был занят и она перешла через поперечную улицу к следующему гаражу — под знаком Раковины. Там надпись гласила: «Мы гордимся нашими туалетными комнатами, столь же чистыми, как у вас дома. Открытки с уже наклеенными марками приготовлены для ваших комментариев». Но уборная была без открыток, без мыла, без чего бы то ни было. Без комментариев.

В тот день или на следующий, после довольно скучного пути мимо участков сплошь засеянной земли, мы докатились до очаровательного городка Касбим и при въезде в него остановились на ночь в мотеле «Каштановый Двор»: приятные домики, сочный газон, каштаны, яблони, старые качели — и великолепный закат, на который усталое дитя даже не посмотрело. Ей хотелось проехать через Касбим, потому что он был всего в тридцати милях к северу от её родного города, но на другое утро она как будто потеряла всякий интерес к тому, чтобы взглянуть на тротуар, где играла в классы пять лет тому назад. По очевидным причинам я побаивался этой побочной поездки, хотя мы и согласились с ней не обращать на себя внимание — не выходить из машины и не посещать старых её друзей. Поэтому меня порадовало, что она отставила свой проект, но моё облегчение нарушала мысль, что если бы она чувствовала, что я в прежнем, прошлогоднем ужасе от ностальгических возможностей Писки, то так легко она бы от него не отказалась. Когда я упомянул об этом со вздохом, она вздохнула тоже и жалобно сказала, что «кисло» себя чувствует — а потому предложила, что останется в постели с кучей иллюстрированных журналов, а что после ленча, если ей станет лучше, поедет дальше, уже прямо на запад. Должен сказать, что она была очень нежна и томна и что ей «безумно хотелось» свежих фруктов, так что я решил отправиться в центр Касбима за какой-нибудь вкусной пикниковой снедью.

Наш крохотный коттедж стоял на лесистой вершине холма: из окошка виднелась дорога, извивами спускавшаяся вниз и затем тянувшаяся прямой, как пробор, чертой между двумя рядами каштанов к прелестному городку, который казался удивительно отчётливым и игрушечным в чистой утренней дали; можно было разглядеть эльфоподобную девочку на стрекозоподобном велосипеде и рядом непропорционально крупную собаку — всё это так ясно-ясно, вроде тех паломников и мулов, которых видишь поднимающимися по извилистым, бледным как воск, дорогам на старых картинах с синеватыми холмами и маленькими красными людьми. У меня европейский позыв к пешему передвижению, когда можно обойтись без автомобиля, и посему я не торопясь стал спускаться по дороге и через некоторое время встретил обещанную велосипедистку — оказавшуюся, впрочем, некрасивой, пухлявой девочкой с косичками — в сопровождении величественного сенбернара с глазами, как громадные бархатные фиалки. В Касбиме очень старый парикмахер очень плохо постриг меня: он всё болтал о каком-то своём сыне-бейсболисте и при каждой губной согласной плевал мне в шею. Время от времени он вытирал очки об моё покрывало или прерывал работу дряхло-стрекотавших ножниц, чтобы продемонстрировать пожелтевшие газетные вырезки; я обращал на это так мало внимания, что меня просто потрясло, когда он наконец указал на обрамлённую фотографию посреди старых посеревших бутылочек, и я понял, что изображённый на ней усатый молодой спортсмен вот уже тридцать лет как помер. Я выпил чашку кофе, горячего и безвкусного, купил гроздь бананов для моей обезьянки и провёл ещё минут десять в гастрономическом магазине. Прошло всего часа полтора, — и вот крохотный пилигрим Гум-гум появился опять на дороге, ведущей назад к «Каштановому Двору».

Девочка, виденная мной по пути в город, теперь исчезала под грузом белья, помогая убирать кабинки кривому мужлану, чья большая голова и грубые черты напомнили мне так называемого «бертольда», один из типов итальянского балагана. Было на нашем «Каштановом Кряже» с дюжину этих домиков, просторно и приятно расположенных среди обильной зелени. Сейчас, в полдень, большинство из них, под финальный стук своих упругих, самозахлопывающихся дверей, уже отделались от постояльцев. Древняя, совсем высохшая от старости, чета в автомобиле совсем новой конструкции осторожно выползла из одного из смежных с каждым коттеджем маленьких гаражей; из другого такого же гаражика довольно непристойно торчал красный перёд спортивной машины; а поближе к нашему коттеджу красивый, крепко сложенный молодой человек с чёрным коком и синими глазами укладывал в шарабанный автомобиль портативный холодильник. Почему-то он посмотрел на меня с неуверенной ухмылкой. Насупротив, посреди газона, под ветвистой сенью пышных деревьев, уже знакомый мне сенбернар сторожил велосипед своей хозяйки, а рядом молодая женщина, на сносках, посадив оцепеневшего от блаженства младенца на качели, тихо качала его, меж тем как ревнивый ребёнок лет двух или трёх всё мешал ей, стараясь толкнуть или потянуть доску качелей; кончилось тем, что доска сбила его с ног, и он заревел, лёжа навзничь на мураве, а мать продолжала нежно улыбаться ни тому ни другому из рождённых уже детей. Я припоминаю так ясно эти мелкие подробности потому, вероятно, что мне пришлось так основательно проверить свои впечатления несколько мгновений спустя; да и кроме того, что-то внутри меня оставалось начеку с самого того ужасного вечера в Бердслее. Я теперь не давал отвлечь себя приятному самочувствию, вызванному прогулкой, — ветерку раннего лета, овевающему мне затылок, пружинистому скрипу сырого гравия под ногой, лакомому кусочку, высосанному наконец из дуплистого зуба и даже комфортабельной тяжести покупок, которые, впрочем, мне не полагалось бы носить ввиду состояния сердца; но даже несчастный этот насос мой работал, казалось, ровно, и я почувствовал себя *adoloti d'amoureuse langueur* [104], когда наконец добрёл до коттеджа, где я оставил мою Долорес.

К удивлению моему я нашёл её одетой. Она сидела на краю постели в синих холщевых брючках и вчерашней майке и глядела на меня, точно не совсем узнавала. Мягкий очерк её маленьких грудей был откровенно подчеркнут, скорее чем скраден, мягостью трикотажной ткани, и эта откровенность сразу раздражила меня. Она ещё не купалась; однако успела покрасить губы, замазав каким-то образом свои широкие передние зубы — они лоснились, как вином облитая слоновая кость или розоватые покерные фишки. И вот, она так сидела, уронив на колени сплетённые руки, вся насыщенная чем-то ярким и дьявольским, не имевшим ровно никакого отношения ко мне.

Я положил на стол свой тяжёлый бумажный мешок и несколько секунд стоял, переходя взглядом с её сандалий и голых лодыжек на блаженно-глупое её лицо и обратно к этим грешным ножкам.

«Ты выходила», сказал я (сандалии грязно облипли гравием).

«Я только что встала», ответила она и добавила (перехватив мой книзу направленный взгляд): «Я на минуточку вышла — хотела посмотреть, идёшь ли ты».

Почуяла бананы и раскрутила тело по направлению к столу.

Мог ли я подозревать что-либо определённое? Конечно, не мог, но — эти мутные, мечтательные глаза, это странное исходившее от неё тепло... Я ничего не сказал, только посмотрел на дорогу, так отчётливо вившуюся в раме окна: всякий, кто захотел бы злоупотребить моим доверием, нашёл бы в этом окне отличнейший наблюдательный пункт. С разыгравшимся аппетитом Лолиточка принялась за фрукты. Вдруг мне вспомнилась подобострастная ухмылка типа из соседнего коттеджа. Я выскочил во двор. Все автомобили отбыли, кроме его шарабана; туда влезла его брюхатая молодая жена со своим младенцем и другим, более или менее отменным ребёнком.

«В чём дело, куда ты пошёл?» закричала Лолита с крыльца.

Я ничего не сказал. Я втокнул её, такую мягонькую, обратно в комнату и последовал за ней. Я сорвал с неё майку. Под треск застёжки-молнии я содрал остальное. Я мигом разул её. Неистово я стал преследовать тень её измены; но горячий след, по которому я нёсся, слишком был слаб, чтобы можно было его отличить от фантазии сумасшедшего.

17

Толстяк Гастон, будучи полон вычур, любил делать подарки — подарки чуть-чуть тоже вычурные или по крайней мере необыкновенные, на его вычурный вкус. Заметив однажды, что сломался мой ящик с шахматами, он на другое же утро прислал мне, с одним из своих катамитиков, медный ларец: по всей крышке его шёл сложный восточный узор, и он весьма надёжно запирался на ключ. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы узнать в нём дешёвую шкатулку для денег, зовущуюся почему-то «луизетта», которую мимоходом покупаешь где-нибудь в Малаге или Алжире и с которой потом не знаешь, что делать. Шкатулка оказалась слишком плоской для моих громоздких шахмат, но я её сохранил — для совершенно другого назначения.

Желая разорвать сеть судьбы, которая, как я смутно чувствовал, опутывала меня, я решил (несмотря на нескрываемую досаду Лолиты) провести лишнюю ночь в «Каштановых Коттеджах». Окончательно уже проснувшись в четыре часа утра, я удостоверился, что девочка ещё спит (раскрыв рот, как будто скучно дивясь нелепой до странности жизни, которую мы все построили кое-как для неё) и что драгоценное содержание «луизетты» в сохранности. Там, уютно закутанный в белый шерстяной шарф, лежал карманный пистолет: калибр — ноль тридцать два, вместимость — восемь патронов, длина — около одной девятой роста Лолиты, рукоятка — ореховая в клетку, стальная отделка — сплошь воронёная. Я его унаследовал от покойного Гарольда Гейза вместе с каталогом, где в одном месте, с беззаботной безграмотностью, объявлялось: «так же хорошо применим в отношении к дому и автомобилю, как и к персоне». Он лежал в ящике, готовый быть немедленно применённым к персоне или персонам; курок был полностью взведён, но «скользящий запор» был на предохранителе во избежание произвольного спуска. Не следует забывать, что пистолет есть фрейдистический символ центральной праотцовской конечности.

Меня теперь радовало, что он у меня с собой, — и особенно радовало то, что я научился им пользоваться два года тому назад, в сосновом бору около моего и Шарлоттинового, похожего на песочные часы, озера. Фарло, с которым я ходил по этому глухому лесу, стрелял превосходно: ему удалось попасть из кольта в колибри, хотя нужно сказать, что в смысле трофея осталось от птички немного — всего лишь щепотка радужного пуха.

Дородный экс-полицейский, по фамилии Крестовский, который в двадцатых годах ловко застрелил двух беглых арестантов, однажды присоединился к нам и пополнил ягдташ миниатюрным дятлом — кстати, убитым им в такое время года, когда охота совершенно запрещена. По сравнению с этими заправскими стрелками я, конечно, был новичок и всё промахивался, но зато в другой раз, когда я ходил один, мне посчастливилось ранить белку. «Лежи, лежи», шепнул я моему портативно-компактному другу и выпил за его здоровье глоток джинанаса.

18

Читатель должен теперь забыть Каштаны и Кольты, чтобы последовать за нами дальше на запад. Ближайшие дни были отмечены рядом сильных гроз — или, может быть, одна и та же гроза продвигалась через всю страну грузными лягушечьими скачками, и мы так же неспособны были её отряхнуть, как сыщика Траппа: ибо именно в эти дни передо мной предстала загадка Ацтеково-Красного Яка с откидным верхом, совершенно заслонившая собой тему Лолитиных любовников.

Любопытно! Я, который ревновал её к каждому встречному мальчишке, — любопытно, до чего я неверно истолковал указания рока! Возможно, что за зиму мою бдительность усыпило скромное поведение Лолиты; и во

всяком случае даже сумасшедший вряд ли был бы так глуп, чтобы предположить, что какой-то Гумберт Второй жадно гонится за Гумбертом Первым и его нимфеткой под аккомпанемент зевесовых потешных огней, через великие и весьма непривлекательные равнины. У меня поэтому явилась догадка, что вишнёвый Як, пребывавший милю за милей на дискретном расстоянии от нас, управляем был сыщиком, которого какой-то досужий хлопотун нанял с целью установить, что именно делает Гумберт Гумберт со своей малолетней падчерицей. Как бывает со мной в периоды электрических волнений в атмосфере и потрескивающих молний, меня томили галлюцинации. Допускаю, что это было нечто посущественнее галлюцинаций. Мне неизвестно, какой дурман однажды положили она или он в мой джин, но он плохо подействовал, и ночью я ясно услышал лёгкий стук в дверь коттеджа; я распахнул её и одновременно заметил, что я совершенно гол и что на пороге стоит, бледно мерца в пропитанном дождём мраке, человек, державший перед лицом маску, изображающую Чина, гротескного детектива с выдающимся подбородком, приключения которого печатались в комиксах. Он издал глухой хохоток и улепетнул; я же, шатаясь, вернулся к постели и тотчас заснул опять, — и как ни странно, мне до сих пор не ясно, была ли это действительность или дурманом вызванное видение. Впрочем, я с тех пор досконально изучил особый юмор Траппа, и это мне представляется довольно правдоподобным его образцом. О, как это было грубо задумано и вконец безжалостно! Какой-то коммерсант, полагаю, зарабатывал на том, что продавал эти маски ходких чудищ и оболтусов. Ведь заметил же я на другой день, как два мальчугана рылись в мусорном ящике и примеряли личину Чина? Совпадение? Результат метеорологических условий?

Будучи убийцей, наделённым потрясающей, но неровной, норовистой памятью, не могу вам сказать, милостивые государыни и государи, с какого именно дня я уже знал достоверно, что за нами следует вишнёвый Як с откидным верхом. Зато помню тот первый раз, когда я совсем ясно увидел его водителя. Как-то под вечер я медленно ехал сквозь струившийся ливень, всё время видя красный призрак, который расплывался и трепетал от сладострастия у меня в боковом зеркальце. Но вот шумный потоп полегчал, застучал дробно, а там и вовсе пресёкся. Прорвавшись сквозь облака, ослепительное солнце прохлестнуло по всему шоссе; мне захотелось купить чёрные очки, и я остановился у бензозаправочного пункта. То, что происходило, казалось мне болезнью, злокачественной опухолью, против которой ничего нельзя было сделать, а потому я решил попросту игнорировать нашего хладнокровного преследователя, который, в закрытом виде, остановился немного позади нас, у какого-то кафе или бара с идиотской вывеской: «ТУРНИОРЫ», а пониже: «Протанцуйте тур с Ньюрой». Машину мою напоили, и я отправился в контору, чтобы купить очки и заплатить за бензин. Подписывая «путевой» чек, я попытался сообразить, в каком месте нахожусь, и случайно взглянул в окно. Там я увидел нечто ужасное. Мужчина с широкой спиной, лысоватый, в бежевом спортивном пиджаке и темнокоричневых штанах, слушал, что сообщает ему Лолита, которая, высунувшись из нашего автомобиля, говорила очень скоро и при этом махала вверх и вниз рукой с растопыренными пальцами, как бывало, когда дело шло о чём-то очень серьёзном и неотложном. Меня особенно поразила — поразила с мучительной силой — какая-то речистая свобода её обращения, которую мне трудно описать, но это было так, словно они знали друг дружку давно, — больше месяца, что ли. Затем я увидел, как он почесал щёку, кивнул, повернулся и пошёл обратно к своей машине — широкого сложения, довольно коренастый мужчина моих лет, несколько похожий на покойного Густава Траппа, швейцарского кузена моего отца, с таким же, как у дяди Густава, ровно загорелым лицом, более округлым, чем моё, подстриженными тёмными усиками и дегенеративным ртом в виде розового бутончика. Лолита изучала дорожную карту, когда я вернулся к автомобилю.

«О чём спрашивал тебя этот хам, Лолита?»

«Какой хам? Ах — тот. Ах, да. Ах, не знаю. Спрашивал, есть ли у меня карта. Заблудился, верно».

Мы поехали дальше, и я сказал:

«Теперь послушай, Лолита. Не знаю, лжёшь ли ты или нет, и не знаю, сошла ли ты или нет с ума, и мне это всё равно в данную минуту; но этот господин ехал за нами весь день, и я вчера видел его машину у нас на постоялом дворе, и я подозреваю, что он полицейский агент. Тебе хорошо известно, что случится и куда пошлют тебя, если полиция пронюхает что-либо. А теперь скажи абсолютно точно, что он сказал, и что ты сказала ему».

Она засмеялась.

«Если он действительно полицейский», ответила она пронзительно крикливо, но довольно разумно, «то глупее всего было бы показать ему, что мы испугались. Игнорируй его, папаша».

«Он спросил тебя, куда мы едем?»

«Ну, уж это он сам знает!» (издевательский ответ).

«Во всяком случае», сказал я, сдаваясь, «я теперь рассмотрел его рожу. Красотой он не отличается. Между

прочим он удивительно похож на одного моего двоюродного дядю, по фамилии Трапп».

«Может быть, он и есть Трапп. На твоём месте я бы — ах, смотри, все девятки превращаются в следующую тысячу. Когда я была совсем маленькая», неожиданно добавила она, указывая на одометр, «я была уверена, что нули останутся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход».

Впервые, кажется, она так непосредственно припоминала своё догумбертское детство; возможно, что сцена научила её таким репликам. В полном молчании мы продолжали катиться. Погоня исчезла.

Но уже на другой день, как боль рокового недуга, которая возвращается по мере того, как слабеют и морфий и надежда, он опять появился за нами, этот гладкий красный зверь. Проезжих на шоссе было в тот день мало; никто никого не обгонял; и никто не пытался втиснуться между нашей скромной синенькой машиной и её властительной красной тенью: весельчак чародей, точно заморозил интервал, установив зону, самая точность и устойчивость которой таили в себе нечто хрустальное и почти художественное. Наш преследователь, с этими набитыми ватой плечами и дядюшкиными усиками, напоминал манекен в витрине, его автомобиль двигался, казалось, только потому, что невидимый и неслышный шелковистый канат соединяет его с нашим убогим седанчиком. Мы были во много раз слабее его роскошно-лакированного Яка, так что даже и не старались ускользнуть от него. *E lente currite, noctis equi!* О тихо бегите, ночные драконы! Мы брали длительно-крутой подъём и катились опять под гору. Мы слушались указаний дозволенной скорости. Мы давали возможность перейти — в следующий класс — детям. Мы плавными мановениями руля воспроизводили чёрные загогулины на жёлтых щитах, предупреждающие о повороте; и где бы мы ни проезжали, зачарованный интервал продолжал, не меняясь, скользить за нами математическим миражем, шоссевым дубликатом волшебного ковра. И всё время я чувствовал некий маленький индивидуальный пожар справа от меня: её ликующий глаз, её пылающую щеку.

Руководивший движением полицейский, в аду так и сяк скрещивающихся улиц, в четыре тридцать дня, у въезда в фабричный город, оказался той дланью судьбы, которая рассеяла наваждение. Он поманил меня, приказывая двинуться, и затем той же рукой отрезал путь моей тени. Длинная череда автомобилей тронулась и поехала по поперечной улице, между Яком и мной. Я далёко вынесся — и затем ловко свернул в боковой переулок.

Воробей снизился с большущей крошкой хлеба, был атакован другим и потерял крошку.

Когда после нескольких мрачных остановок и умышленных петель я вернулся на шоссе, моей тени нигде не было видно.

Лолита презрительно фыркнула и сказала: «Если он — сыщик, как было глупо улизнуть от него».

«Мне теперь положение представляется в другом свете», ответил я.

«Ты проверил бы своё... светопредставление... если бы остался в контакте с ним, мой драгоценный папаша», проговорила Лолита, извиваясь в кольцах собственного сарказма. «Какой ты всё-таки подлый», добавила она обыкновенным голосом.

Мы провели угрюмую ночь в прегадком мотеле под широкошумным дождём и при прямо-таки допотопных раскатах грома, беспрестанно грохотавшего над нами.

«Я не дама и не люблю молнии», странно выразилась Лолита, прильнувшая ко мне, увы, только потому, что болезненно боялась гроз.

Утренний завтрак мы ели в городе Ана, нас. 1001 чел.

«Судя по единице», заметил я, «наш толстомордик уже тут как тут».

«Твой юмор», сказала Лолита, «положительно уморителен, драгоценный папаша».

К этому времени мы уже доехали до полынной степи, и я был награждён деньком-другим прекрасного умиротворения (дурак, говорил я себе, ведь всё хорошо, эта тяжесть зависела просто от застрявших газов); и вскоре прямоугольные возвышенности уступили место настоящим горам, и в должный срок мы въехали в городок Уэйс.

Вот так беда! Какая-то произошла путаница, она в своё время плохо прочла дату в путеводителе, и Пляски в Волшебной Пещере давно кончились! Она, впрочем, приняла это стойко, — и когда оказалось, что в курортноватом Уэйсе имеется летний театр и что гастрольный сезон в разгаре, нас естественно понесло туда — в один прекрасный вечер в середине июня.

Право, не могу рассказать вам сюжет пьесы, которой нас угостили. Что-то весьма пустяковое, с претенциозными световыми эффектами, изображавшими молнию, и посредственной актрисой в главной роли. Единственной понравившейся мне деталью была гирлянда из семи маленьких граций, более или менее застывших на сцене — семь одурманенных, прелестно подкрашенных, голоруких, голоногих девочек школьного возраста, в цветной кисее, которых завербовали на месте (судя по вспышкам пристрастного волнения там и сям

в зале): им полагалось изображать живую радугу, которая стояла на протяжении всего последнего действия и, довольно дразнящим образом, понемногу таяла за множеством последовательных вуалей. Я подумал, помню, что эту идею «радуги из детей» Клэр Куильти и Вивиан Дамор-Блок стащили у Джойса, — а также помню, что два цвета этой радуги были представлены мучительно-обаятельными существами: оранжевое не переставая ёрзало на озарённой сцене, а изумрудное, через минуту приглядевшись к чёрной тьме зрительного зала, где мы, косные, сидели, вдруг улыбнулось матери или покровителю.

Как только кончилось, и кругом грянули рукоплескания (звук, невыносимо действующий на мои нервы), я принялся тянуть и толкать Лолиту к выходу, ибо мне не терпелось поскорее разрешить моё вполне понятное любовное возбуждение в надёжной тишине нашего неоновго-голубого коттеджа под звёздами изумлённой ночи: я всегда утверждаю, что природу изумляет то, что ей приходится подглядывать в окно. Лолита, однако, замешкалась, в розовом оцепенении сузив довольные глаза; зрение настолько поглотило в ней все другие чувства, что её безвольные руки едва сходились ладонями, хотя она машинально продолжала аплодировать. Мне и раньше случалось наблюдать у детей экстаз такого рода, но этот был, чёрт возьми, совсем особенный ребёнок, близоруко направивший сияющий взор на далёкую рампу — у которой я мельком заметил обоих авторов пьесы, или вернее только их общие очертания: мужчину в смокинге и необыкновенно высокую брюнетку с обнажёнными плечами и ястребиным профилем.

«Ты опять, грубый скот, повредил мне кисть», проговорила тоненьким голосом Лолита, садясь в автомобиль рядом со мной.

«Ах, прости меня, моя душка — моя ультрафиолетовая душка», сказал я, тщетно пытаюсь схватить её за локоть: и я добавил, желая переменить разговор — переменить прицел судьбы, Боже мой, Боже мой: «Вивиан — очень интересная дама. Я почти уверен, что мы её видели вчера, когда обедали в Ананасе».

«Иногда, ты просто отвратительно туп», сказала Лолита. «Во-первых, Вивиан — автор; авторша — это Клэр; во-вторых, ей сорок лет, она замужем, и у неё негритянская кровь».

«А я-то думал» продолжал я, нежно подшучивая над ней, «я-то думал, что Куильти твоя бывшая пассия — помнишь, о нём говорилось в милом Рамздэле, в те дни, когда ты любила меня?»

«Что?», возразила Лолита, напряжённо гримасничая. «Рамздэльский старый дантист? Ты меня, верно, путаешь с какой-нибудь другой лёгкой на передок штучкой».

И я подумал про себя, как эти штучки всё, всё забывают, меж тем как мы, старые поклонники их, трясёмся над каждым заветным вершком их нимфетства...

19

С Лолитиною ведома и одобрения я перед отъездом велел бердслейскому почтмейстеру посылать наши письма до востребования сначала в Уэйс, а после пятнадцатого июня в Эльфинстон. На другое утро мы посетили Уэйский почтамт, где нам пришлось ждать в коротком, но медленном хвосте. Безмятежная Лолита стала изучать фотографии мошенников, выставленные в простенке. Красавец Анатолий Брянский, он же Антони Бриан, он же Тони Браун, глаза — карие, цвет лица — бледный, разыскивался полицией по обвинению в похищении дитяти. *Faux pas* [105] пожилого господина с грустными глазами состояло в том, что он обжулил почтовое ведомство, а кроме того — точно этого не было достаточно, — он страдал неизлечимой деформацией ступнёй. Насупленный Сулливан подавался с предупреждением: вероятно, вооружён и должен считаться чрезвычайно опасным. Если вы хотите сделать из моей книги фильм, предлагаю такой трюк: пока я рассматриваю эти физиономии, одна из них тихонько превращается в моё лицо. А ещё был залапанный снимок Пропавшей Девочки: четырнадцать лет, юбка в клетку и, в рифму, берет, обращаться к шерифу Фишеру, Фишерифу, Фишерифу.

Не помню писем, адресованных ко мне; что же касается Долли, пришёл её школьный отзыв, а кроме того — ей было письмо в очень необычном, очень длинном конверте. Я это письмо без колебаний вскрыл и с ним ознакомился. Заметив, однако, с каким равнодушием девочка отвернулась и двинулась к газетному киоску у выхода, я заключил, что мои действия хорошо ею предусмотрены.

«Долли-Ло! Ну вот — пьеса прошла с огромным успехом. Все три пса лежали спокойно — им, по-видимому, впрыснула кое-чего наша милая докторша. Линда, заменившая тебя, знала роль назубок, играла прекрасно, совмещая живость с выдержкой, но напрасно мы в ней искали бы твою отзывчивость, твоё непринуждённое воодушевление, прелесть моей — и авторской — Дианы; впрочем, автор на этот раз не пришёл аплодировать нам, а невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный „гром за сценой“. Ах, Боже мой, как летит жизнь. Теперь, когда всё кончилось — школа, спектакль, моя история с Роем, беременность мамы (увы,

ребёночек долго не прожил), — всё это кажется таким давнишним, хотя на самом деле я ещё чувствую щекотку грима на лице.

После завтрака меня увозят в Нью-Йорк, и вряд ли мне удастся так устроиться, чтобы не ехать с родителями в Европу. У меня есть ещё худшая новость для тебя, Долли-Ло! Не знаю, вернёшься ли ты в Бердслей, но если вернёшься, меня, может быть, там не будет. Об одном моём романе ты знаешь, о другом ты только думаешь, что знаешь, — но как бы то ни было, мой отец вмешался и хочет, чтобы я поехала учиться в Париж на один год, пока он сам будет там, благо я удостоилась фульбрайтовской стипендии.

Как и ожидалось, бедный ПОЭТ сбился в третьей сцене, в том месте где я всегда спотыкалась — на этих глупых стихах. Помнишь?

Пусть скажет озеро любовнику Химены,  
Что предпочесть: тоску иль тишь и гладь измены.

Я тут подчеркнула спотычки. Завидная тишь!

Ну, веди себя хорошо, девчоночка! Твой поэт шлёт сердечнейший привет тебе и почтительный привет твоему батюшке.

Твоя Мона.Р. S. Из-за тех дел, которые я наделала и в которые мой отец вмешался, так получилось, что моя корреспонденция строго контролируется. Поэтому подожди с ответом, пока я не напишу тебе из Европы». Этого она, по-видимому, никогда не сделала. Тем лучше. Её письмо заключало в себе какие-то мерзкие намёки, в которых теперь мне слишком тяжело разбираться. Я его нашёл спустя много времени между страницами одного из наших путеводителей и цитирую его здесь просто в качестве документации. Я его прочитал дважды. Подняв голову, я намеревался — Вот тебе на — нет Дианы! Пока я пребывал под чарами Моны, Лолита пожалала плечами и пропала. «Вы случайно не заметили...» обратился я к горбуну, который подметал пол у выхода. Конечно, заметил. Старый блудник. По его догадке, она кого-то увидела снаружи и выскочила. Я выскочил тоже. Остановился на панели, но её там не оказалось. Побежал дальше. Опять стал. И так — стряслось. Исчезла навеки.

В последующие годы я часто спрашивал себя, почему она действительно не исчезла навеки в этот день. Послужил ли удерживающей силой её новый летний гардероб, находившийся у меня в запортом автомобиле? Или, может быть, не созрела какая-либо частица общего плана? Или ещё проще: как-никак я мог ещё пригодиться для доставки в Эльфинстон (он-то и был тайным конечным пунктом). В ту минуту, однако, я, помнится, не сомневался в том, что она покинула меня навсегда. Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, полукругом охватывающие город, как будто кишели часто дышащими, карабкающимися, спотыкающимися, смеющимися, всё чаще дышащими Лолитами, которые растворялись в лёгком тумане. Громадная начальная буква города, составленная из белых камней на крутом скате, казалась инициалом моего ужаса. Новое, прекрасное здание почтамта, из которого я только что выбежал, стояло между ещё не проснувшимся кинематографом и заговорщицкой группой тополей. Было девять часов утра — по времени горной зоны. Улица называлась Главной. Я шагал по синей её стороне, вглядываясь в противоположную: её уже околдовало и украшало одно из тех хрупких утр в начале лета, в которых есть и вспышки стекла там и сям и что-то вроде общего колебания и почти обморочного изнеможения перед перспективой невыносимо знойного полдня. Перейдя улицу, я стал бродить и как бы перелистывать вывески длинного ряда домов: Аптека, Недвижимое Имуущество, Моды, Автомобильные части, Кафэ, Спортивные Товары, Недвижимое Имуущество, Мебель, Электроприборы, Телеграф, Красильня, Бакалейная. Ах, патрульщик, патрульщик, моя дочка сбежала... Сговорившись с сыщиком! Влюбившись в шантажиста! Воспользовавшись моей полной беспомощностью! Я обсуждал про себя вопрос, не заговорить ли с одним из немногих пешеходов. Отказался от этой мысли. Посидел в запаркованном автомобиле. Пошёл осматривать городской сад на теневой стороне. Вернулся к Модам и Автомобильным Частям. Сказал себе, с яростным взрывом сарказма — un ricanement[106] — что надо быть сумасшедшим, чтобы её в чём-либо подозревать, что она вот-вот появится...

Появилась.

Я круто повернулся и стряхнул с обшлага руку, которую она на него положила с робкой и глупой улыбкой.

«Садись в машину», сказал я.

Послушалась; я же продолжал ходить взад и вперёд по тротуару, борясь с невыразимыми мыслями и пытаюсь найти какой-нибудь способ подступиться к изменнице.

Немного погодя, она вышла из автомобиля и присоединилась ко мне. Прислушиваясь, сквозь муть, я постепенно настроил приёмник Эл-О. По-видимому, она объясняла мне, что повстречала знакомую девочку.

«В самом деле? Кого же именно?»



«Девочку из Бердслея».

«Отлично. Я знаю имена всех твоих одноклассниц. Начнём сначала: Алиса Адамс?»

«Нет — не из моего класса».

«Отлично. У меня есть с собой полный список учениц твоей школы. Имя, пожалуйста».

«Она не училась у нас. Просто жила в городе».

«Отлично. Я захватил и бердслейскую адресную книгу. Мы в ней найдём всех Браунов и Смитов».

«Я знаю только её первое имя».

«Мари или Дженни?»

«Нет — Долли, как я».

«Значит, тупик (зеркало, о которое разбиваешь нос). Отлично. Попробуем теперь иначе. Ты отсутствовала двадцать восемь минут. Что делали обе Долли?»

«Мы зашли в молочный бар».

«И вы заказали там?..»

«Ах, просто по кока-коле».

«Смотри, Долли! Мы, знаешь, можем это проверить».

«Во всяком случае, она выпила кока-колы, а я — стакан воды!»

«Отлично. Это вон там, что ли?»

«Ну, да».

«Отлично. Пойдём. Мы допросим сифонщика».

«Погоди секундочку. Я не уверена, это, может быть, было чуточку дальше — как раз за углом».

«Всё равно, зайдём покамест сюда. Входи, пожалуйста. Теперь посмотрим (я раскрыл телефонную книгу, прикрепленную цепью к попитру). Хорошо-с. Благородное похоронное бюро. Нет, рано. Ах, вот: Аптеки и молочные бары: один в Горном Переулке, а другой — вот этот, аптечный магазин Ларкина, и ещё два. И это всё, что Уэйс, или по крайней мере его торговый квартал, может нам предложить в смысле газированных вод и мороженого. Что же, нам придётся посетить их все».

«Пойди к чорту!», сказала она.

«Грубость, цыпка, тебе не поможет».

«Ладно», сказала она. «Но ты не смеешь меня загонять в ловушку. Ладно — пускай будет по-твоему, мы никуда не заходили. Мы просто беседовали и смотрели на платья в витринах».

«В каких витринах? Вот в этой?»

«Да, хотя бы в этой».

«Ах, Лолита! Взгляни-ка поближе». Зрелище было действительно мало привлекательное. Щеголеватый молодой прикащик чистил пылесосом что-то вроде ковра, на котором стояли две фигуры, имевшие такой вид, будто они только что пострадали от взрыва. Одна из них была совершенно нагая, без парика и без рук. Судя по её сравнительно небольшой величине и манерно-игривой позе, можно было предположить, что в одетом виде она изображала, и ещё будет изображать, девочку Лолитинога роста. В теперешнем виде, однако, она не имела определённого пола. Рядом с нею стояла более высокая фигура — невеста в фате, совершенно законченная и, как говорится, целая, если не считать отсутствия одной руки. На полу, у ног девицы, там, где старательно ползал приказчик со своим инструментом, лежали три тонких голых руки и белокурый парик. Две из этих рук случайно соединились в изогнутом положении, напоминая ужасный жест отчаяния и мольбы.

«Гляди, Лолита», сказал я спокойно. «Гляди хорошенько. Разве это не превосходный символ какой-то невероятной беды? Впрочем (продолжал я, садясь в автомобиль), я принял кое-какие меры предосторожности. Вот здесь у меня (я открыл отделенье для перчаток), на этом маленьком блокноте, записан автомобильный номер нашего милого дружка».

Я по глупости не потрудился запечатлеть номер в памяти. Помнил только начальную литеру и конечное число, словно весь ряд недостающих цифр ушёл от меня полукругом, оставаясь обращённым вогнутостью ко мне за цветным стеклом, недостаточно прозрачным, чтобы можно было разобрать что-либо из серии, кроме её крайних знаков, латинского Р и шестёрки. Мне приходится вдаваться в эти детали (которые сами по себе могут заинтересовать только профессионала-психолога), ибо иначе мой читатель (ах, если бы я мог вообразить его в виде светлородного эрудита, посасывающего розовыми губами *la pomme de sa canne*[107] и упивающегося моим манускриптом!) мог бы не оценить полностью всю силу потрясения, которое я испытал, заметив что буква Р, словно надев турнюр, превратилась в В, а шестёрка оказалась совершенно стёртой. Центральная же часть, которую я всё равно не помнил, носила следы торопливо прошедшей карандашной резинки: цифры были

замазаны, другие заново написаны детской рукой, так что весь ряд представлял собой какую-то спутанную колючую проволоку, не поддававшуюся логическому толкованию. Единственное, что я знал, было то, что мне говорила запомнившаяся лигера: мой враг был из штата, смежного с тем, где находился Бердслей.

Я ничего не сказал. Я сунул блокнот обратно в отделение, захлопнул крышку, и мы выехали из Уэйса. Лолита, меж тем, схватила с заднего сиденья новые комиксы и в белой своей блузке, зыблемой ветром, выставив за окно правый коричневый локоть, углубилась в приключения очередного болвана. Отъехав мили на четыре от Уэйса, я свернул в пёструю тень площадки для пикников, где утро свалило свой солнечный сор на пустой стол; Лолита, оторвав взгляд от журнальчика, посмотрела на меня с полуулыбкой удивления, и ни слова не говоря, я наотмашь дал ей здоровенную плюху, смачно пришедшуюся на её тёплую твёрдую маленькую скулу.

А затем — раскаяние, пронзительная услада искупительных рыданий, пресмыкание любви, безнадежность чувственного примирения... В бархатной темноте ночи, в мотеле «Мирана» (Мирана!), я целовал желтоватые подошвы её длиннопалых ножек, — я дошёл до последних унижений и жертв... Но это всё было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток.

Когда мы покидали Уэйс, на одной из крайних улиц... Ах, я могу поклясться, что это не было бредом. На этой крайней улице я — мельком увидел знакомый вишнёвый Як с откидным верхом или же его тождественный двойник. Вместо Траппа там сидело четверо или пятеро громких, актёрского типа, представителей нескольких полов — ко я ничего не сказал. После же выезда из Уэйса наметилось нечто совершенно другое. Сначала, в течение одного-двух дней, я наслаждался той внутренней уверенностью, с которой я сам себе говорил, что ни теперь, ни прежде никто за нами не следовал; а затем мне стало отвратительно ясно, что Трапп переменял тактику и продолжает ехать за нами, но уже в других, наёмных машинах.

Суций Протей большой дороги, он с ошеломляющей лёгкостью перескакивал из одного типа автомобиля в другой. Такой способ передвижения предполагает существование гаражных пунктов, специализирующихся на поставке «перекладных автомобилей», но я никогда не мог точно определить местонахождение этих станций. Сперва он как будто оказывал предпочтение шевролетовой породе — начал с открытой машины цвета «Колледж Крэм», перешёл на маленький седан («Голубой Горизонт»), а потом долинял до таких оттенков, как «Седой Прибой» и «Сплавной Сухостой». Затем он обратился к другим маркам и опять прошёл через тусклую радугу коммерческих красок, заставляя меня разбираться, например, в тонком различии между моим «грезовосиним» Икаром и его «горно-синим» Ольдсмобилем. Серый тон, впрочем, остался его любимым защитным цветом, и в мучительных кошмарах я тщетно, бывало, старался правильно рассортировать такие призрачные оттенки, как «Серый Волк» Крайслера, «Серый Шёлк» Шевролета, «Серый Париж» Доджа... Необходимость постоянно высматривать его усики и, открытый ворот — или его плешь и широкие плечи — заставила меня досконально изучить все автомобили, попадавшие на дорогах — сзади, спереди, сбоку, встречные, обгонные, — словом, все машины под играющим солнцем: автомобиль степенного отпускника с картонной коробочкой бумажных салфеток «Недотрога» в заднем окне; безрассудно несущийся ветхий Форд бедняка, набитый бледными детьми, с головой лохматой собаки, торчащей в окне, и согнутым в результате столкновения крылом; седанчик холостяка, весь заполненный внутри костюмами на вешалках; огромный, толстый прицеп — целый передвижной дом, невозмутимо равнодушный к веренице разъярённых автомобилей, ползущих за ним; спортивная машина с девкой, любезно расположившейся посередине переднего сиденья, чтобы быть как можно ближе к молодцу за рулём; автомобиль с опрокинутой на крыше лодкой... Серая машина, тормозящая перед нами, серая машина, догоняющая нас.

Однажды, в районе Скалистых Гор, где-то между Сноу и Чемпион, мы катились едва заметно под уклон, и тогда мне удалось вторично ясно разглядеть Влюблённого Сыщика. Серый призрак за нами потемнел, стал гуще, превратился в компактную Доминионную Синь... Вдруг мой автомобиль, словно отозвавшись на муки моего бедного сердца, начал как-то скатываться и скользить из стороны в сторону, причём из-под него доносилось беспомощное «хляп-хляп-хляп».

«Шина капут, мистер», весело сказала моя добрая девочка.

Я остановился — на краю горной пропасти. Лолита сложила на груди руки и опёрлась вытянутой ногой в приборную доску. Я вылез, осмотрел правое заднее колесо. Нижняя половина несчастной шины приняла отвратительно прямоугольную форму. Трапп остановился в пятидесяти ярдах позади нас. На этом расстоянии лицо его было лишь сальным пятном, но пятно смеялось. Я решил воспользоваться случаем и направился к нему — с блестящей идеей занять у него рычаг, хотя у меня был свой. Он немного попятился. Я больно споткнулся об камень — и создалась атмосфера повального веселья. Тут колоссальный грузовик вырос за машиной Траппа и с громом проехал мимо меня, после чего я услышал, как он судорожно гукнул. Я невольно обернулся — и увидел,

что мой автомобиль медленно уползает. Издали я различил головку Лолиты, нелепо сидевшей за рулём, причём мотор работал, хотя я помнил, что выключил его.

За короткий, полный трепета промежуток времени, потребовавшегося мне, чтобы добежать до хлюпающей и наконец остановившейся машины, я успел подумать, что в течение двух лет моя малютка вполне имела возможность набраться элементарных знаний в области управления автомобилем. Яростным рывком я открыл дверцу. Мне было чертовски ясно, что она пустила мотор, чтобы отвлечь меня от господина Траппа. Впрочем, этот фортель оказался ненужным, ибо, пока я догонял её, Трапп круто повернул посредине дороги и укатил. Я посидел, перевёл дух. Лолита спросила, не скажу ли я спасибо ей за то, что она так ловко затормозила, когда автомобиль вдруг поехал под гору. Не получив ответа, она погрузилась в изучение дорожной карты. Я вышел из автомобиля и начал «колесование», как называла эту операцию покойная Шарлотта. Мне казалось, что я теряю рассудок.

Переменив колесо, мы продолжали наше фарсовое путешествие. После унылого и совершенно лишнего спуска дорога стала подниматься петлями всё выше и выше. В особенно крутом месте нам пришлось плестись за громадным грузовиком, давеча обогнавшим нас. Он теперь с ужасными стонами полз вверх по извивам дороги, и его невозможно было объехать. Из его кабинки выпорхнул кусочек гладкого серебра — внутренняя обёртка жевательной резинки — и, полетев назад, прилип на миг к нашему переднему стеклу. Мне пришло в голову, что, ежели я действительно схожу с ума, может кончиться тем, что я убью кого-нибудь. На всякий случай (сказал тот Гумберт, который сидел на суше, тому Гумберту, который барахтался Бог знает где) хорошо бы кое-что подготовить — например, перевести пистолет из коробки в карман, — дабы быть готовым воспользоваться свободой безумия, когда оно найдёт.

20

Тем, что я разрешил Лолите заниматься театральной игрой, я допустил (влюблённый простак!), чтобы она научилась всем изощрениям обмана. Как теперь выяснялось, дело не ограничивалось готовыми ответами на такие вопросы, как: что представляет собой основной конфликт в «Гедде Габлер»; или: в каких сценах «Любви под Ильмами» предельно нарастает действие; или: в чём состоит преобладающее настроение «Вишнёвого Сада»; на самом деле ей преподавались разные способы изменять мне. О, с каким негодованием я теперь вспоминаю ту задаваемую ей «симуляцию пяти чувств», в которой она так часто упражнялась в нашей бердслейской гостиной! Я устраивался так, чтобы незаметно наблюдать за ней, когда она, двигаясь как субъект под гипнозом или участник мистического ритуала, и как бы давая утончённую версию детской игры, в которой девочки воображают себя дивами, изображала мимикой, что бы она сделала, услышав стон в темноте, увидав впервые совсем новенькую молодую мачеху, проглотив что-нибудь невкусное, вроде желтоватого желе, понюхав раздавленный сочный пучок травы в плодовом саду или дотронувшись до того или другого несуществующего предмета хитрыми, тонкими пальцами нимфетки. Среди моих бумаг до сих пор сохранился мимеографический список следующих заданий.

«Осязательная тренировка. Представь себе, что берёшь и держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый пушисто-фланелевый теннисный мяч, горячую картофелину, ледяной кубик, котёнка, подкову, карманный фонарь цилиндрической формы.

Перебирай концами пальцев следующие воображаемые вещи: хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец бархата, розовый лепесток.

Ты — слепая девочка. Ощупай, начиная с лица, следующих людей: Греческого юношу; Сирано-де-Бержерака; Деда-Мороза; младенца; хохочущего от щекотки фавна; спящего незнакомца; собственного отца».

Но до чего прелестна бывала она, и при навевании этих нежных чар, и при мечтательном исполнении других волшебных обязанностей! Кроме того, иногда, в особенно предприимчивые бердслейские ночи, я обещал ей какоенибудь удовольствие или подарок, если она потанцует для меня, и, хотя её рутинные скачки с раскинутыми ногами не столько напоминали томные и вместе с тем угловатые движения парижских *petits rats* [108], сколько прыжки тех голоногих дивчин в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби, всё же ритмика её не совсем ещё развившихся членов очень нравилась мне. Но всё это было ничто, по сравнению с неопишуемым зудом наслаждения, который я испытывал от её теннисной игры: могу только сказать, что это было дразнящее, бредовое ощущение какого-то повисания на самом краю — нет, не бездны, а неземной гармонии, неземной лучезарности.

Несмотря на преклонный возраст, она более чем когда-либо была нимфеткой в своей белой теннисной одежде, с абрикосовым загаром на руках и ногах. Крылатые заседатели! Никакой загробной жизни не принимаю, если в ней не объявится Лолита в таком виде, в каком она была тогда, на колорадском курорте между Сноу и Эльфинстоном — и, пожалуйста, чтобы всё было так же правильно, как тогда: широкие, белые мальчишеские трусики, узенькая талия, абрикосовая голая поясница, белый грудной платок, ленты которого идут наверх, кругом шеи, кончаясь сзади висячим узлом и оставляя неприкрытой её до безумия молоденькие и обаятельные лопатки с этим абрикосовым пушком на них, и прелестные нежные косточки и гладкую, книзу суживающуюся спину! Её кепка была с белым козырьком. Её ракета обошла мне в небольшое состояние. Дубина, стоеросовая дубина! Ведь я мог бы заснять её на киноплёнке! Она бы тогда осталась и посеичас со мной, перед моими глазами, в проекционной камере моего отчаяния!

Перед сервисом, до того как приступить к действию, Лолита как бы делала передышку, выстаивая два-три такта за меловой чертой, и при этом, бывало, разок-другой бросит мяч об землю или носком белой туфельки поскребёт по грунту, всегда свободно держась, всегда оставаясь спокойно-весёлой — она, которая так редко бывала весёлой в её сумрачной домашней обстановке! По-моему, её теннисная игра представляла собой высшую точку, до которой молодое существо может довести сценическое искусство, хотя для неё, вероятно, это составляло всего лишь геометрическую сущность основной действительности жизни.

Изящная ясность всех её движений находила своё слуховое дополнение в чистом, тугом звоне каждого её удара. Войдя в ауру её власти, мяч делался белее, его упругость становилась качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался в миг льнувшего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. Скажу больше: её стиль был совершенно точной имитацией самого что ни на есть первоклассного тенниса, лишённой, однако, в её руках какихлибо практических результатов. Как мне сказала Электра Гольд, сестра Эдузы, изумительная молодая тренировщица, когда однажды я сидел на твёрдой скамейке, начинавшей пульсировать подо мной, и смотрел, как Долорес Гейз, как бы шутя, гоняла по всему корту хорошенькую Линду Голль (которая, впрочем, разбила её): «У вашей Долли вделан магнит для мяча в самую серёдку ракетных жил, но, ей-Богу, зачем быть такой вежливенькой?» Ах, Электра, не всё ли равно — при такой грации! Помнится, присутствуя при первой же их игре, я почувствовал, как усвоение этой красоты меня буквально облило едва выносимым содроганием. У моей Лолиты была чудная манера чуть приподымать полусогнутую в колене левую ногу при раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая сеть равновесия между четырьмя точками — пуантой этой ноги, едва опущённой подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад овалом ракеты, меж тем как она обращала блестящий оскал улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с определённой целью — напасть на него звучным хлестком своего золотого кнута. Её подача отличалась прямоотой, красотой, молодостью, классической чистотой траектории, но, невзирая на беговой её темп, её было нетрудно вернуть, ибо никакой закорючки или изюминки не было у длинного, элегантного подскока её мяча.

Меня заставляет стонать от обиды мысль, что я мог так легко обесмертить все эти волшебные узоры, запечатлев их на целлулоидовой ленте. Насколько они бы превосходили те моментальные снимки, которые я (безумец!) сжёг! Её смэш относился к её сервису, как относится сектет к октету в сонете, ибо её натренировали, мою прелесть, немедленно после подачи просеменить к сетке на проворных, ярких, в белой обуви ножках. Никто бы не мог сказать, что лучше у неё выходит — драйв справа или драйв слева: один был зеркальным отображением другого, — у меня в самых чреслах до сих пор покалывает от пистолетной пальбы этих ударов, которым вторили чёткое эхо и выкрики Электры. Одной из жемчужин игры Долли был короткий удар с полулета, которому великий Нед Литам научил её в Калифорнии.

Она предпочитала сцену плаванию и плавание теннису; всё же я утверждаю, что, если бы я не подломил в ней чего-то (в то время я не отдавал себе отчёта в этом!), её идеальный стиль совмещался бы с волей к победе, и она бы развилась в настоящую чемпионку. Долорес, с двумя ракетками под мышкой в Вимблдон (1952), Долорес на рекламе папирос «Дромадер» (1960), Долорес, ставшая профессионалкой (1961), Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962), Долорес и её седой, смиренный, притихший муж, бывший её тренер, престарелый Гумберт (2000).

Никакой не существовало лукавинки в её манере играть — если, однако, не считать за финту нимфетки весёлое равнодушие к исходу игры. Она, столь жестокая и коварная в обыденной жизни, тут проявляла такую невинность, такую откровенность, такое доброжелательство в смысле пласировки, что даже посредством, но настойчивому игроку, как бы он коряво и неумело ни играл, удавалось так прихлопывать и подрезывать мяч,

чтобы проковырять себе путь к победе. Несмотря на малый рост, она покрывала всю свою половину (1053 квадратных фута) площадки с необыкновенной лёгкостью, однажды вступив в ритм обмена и покуда могла этим ритмом управлять; но всякая резкая атака, всякая внезапная перемена тактики со стороны противника приводили её в состояние полной беспомощности. Ей, скажем, недоставало одного пункта, чтобы выиграть партию — тут-то её второй сервис, который, довольно типично, был даже сильнее и стильнее первого (ибо в ней отсутствовали те внутренние задержки, которые знакомы осторожным игрокам) звучно ударялся об арфовую струну сетки — и отскакивал в аут. Отшлифованная бисерина её «скатного» удара подхватывалась и возвращалась в угол противником, у которого, казалось, четыре ноги и кривой гребок в руках. Её драматичные драйвы и восхитительные слетники пренаивно падали к его ногам. Вновь и вновь она мазала лёгкий мяч — и, смеясь, пародировала досаду тем, что склонялась вперёд в балетном изнеможении, с повисшим со лба локоном. До того бесплодными оказывались её грация и блеск, что она даже не могла побить пыхтящего Гумберта, основной удар которого был старомодный «подъёмный» драйв.

Думаю, что я особенно чувствителен к магии игр. В моих шахматных сессиях с Гастоном я видел вместо доски квадратное углубление, полное прозрачной морской воды с редкими раковинами и каверзами, розовато светящимися на ровном мозаичном дне, казавшемся бестолковому партнёру мутным илом и облаком сепии. Первую же теннисную учёбу, которой я когда-то мучил Лолиту (до того, как уроки великого калифорнийца явились для неё откровением), я теперь вспоминал как нечто гнетущее и горестное — не только потому, что мою безнадежную ученицу так отвратительно раздражал каждый мой совет, но ещё и потому, что драгоценная симметрия корта, вместо того, чтобы отражать дремавшую в ней гармонию, оказывалась исковерканной вконец неуклюжестью и усталостью ребёнка, которого только злила моя педагогическая бездарность. С тех пор всё переменилось, и в тот день, в ясной колорадской атмосфере Чемпиона, на превосходнейшем корте у подножия крутой каменной лестницы, ведущей к «Отель Чемпион», где мы стояли, мне почуялось, что могу отдохнуть от кошмара неведомых измен, окунувшись в чистоту её стиля, её души, её неотъемлемой грации.

День был безветренный. Она лупила крепко и плоско, со свойственным ей вольным махом, возвращая мяч за мячом над самой сеткой в глубь корта, и ритмический распорядок этих ударов был так классически прост, что собственное моё передвижение сводилось, в общем, к плавному прогуливанию туда-сюда — настоящие игроки поймут, что я тут хочу выразить. Резаный, довольно густо скошенный сервис, который я унаследовал от отца (научившегося ему, в свою очередь, от француза Декюжи или бельгийца Бормана — старых его друзей и великих чемпионов) наделал бы моей Лолите немало трудностей, захоти я их причинить. Но кто бы решился смутить такую ясноглазую милочку? Упомянул ли я где-нибудь, что её голая рука была отмечена прививочной осьмеркой оспы? Что я любил её безнадежно? Что ей было всего лишь четырнадцать лет?

Любознательная бабочка, нырнув, тихо пролетела между нами.

Вдруг вижу — откуда ни возьмись, появляются двое в теннисных трусиках: рыжий мужчина, лет на восемь моложе меня, с обожжёнными на солнце малиновыми голенями; и довольно матовая брюнеточка, года на два старше Лолиты, с капризным ртом и жёстким взглядом. Как это обыкновенно бывает у добросовестных новичков, их ракеты были в чехлах и рамах, и несли они их не так, как носишь естественные и удобные продления некоторых специализированных мышц, а как если бы это были молотища, мушкетоны, коловороты или мои собственные вкусные, громоздкие грехи. Несколько бесцеремонно усевшись около моего драгоценного в некотором смысле пиджака на скамейку сбоку от площадки, они принялись весьма громогласно восхищаться чередой ударов, состоявшей из чуть ли не пятидесяти обменов, которые Лолита невинно помогла мне выходить и поддерживать, пока перебой в серии не заставил её издать стон при виде того, как её смэш ушёл за черту, после чего она на мгновение поникла, ослабев от смеха, — золотое моё существо!

Меня разбирала жажда; я направился к фонтанчику питьевой воды. Этим воспользовался рыжий, чтобы подойти ко мне и в скромных выражениях предложить игру вчетвером. «Меня зовут Билль Мид», сказал он, «а это, Фэй Пэйдж, актриска. Ма фиансэ» — добавил он (указывая своей нелепо забронированной ракетой на светскую Фэй, уже болтавшую с Лолитой). Я начал было отвечать: «Спасибо, но» — (ненавижу, когда мою чистокровку впутывают в тяп-да-ляпицу пошлых сапожников), когда меня отвлек поразительно музыкальный оклик: отельный казачок дробно бежал вниз по ступеням к нашей площадке и делал мне знаки. Оказалось, что меня требуют к телефону по экстренному иногороднему вызову, — столь экстренному, что для меня даже «держат линию». «Иду», сказал я, схватил пиджак (тяжесть кольта во внутреннем кармане) и сказал Лолите, что сейчас вернусь. Она как раз подбирала мячик (европейским способом, т. е. соединённым рывком носка ноги и края ракеты, что было одной из немногих хороших вещей, которым я её научил) и улыбнулась, — она улыбнулась мне!

Некий зловещий штиль позволял сердцу держаться на плаву, пока я следовал за мальчишкой к отелю. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенки, смерть и вечность выражаются путём удивительно отталкивающей формулы «дзис ис ит», — «вот оно!», «это оно и есть!» Я оставил Лолиту в довольно посредственных руках, но всё равно. Буду, конечно, бороться. Бешено бороться. Лучше всё уничтожить, чем от неё отказаться. Да, действительно, крутоватая лестница.

В бюро гостиницы горбоносый мужчина с очень тёмным, думаю, прошлым, которое стоило бы расследовать, передал мне сообщение, написанное его рукой. Междугородная линия меня всё-таки не дождалась. В записке говорилось: «Мистер Гумберт. Звонила директорша Бурдалейской (так!) школы. Летний номер: Бурдолей 2-82-82. Пожалуйста, позвоните ей не откладывая. Чрезвычайно важное дело».

Я сложил своё длинное тело в телефонную будку, принял таблетку и в продолжении десяти минут воевал с исчадиями призрачного пространства. Постепенно наладился некий квартет; сопрано: такого номера нет в Бердслее; альт: мисс Пратт уехала в Англию; тенор: Бердслейская школа не звонила; бас: звонить она не могла, так как всё равно никто не знал, что в этот именно день я буду именно в этой колорадской гостинице. Больно уязвлённый мной горбоносый служащий любезно согласился выяснить, вызывали ли меня вообще из «Бурдолея». Оказалось — не вызывали. Вероятно, какой-то местный шалун набрал номер и смылся. Я поблагодарил служащего. Он ответил: ради Бога. Побывав в журчащем писсуаре и зарядившись в баре, я пустился в обратный путь. С первой же террасы я увидел наш корт: он казался величиной с детскую грифельную доску — плохо вытертую. Золотистая Лолита участвовала в игре смешанных пар. Она двигалась как прекрасный итальянский ангел — среди трёх отвратительных калек фламандской школы. Один из них, её партнёр, меняясь с ней сторонами, шутовским жестом хлопнул её по заду ракетой. У него была удивительно круглая голова; его коричневые штаны совершенно не подходили для тенниса. Произошло краткое замешательство — он увидел меня на лестнице и, отбросив ракету — мою ракету! — стал карабкаться по крутому газону, отделявшему теннис от бульвара. Он тряс кистями рук и локтями, нарочито-комически изображая птицу с недоразвитыми крыльями, и долез так, на кривых ногах, до улицы, где его ждал дымчато-серый автомобиль. В Следующую минуту и он и серая дымка исчезли. Когда я сошёл к корту, оставшаяся тройка уже собирала и рассматривала мячи, сортируя их: я утром купил полдюжины новых; на чужих были домодельные отметины кровавого цвета.

«Скажите, мистер Мид, кто был этот господин?»

Сперва Билль, потом Фэй с очень серьёзным видом отрицательно покачали головой.

«Представьте себе», объяснила Фэй, «какой-то нелепый нахал присоединился к нам, чтобы составить вторую пару. Неправда ли, Долли?»

Она уже была для них Долли. Рукоятка моей ракеты всё ещё была омерзительно тёплая на ощупь. Перед тем как подняться в отель, я увёл её в узкую аллею, наполовину заросшую душистым кустарником в сизых цветах, и уже собрался дать волю назревшим рыданиям, — собрался умолять её, зачарованную, равнодушную, чтобы она рассеяла как-нибудь, хотя бы ложью, тяжкий ужас обволакивающий меня — как вдруг мы очутились прямо позади странно корчившейся пары, — вроде того как сталкивается чета с четой в идиллической обстановке старых комедий. Билль и Фэй совершенно изнемогали от смеха — мы видимо пришли посреди какой-то их приватной шуточки. Это не имело больше значения.

Таким тоном, как будто это не имело большого значения, как будто жизнь автоматически продолжала катиться по кругу всегдашних забав, Лолита сказала, что пойдёт переодеться для купанья, — хотела поваландаться до вечера у бассейна: ведь день был дивный, Лолита!

«Ло! Лола! Лолита!» — слышу себя восклицаящим с порога в солнечную даль, причём акустика времени, сводчатого времени, придаёт моему зову и его предательской хриплости так много тревоги, страсти и муки, что право же, будь Лолита мертва, рывком раскрылся бы её застёгнутый на молнию нейлоновый саван. Я, наконец, настиг её посредине гладкой муравчатой террасы, — она убежала, пока я ещё переодевался. Ах, Лолита! Там она играла с собакой — с собакой, а не со мной. Пёс (какой-то полутерьер) ронял и снова защёлкивал в зубах — да ещё как-то пригонял к челюсти — мокрый красный гуттаперчевый мячик; передними лапами брал быстрые аккорды на упругом газоне; и куда-то ускакивал. Мне только хотелось узнать где она, я всё равно не мог купаться из-за ужасного состояния моего сердца, но кому какое было дело, и вот она играла с собакой, а я стоял тут же, в халате, и уже не звал её; но вдруг что-то в узоре её движений поразило меня... она кидалась туда-сюда

в своих ацтеково-красных плавках и бюстгальтерчике, и было что-то восторженное, чуть ли не безумное в её резвлении, далёко превосходившее простое веселие. Даже собака казалась означенной её преувеличенным ликованием. Я поглядел кругом и тихо положил руку на грудь. Бирюзовый бассейн за террасой уже бы не там, а у меня в грудной клетке, и мои органы плавали в нём, как плавают человеческие испражнения в голубой морской воде вдоль набережной в Ницце. Один из купальщиков отошёл от бассейна и, наполовину скрытый павлиньей тенью листвы, замер, держась за концы полотенца, накинутого на него, и янтарным взглядом следя за Лолитой. Так он стоял, закамуфлированный светотенью, искажённый ягуаровыми бликами и замаскированный собственной наготой; влажные чёрные волосы — вернее, остатки волос — прилипли к его круглому черепу, усики над красной губой казались мокрой кляксой, шерсть на груди ширилась двукрылым трофеем, пульсировал пуп, яркие брызги стекали по косматым ляжкам, тесные, мокрые чёрные купальные трусики чуть не лопались от здоровой силы там, где выпуклым очерком обозначалась чудовищная мошна, круто подтянутая кверху и толстым щитом находившаяся на запрокинутую снасть сатира. И пока я глядел на его круглое, орехово-коричневое лицо, меня осенило, что ведь узнал-то я его по отражению в нём образа моей дочери, — это была та же гримаса блаженства, но только превратившаяся в нечто уродливое в переводе на мужеский лад. А кроме того, мне было ясно, что девочка, моя девочка, зная, что он смотрит на неё, наслаждается его похотливым взглядом и напоказ для него скачет и веселится, — мерзкая, обожаемая потаскушка! Кинувшись за мячом и не поймав его, она повалилась на спину, бешено работая в воздухе неприличными, молодыми ногами; со своего места я почуял мускус её возбуждения; и тут, окаменев от священного отвращения, я увидел, как мужчина прикрыл глаза, обнажил ровные, противно-маленькие зубы и прислонился к дереву, в листве которого целая стая пятнистых приапов исходила дрожью. Тотчас после этого произошла необыкновенная метаморфоза. Он уже был не сатир, а мой чрезвычайно добродушный и глупый швейцарский дядя — тот Густав Трапп, не раз упомянутый мной, который, бывало, пытался нейтрализовать запой (хлестал пиво, смешанное с молоком, свинюга) тем, что заправским штангистом поднимал тяжести, шатаясь и крикая, на берегу озера, в старомодном купальном костюме, лихо спущенном с одного плеча. Теперешний Трапп заметил меня издали и, растирая затылок натянутым между руками полотенцем, с притворной беспечностью удалился по направлению к бассейну. И, как если бы погасло озарявшее её игру солнце, Лолита притихла и медленно встала с земли, игнорируя мячик, который терьер удобно положил перед ней. Кто может сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем возню! Я начал говорить что-то, но вдруг сел на траву с совершенно невероятной болью в груди, и меня вырвало потоком каких-то бурых и зелёных веществ, которых, насколько мне помнилось, я не ел.

Я увидел глаза Лолиты: их взгляд мне показался скорее расчётливым, чем испуганным. Я услышал, как она сказала доброй даме, подошедшей к нам, что с её папой приключился «какой-то припадок». Затем я долгое время лежал на шезлонге и опорожнял рюмочку за рюмочкой. Уже на другое утро я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжать путешествие (чему доктора, лечившие меня впоследствии, не могли поверить).

22

Двухкомнатный коттедж, вперёд задержанный нами, под знаком Серебряной Шпоры, в Эльфинстоне (не дай Бог никому услышать их стон), оказался принадлежащим к лакированной, смугло-сосновой, избяной породе, которая так нравилась Лолите в дни нашей первой беззаботной поездки. Ах, всё теперь изменилось... Я говорю не о Траппе или Траппах... В конце концов... ну, сами понимаете... В конце концов, господа, становилось достаточно ясно, что все эти идентичные детективы в призматически-меняющихся автомобилях были порождением моей мании преследования, повторными видениями, основанными на совпадениях и случайном сходстве. Soyons logiques[109], кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка, прогоняя всякую мысль, что какой-нибудь очарованный Лолитой коммивояжёр или гангстер из кинокомедии и его приспешники травят меня, надувают меня и разными другими уморительными способами пользуются моим странным положением перед законом. Помнится, я что-то напевал, заглушая панику. Мне даже удалось выработать теорию, объясняющую подложный вызов из «Бурдолея»... Но если я мог не думать о Траппе, как я не думал о недавних своих конвульсиях на газоне в Чемпионе, я никак не мог поладить с другой мукой: знать, что Лолита так близка и вместе с тем так горестно недостижима, и так любить её, так любить как раз накануне новой эры, когда по моим волховским исчислениям она бы должна была перестать быть нимфеткой, перестать терзать меня...

В Эльфинстоне судьба подготовила мне добавочную, гнусную и совершенно лишнюю заботу. Моя девочка была какая-то скучная и неразговорчивая в течение последнего перегона — двести миль по горам, неоскверненным ни дымчато-серыми ищейками, ни зигзагообразно снующими гаерами. Она едва взглянула на знаменитую, странного вида, великолепно алеющую скалу, ту самую, которая выступом нависала над горами и послужила трамплином для прыжка в nirvanу темпераментной актрисе. Город был недавно отстроен, или перестроен, посреди плоской долины на высоте семи тысяч футов над уровнем моря; мне хотелось, чтобы он скоро надоел Лолите; тогда мы покатали бы в Южную Калифорнию, направляясь к мексиканской границе, к баснословным заливам, к сагуаровым пустыням и фата-морганам. Хозе Лизачовендоа, в известном романе Меримэ, собирался увезти свою Кармен в Etats Unis[110]. Я представил себе мексиканское теннисное состязание, в котором Долорес Гейз и разные хорошенькие девочки-чемпионки из Калифорнии участвовали бы, сверкая передо мной. Добрососедские турнэ на этом улыбчивом уровне стирают различие между паспортом и спортом. — Почему думалось мне, что мы будем счастливы за границей? Перемена обстановки — традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обречённая любовь и неизлечимая чахотка?

Фамилия хозяйки мотеля произносилась так же, как Гейз (но писалась иначе). Эта бодрая, нарумяненная вдова с кирпичным лицом и голубыми глазами спросила, не швейцарец ли я часом? Сестрица у неё вышла за лыжного инструктора родом из Швейцарии. Я ответил утвердительно, добавив, что моя дочь наполовину ирландка. Я расписался. Миссис Гейз дала мне ключ с искрящейся улыбкой и, продолжая искриться, показала, где поставить машину. Лолита выползла из неё и зябко повела плечами: лучезарный вечерний воздух был действительно прохладноват. Войдя в коттедж, она села на стул у раскладного стола, опустила голову на руку и сказала, что чувствует себя ужасно. Притворяется, подумал я, притворяется, верно, чтобы избежать моих ласк; меня сжигала страсть, но бедняжка принялась очень как-то нудно хныкать, когда я полез к ней. Лолита больна! Лолита умирает! Она вся горела. Я поставил ей градусник, в ротик, затем посмотрел формулу записанную, к счастью, у меня в книжечке, и когда я наконец перевёл бессмысленную для меня цифру с Фаренгейтовской шкалы на близкую мне с детства стоградусную, оказалось, что у неё сорок и две десятых, чем по крайней мере объяснилось её состояние. Я знал, что у истеричных нимфочек температура поднимается до фантастических градусов, — даже выше той точки, при которой обыкновенные люди умирают; и я бы ограничился тем, что дал бы ей глоток горяченького глинтвейна, да две аспиринки, да губами впитал бы жарок без остатка, ежели бы по тщательном осмотре прелестный отросток в глубине мягкого нёба, один из главных кораллов её тела, не оказался совершенно огненной окраски. Я раздел девочку. Дыхание у неё было горько-сладким. Её коричневая роза на вкус отзывалась кровью. Её трясло с головы до ног. Когда она пожаловалась, что не может повернуть голову от боли в шее, я как всякий американский родитель, подумал о полиомиелите. Бросив всякую надежду на половые сношения, я закутал ребёнка в шотландский плед и понёс в автомобиль. Добрая Миссис Гейз между тем позвонила местному врачу. «Вам повеэло, что это случилось именно тут», сказала она, ибо не только доктор Блю считался светилом во всём районе, но Эльфинстоновский госпиталь был оборудован в самом новейшем духе, несмотря на ограниченную вместительность. Слово меня преследовал лесной царь, как в Гётевском «Короле Эльфов» (но на сей раз любитель не мальчиков, а девочек), я с ней поскакал прямо в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низменности. Моим проводником была маленькая старушка вроде портативной ведьмы (может быть, одна из кузин Erlk?nig'a[111]), которую мне одолжила миссис Гейз и которой я больше никогда в жизни не видал. Я не люблю вас, доктор Блю, а почему вас не люблю, я сам не знаю, доктор Блю. Не сомневаюсь, что его учёность значительно уступала его репутации. Он уверил меня, что у неё «вирусная инфекция», и, когда я упомянул о её недавней инфлуэнце, сухо сказал, что это другой микроб и что у него уже сорок таких пациентов на руках (всё это звучит, конечно, как «горячка» старых беллетристов). Я подумал, не сказать ли этак со смешком, на всякий случай (мало ли что они там могут высмотреть), что не так давно моя пятнадцатилетняя дочь потерпела маленькую аварию, неудачно перелезая через острый частокол вместе с молодым приятелем; но сознавая, что я совершенно пьян, я решил отложить это сообщение до более благоприятного времени. Долорес продолжала расти: не улыбающейся блондинке-секретарше, паршивой суке, я сказал, что моей дочери «в общем, шестнадцать». Пока я не смотрел, девочку мою утащили у меня! Тщетно я настаивал, чтобы мне позволили провести ночь на мате (с надписью «Добро пожаловать») в одном из чуланов их проклятой больницы. Я бегал вверх и вниз по конструктивистским лестницам, пытаюсь добраться до моей душеньки, которую надо было предупредить, чтобы она не болтала, особенно если у неё голова в тумане, как у всех нас. В какой-то момент я здорово нагрубил очень молоденькой и очень наглой сестре с гипертрофией зада и агатовыми глазами — баскского (кс-кс, киска!) происхождения, как я узнал впоследствии: отец её был одним из тех пастухов, которых ввозят сюда для тренировки овчарок. Наконец я возвратился к запаркованному



автомобилю и не знаю, сколько часов просидел в нём, скорчившись в темноте, оглушённый непривычным одиночеством, глядя с разинутым ртом то на тускло освещённый, весьма коробчатый и плоско-кровельный госпиталь, стоявший как бы на карачках посреди своего муравчатого квадрата, то на дымную россыпь звёзд и серебристо-зубристые горные высоты, где об эту пору отец Марии, одинокий Жозеф Лор, мечтал о ночлегах в Олороне, Лагоре, Роласе — или совращал овцу. Благоуханные бредни такого рода всегда служили мне утешением в минуты особого душевного напряжения, и только когда я почувствовал, что, невзирая на частое прикладывание к фляжке, дрожу от холода бессонной ночи, решил я поехать обратно в мотель.

Проводница-ведьма исчезла, а дорогу я плохо знал. Широкие гравийные улицы пересекали так и сяк призрачные прямоугольники. Я смутно различил нечто вроде силуэта виселицы, но это наверное был просто гимнастический прибор на школьном дворе; а в другом квартале, похожем на пустошь, вырос передо мной в куполообразной тиши бледный храм какой-то местной секты. Наконец я выехал на шоссе и вскоре увидел неоновый знак Серебряной Шпоры с аметистовой надписью «Всё Занято», вокруг которой маячили миллионы мотельных мотылей, называемых «мельниками» — не то от «мелькать», не то из-за мучнистого оттенка на свету; и когда, около трёх утра, после одного из тех несвоевременных горячих душ, которые, как некий фиксаж, только способствуют закреплению отчаяния и изнеможения в человеке, я лёг в постель — в её постель, пахнувшую каштанами и розами, и мятными леденцами, и теми очень тонкими, очень своеобразными французскими духами, которыми последнее время я позволял ей пользоваться, я никак не мог осмыслить простой факт, что впервые за два года я разлучился с Лолитой. Внезапно мне подумалось, что её болезнь не что иное, как странное развитие основной темы, что у этой болезни тот же привкус и тон, как у длинного ряда сцепленных впечатлений, смущавших и мучивших меня в пути; я вообразил, как тайный агент, или тайный любовник, или мерзкий шалун, или создание моих галлюцинаций — всё равно кто — рыщет вокруг лечебницы; Аврора едва «согрела руки», как говорят сборщики лаванды у меня на родине, а я уже снова норовил пробиться в эту крепость — стучался в её зелёные двери, не позавтракав, не имев стула, не видя конца терзаниям. Это было во вторник, а в среду или четверг, чудно реагируя — душенька моя! — на какую-то «сыворотку» (из спермы спрута или слюны слона), она почти совсем поправилась, и врач сказал, что «денька через два она будет опять скакать».

Я к ней заходил раза два в день — всего, может быть, восемь раз, — но только последнее посещение отчётливо запечатлелось у меня в памяти. В тот день для меня было большим подвигом выйти из дому вообще, ибо я себя уже так чувствовал, точно меня всего вылушил грипп, принявшийся теперь за меня. Никто не узнает, каких усилий мне стоило отнести всё это к ней — букет, бремя любви, книги, за которыми я ездил за шестьдесят миль: «Драматические Произведения» Браунинга; «История Танца»; «Клоуны и Коломбины»; «Русский Балет»; «Цветы Скалистых Гор»; «Антология Театральной Гильдии» и «Теннис» Елены Вилльс, которая выиграла свой первый национальный чемпионат в пятнадцать лет. В ту минуту как я, шатаясь под ношей, подходил к двери Лолитиной частной палаты, стоившей мне тринадцать долларов в день, Мария Лор (молодая гадина, служившая сиделкой и с первого дня меня возненавидевшая) как раз выходила оттуда с остатками Лолитино утренняя завтрак на подносе: она с проворным грохотком поставила поднос на стул в коридоре и, вихляя задом, стрельнула обратно в комнату, — верно, чтобы предупредить бедную маленькую Долорес, что старый тиран подкрадывается на резиновых подошвах, с букинистическим хламом и букетом: последний я составил из диких цветов и красивых листьев, которые я набрал собственными гангированными руками на горном перевале, при первых лучах солнца (я почти не спал во всю ту роковую неделю).

А как кормят мою Карменситу? Мельком я взглянул на поднос. На запачканной яичным желтком тарелке валялся скомканный конверт. Он прежде содержал нечто, судя по рваному краю, но адреса не было — ничего не было, кроме зелёной, пошло-фальшивой геральдической виньетки с названием мотеля «Пондерозовая Сосна». Тут я произвёл маленькое шассэ-круазэ с Марией, которая хлопотливо выбегала опять из Лолитиной комнаты, — удивительно, как они шибко двигаются и мало успевают сделать — эти задастые киски. Она кинула сердитый взгляд на конверт, который я положил обратно на тарелку, предварительно разгладив его.

«Вы бы лучше не трогали», проговорила она с пеленгаторным кивком головы. «Можно и пальцы обжечь».

Возражать? Ниже моего достоинства. Я только сказал:

«Je croyais que c'était un 'bill' — pas un billet doux.»[112]

Затем, войдя в полную солнца комнату, я обратился к Лолите: «Bonjour, mon petit!»[113]

«Долорес!», воскликнула Мария Лор, входя со мной, мимо меня, сквозь меня — пухлая лахудра — и моргая ресницами и начиная быстренько складывать белое фланелевое одеяло, продолжая моргать: «Долорес, ваш папенька думает, что вы получаете письма от милого дружка. Это я» (постукивая себя с гордым видом, по

золочёному крестик), «я получаю их. И мой папенька может парлэ-франсэ не хуже вашего».

Она вышла. Долорес, такая розовая, с золотой рыжинкой, с губами только что ярко покрашенными, с расчёсанными до блеска волосами, над которыми она поработала щёткой, как это только умеют американские девочки, лежала, вытянув голые руки на одеяле, и невинно улыбалась — не то мне, не то пустоте. Посреди ночного столика, рядом с бумажной салфеткой и карандашом, горел на солнце её топазовый перстенёк.

«Какие жуткие траурные цветы», сказала она, принимая букет. «Но всё равно — спасибо. Только будь так мил, пожалуйста, обойдись без французского — это только раздражает людей».

Тут опять вбежала обычным своим аллюром спелая молодая шлюха, воняя мочой и чесноком, с газетой «Дезерет», которую моя прелестная пациентка жадно схватила, не обращая внимания на роскошно иллюстрированные тома, принесённые мной.

«Моя сестра Анна», сказала басконка (завершая давешнее сообщение новой мыслью) «работает в Пондерозе».

Мне всегда жаль Синеи Бороды. Эти брутальные братья... Est-ce que tu ne m'aimes plus, ma Carmen?[114]

Никогда не любила. Я теперь не только знал, что моя любовь безнадежна, но знал также, что они вдвоём замышляют что-то, сговариваясь, по-баскски или по-земфирски, против моей безнадежной любви. Скажу больше: Лолита вела двойную игру, ибо она дурачила и глупую, сентиментальную Марию, которой поведала, вероятно, что хочет жить у жизнерадостного дядюшки, а не у жестокого, мрачного отца. И другая сиделка, которой я так и не рассмотрел, и юродивый, вкатывавший койки и гроба в лифт, и чета идиотских зелёных попугайчиков, занимавшая клетку в приёмной, — все, все они участвовали в подлом заговоре. Мария, верно, думала, что комедийный папаша Профессор Гумбертольди препятствует любовной интриге между Долорес и заместителем отца, толстеньким Ромео (ведь не забудем, что ты был жирноват, Ромка, несмотря на все эти наркотики — «снежок», «сок радости» и так далее).

У меня побаливало горло; я стоял, переглатывая, у окна и глядел на романтическую скалу, повисшую высоко в смеющемся, заговорщическом небе.

«Моя Кармен», обратился я к ней (я иногда звал её этим именем), «мы покинем этот пересохший, воспалённый, свербящий город, как только тебе позволят встать».

«Кстати — мне нужны мои вещи», проговорила гитаночка, подняв холмом колени и перейдя на другую страницу газеты.

«Потому что, видишь ли», продолжал я, «нет смысла сидеть в этом городе».

«Нет смысла сидеть где бы то ни было», сказала Лолита.

Я опустился в кретоновое кресло и, раскрыв красивый ботанический атлас, попытался, в жужжащей от жара тишине, найти в нём мои цветы. Это оказалось невозможным. Немного погодя где-то в коридоре раздался музыкальный звоночек.

Я не думаю, чтобы в этом претенциозном госпитале было больше дюжины больных (из них «трое или четверо сумасшедших», как мне весело заявила раз Лолита); и, конечно, служащие имели слишком много свободного времени. Однако — тоже ради шика — строго соблюдались правила. Сознаюсь, что часто приходил в неуказанные для посещения часы. В порыве мечтательного лукавства склонная к видениям Мария Лор (в следующий раз ей померещится *une belle dame toute en bleu*[115], проплывающая по Гремучей Яруге в Нью-Лурде) схватила меня за рукав, намереваясь меня вывести. Я посмотрел на её руку; она убрала её.

Уходя, — уходя по собственной воле, — я услышал, как Долорес Гейз повторяет мне, чтобы я завтра утром принёс ей — не могла вспомнить всего, что ей нужно было в смысле носильных и других вещей: «Принеси мне», крикнула она (уже вне поля зрения, ибо дверь тронулась, дверь закрывалась, дверь закрылась) — принеси весь новый серый чемодан и мамин, мамин!; но на следующее утро я дрожал от озноба, и пьян был в дым, и умирал в мотельной постели, где она пролежала всего несколько минут, и всё, что я в силах был сделать, ввиду этих кругами расширяющихся обстоятельств, было послать ей оба чемодана с любовником моей вдовушки, могучим и добродушным водителем грузовика. Я ясно представил себе, как моя девочка показывает Марии свои сокровища... Разумеется, я находился в несколько бредовом состоянии, и на другой день я настолько ещё был зыбковат и неоформлен, что, когда взглянул в окно ванной на смежный лужок, то увидел прелестный молодой велосипед моей Долли, стоявший там на своей подпорке, причём грациозное переднее колесо было отвёрнуто от меня, как всегда, а на седле сидел воробей, — но это был велосипед хозяйки, и, со слабой улыбкой покачивая головой вслед нежной грёзе, я насилу добрался до кровати и долго лежал, тих и свят, как сказано — цитирую не совсем точно — у Роберта Браунинга...

Свят? Форсит! Когда Долорес Смуглая на мураве Вырезает, раззадорясь, Вздор о кинобожестве... — вырезает из пёстрых журнальчиков, окружавших Долорес на всех наших стоянках, а в городе меж тем начали справлять

великий национальный праздник, судя по мощным хлопощкам — сущим бомбам, — которые всё время разрывались, и ровно в час пятьдесят пять дня мне послышалось чьё-то посвистывание за полуоткрытой дверью коттеджа и затем — стук.

Это был грузовой шофёр Франк — огромный детина: он остался стоять на пороге, держась за дверной косяк и немного подавшись вперёд.

«Здрате. Звонят в мотель из больницы. Сиделка Лор спрашивает, лучше ли мистеру Гумберту и собирается ли он зайти нынче?»

За двадцать шагов, Франк казался румяным здоровяком; в пяти шагах, как сейчас, видно было, что он состоит из румяно-сизой мозаики шрамов: в Италии, во время последней войны, его так ахнуло, что он пролетел сквозь стену; однако, несмотря на неописуемые увечья, Франк способен был править колоссальным грузовиком, баловаться рыболовством, ходить на охоту, пьянствовать и неумоимо пользоваться придорожным бабьём. В этот день — по случаю ли большого праздника или просто из желания позабавить больного человека — он снял перчатку, которую обыкновенно носил на левой руке (эта рука сейчас прижата была к косяку) и являл замороженному страдальцу не только полное отсутствие безымянного пальца и мизинца, но также и голую девку, с кинокарными сосками и кобальтовой ижицей, очаровательно нататуированную на тыльной стороне его искалеченной руки: указательный палец и средний изображали её ноги, а на кисть приходилась её голова в венчике из цветов. Ах, просто прелесть... особенно, когда она, как сейчас, прислонялась к брусу, точно хитрая фея.

Я попросил его передать Марии Лор, что я останусь весь день в постели и позвоню моей дочери в течение завтрашнего дня, если только буду себя чувствовать, вероятно, полинизейского происхождения (в мыслях у меня ещё попадались опечатки). Тут он заметил направление моего взгляда и сделал так, что правое её бедрышко блудливо дрыгнуло.

«Оки-доки», пропел великан Франк, ударил по косяку и, посвистывая, ушёл с моим поручением, а я продолжал пить, и к утру температура упала, и, хотя я был, как жаба, вял, я надел свой фиолетовый халат поверх кукурузно-жёлтой пижамы и отправился в мотельную контору, где находился телефон. Всё было хорошо.

Ясный голос сообщил мне, что: да, всё хорошо, моя дочь вчера выписалась из больницы около двух часов дня: её дядя, мистер Густав, заехал за ней со щенком кокер-спаньёлем, и приветом для всех, на чёрном Кадили Яке; он заплатил по Доллиному счёту наличными и попросил мне передать, чтобы я не беспокоился, оставался в тёплой постельке, а они, мол, едут к дедушке на ранчо, как было условлено.

Эльфинстон (он у них тонкий, но страшный) был — да и остался таким, надеюсь — премиленький городок. Он напоминал, знаете, макет — своими аккуратными деревьями из зелёной ваты и домиками под красными крышами, планомерно разбросанными по паркету долины, и мне кажется, я уже вскользь говорил о его образцовой школе, и храмине, и просторных прямоугольных жилищных участках, из коих некоторые, впрочем, сводились к довольно своеобразным загонам, где мул или единорог пасся в тумане раннего июльского утра. Забавная штука: на одном крутом, грависто-скрежещущем повороте я боком задел стоявшую у тротуара машину, но сказал себе апатически, а замахавшему руками владельцу — телепатически (в лучшем случае), что вернусь в своё время, адрес: Бурдская Школа, переулок Бурды, город Кабура; джин, поддерживавший жизнь моего сердца, мучил мозг, и после нескольких пробелов и провалов, свойственных эпизодам в снах, я очутился в приёмной больницы, где старался избить доктора и орал на людей, прятавшихся под стулья, и требовал Марии, которая, к счастью для неё, отсутствовала в этот день; грубые руки дёргали меня за халат, оторвав, наконец, карман, и каким-то образом я оказался сидящим верхом на принятом мною за доктора Нелюблю пациенте, лысом, смугловатом мужчине, который в конце концов встал с пола и заметил с анекдотическим акцентом: «Ну, кто туг теперь невротик, я вас спрашиваю?»; после чего высокая суровая сестра преподнесла мне семь роскошно иллюстрированных книг в роскошных переплётках и идеально сложенный шотландский плед, причём попросила расписку; и в неожиданной тишине я в передней заметил полицейского, которому мой коллега-автомобилист указывал на меня, и я кротко расписался в получении книг и пледа — символический жест, означавший, что уступаю мою Лолиту всем этим макакам, но что же я мог сделать другого? Одна простая мысль стояла как бы нагишом передо мной: главное — остаться на воле. Соверши я любой опрометчивый шаг, — и мне пришлось бы объяснять все подробности своей преступной жизни. Поэтому я притворился одуревшим от запоя.

Коллеге-автомобилисту я заплатил, наплевав на страховку, сколько он счёл справедливым. Голубоглазому доктору Блю, который теперь гладил меня по руке, я в слезах поведал о слишком обильных возлияниях, которыми я считал нужным подбодрить ненадёжное, но здоровое, не нуждающееся ни в каких осмотрах сердце. Перед всей больницей я извинился с таким фасонистым поклоном, что чуть не упал, добавив впрочем, что

состою в неважных отношениях с другими членами Гумбертского клана. Самому себе я шепнул, что пистолет мой в сохранности и что я всё ещё не лишён свободы, — могу выследить беглянку, могу уничтожить «брата».

23

Расстояние в тысячу миль по шелковисто-гладкому асфальту отделяло Касбим, где, насколько мне было известно, красный бес по сговору объявился впервые, от рокового Эльфинстона, куда мы прибыли за неделю до Дня Независимости. Это путешествие тогда заняло большую часть июня, ибо мы редко проезжали больше ста пятидесяти миль в день, проводя остальное время (до пяти дней однажды) на разных стоянках, — которые, вероятно, были им детально предусмотрены. Тут, значит, и следовало искать след беса; и этому-то я полностью посвятил себя после нескольких неопишуемых дней рыскания по безжалостно разветвлявшимся дорогам в окрестностях Эльфинстона.

Вообрази, читатель, меня — такого застенчивого, так не любящего обращать на себя внимание, наделённого таким врождённым чувством благопристойности — вообрази меня, скрывающего безумное горе под дрожащей подобострастной улыбкой и придумывающего предлог, чтобы с притворной небрежностью перелистать гостиничную книгу, в которой записаны фамилии, адреса и автомобильные номера проезжих. «Послушайте», говорил я, «я совершенно уверен, что я здесь уже как-то останавливался — позвольте мне взглянуть на записи за середину июня. Так-с. Нет, всё-таки вижу, что ошибся, — на какой смешной улице города живёт этот мистер Кук: Ишо 5. Простите за беспокойство». Или же: «Один из моих клиентов стоял у вас — я потерял его адрес, — может быть, вы будете так добры...» И не раз случалось, особенно если директор оказывался определённого типа мрачным мужчиной, что мне отказывалось в собственноручном просмотре.

У меня тут отмечено на листочке: между 5-ым июля и 18-ым ноября, т. е. до моего возвращения на несколько дней в Бердслей, я расписался (далеко не всегда, впрочем, останавливаясь на ночь) в 342 гостиницах и мотелях. Эта цифра включает несколько заведений между Касбимом и Бердслеем, из которых одно подарило мне несомненную тень беса: «Роберт Роберт, Мольберт, Альберта». Мне приходилось очень осторожно распределять свои розыски во времени и пространстве, дабы не возбуждать подозрений; и было, вероятно, по крайней мере пятьдесят мест, где я просто справлялся, не расписываясь сам, но это ни к чему не приводило, и я предпочитал сооружать платформу правдоподобия и доброжелательства тем, что первым делом платил за ненужную мне комнату. Мой обзор показал, что из трёхсот, примерно, книг не менее двадцати содержало им оставленный след: неспешивший бес или останавливался даже чаще нас, или же — на это он был вполне способен — расписался кое-где лишний раз с целью обильно снабдить меня издевательскими намёками. Только раз стоял он там же иногда же, как и мы, — и спал в нескольких шагах от Лолитиной подушки. В нескольких случаях он ночевал в том же или соседнем квартале; нередко он ждал в засаде в промежуточном пункте между двумя условленными стоянками. Как живо помнил я Лолиту, перед самым отъездом из Бердслея, лежащей ничком на ковре в гостиной с грудой путеводителей и карт, на которых она отмечала этапы и остановки своим губным карандашом!

Я сразу установил, что наш бывший преследователь предвидел мои изыскания и подбросил мне на поживу ряд оскорбительных псевдонимов, каламбуров и прочих вывертов. В первом же мотеле, который я посетил — «Пондерозовая Сосна», — я нашёл, среди дюжины явно человеческих адресов, следующую мерзость: Адам Н. Епилинтер, Есноп, Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы, утвердительную и вопросительную. Хозяйка соизволила мне сообщить, что мистер Епилинтер пролежал пять дней в постели с сильным гриппом, что он оставил автомобиль для починок в неизвестном ей гараже и съехал на новой машине — 4-го июля. Да, действительно, девушка по имени Анна Лор тут работала, но это было давно, теперь она замужем за бакалейщиком в Сидар Сити. В одну прекрасную лунную ночь я подкараулил Марию — в белых сиделочных башмаках она шла по пустынной улице; будучи, как многие, автоматом, она собралась было завопить, но мне удалось её очеловечить довольно простым способом — я пал на колени и со взвизгами, с упоминанием святителей, стал умолять её мне помочь. Она клялась, что ничего не знает. Кто он такой, этот Епилинтер? Она как будто заколебалась. Я проворно вынул сто долларовый билет. Она подняла его на свет луны. «Ваш братец», прошептала она наконец. Разразившись французским проклятием, я выхватил билет из её лунно-холодной руки и убежал. Этот случай научил меня полагаться только на самого себя. Ни один сыщик, конечно, не нашёл бы тех пометных ниточек и наводящих зарубок, которые Трапп подгонял к моим именно мозгам, настраивал на мой именно лад. Я не мог, разумеется, ожидать, что мой преследователь где-нибудь оставил мне своё настоящее имя; но я надеялся, что он когда-нибудь подсколынул на собственной блестящей

изошрённости, осмелившись ввести более индивидуальную деталь, чем требовалось, или что он выдал слишком много через качество целого, составленного из количественных частей, выдававших слишком мало. В одном он преуспел: ему удалось демонической сетью окончательно опутать меня и мою извивающуюся, бьющуюся тоску. С бесконечным мастерством клоуна-канатоходца он пошатывался и запинаясь, и непонятным образом возвращался в состояние равновесия, всегда, впрочем, оставляя мне спортивную надежду — если могу так выразиться, когда идёт речь об измене, ярости, опустошённости, ужасе и ненависти, — что в следующий раз он наконец переборщит. Этого никогда не случилось, — хотя он черт знает как рисковал. Мы все восхищаемся акробатом в блёстках, с классической грацией и точностью продвигающимся по натянутой под ним струне в тальковом свете прожекторов; но насколько больше тонкого искусства выказывает гротесковый специалист оседающего каната, одетый в лохмотья вороньего пугала и пародирующий пьяного! Мне ли этого не оценить... Если эти оставляемые им пометные шутки и не устанавливали его личности, они зато отражали его характер, — или, вернее, некий однородный и яркий характер. В его «жанре», типе юмора (по крайней мере, в лучших проявлениях этого юмора), в «тоне» ума, я находил нечто сродное мне. Он меня имитировал и высмеивал. Его намёки отличались известной изысканностью. Он был начитан. Он говорил по-французски. Он знал толк в дедалогии и логомантии. Он был любителем эротики. Почерк у него смахивал на женский. Он мог изменить имя, но не мог замаскировать, несмотря на все попытки переодеть их, некоторые буквы, как, например, его очень своеобразные «т» и «у». Остров Quelquepart[116] было одним из любимейших его местопребываний. Он не пользовался самоструйным пером — верное указание (как подтвердит вам всякий психиатр), что пациент — репрессивный ундирист. Человеколюбие понуждает нас пожелать ему, чтобы оказались русалочки в волнах Стикса.

Главной чертой ем было задирательство. Боже мой, как нравилось бедняге дразнить меня! Он подвергал сомнению мою эрудицию. Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего. Вероятно, я пропустил некоторые пуанты в этом криптографическом пэпер-чэсе. Какой трепет торжества и гадливости сотрясал хрупкий состав мой, когда, бывало, среди простых, невинных имён в отдельном списке тайный смысл ем дьявольской головоломки вдруг эякулировал мне в лицо! Я замечал, что, как только ему начинало казаться, что его плутни становятся чересчур заумными, даже для такого эксперта, как я, он меня приманивал опять загадкой полегче. «Арсен Люпэн» был очевиден полуфранцузу, помнившему детективные рассказы, которыми он увлекался в детстве; и едва ли следовало быть знатоком кинематографа, чтобы раскусить пошлую подковырку в адресе: «П. О. Темкин, Одесса, Техас». В не менее отвратительном вкусе, но по существу выдающем ум культурного человека, а не полицейском, не заурядного бандита, не похабного коммивояжёра, были такие вымышленные имена, как «Эрутар Ромб» — явная переделка имени автора «Ee Bateau Bleu»[117] — да будет и мне позволено немного позубоскалить, господа! — или «Морис Шметтерлинг», известный своей пьесой «L'Oiseau Ivre»[118] (что, попался, читатель?). Глупое, но смешное «Д. Оргон, Эльмира, Нью-Йорк» вышло, конечно, из Мольера; и потому что я недавно пытался Лолиту заинтересовать знаменитой комедией восемнадцатого века, я приветствовал старого приятеля — «Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг». Из невинных Бермудских Островов он сделал остроу — каламбур, который пристойность не разрешает мне привести, и всякий хороший фрейдист, с немецкой фамилией и некоторым знанием в области религиозной проституции, поймёт немедленно намёк в «Др. Китцлер, Эрикс, Мисс.» Что ж, всё это не плохо. Потеха довольно убогая, но в общем без личных выпадов, а потому безвредная. Не привожу записей, которые меня привлекли своей, так сказать, явной зашифрованностью, но вместе с тем не поддались разгадке, ибо чувствую, что продвигаюсь ощупью сквозь пограничный туман, где словесные обороты превращаются, может быть, в живых туристов. Что такое, например: «Фратер Гримм, Океан, Келькепар»? Настоящим ли человеком — со случайно одинаковым с ним почерком — был некто «Н. С. Аристофф» родом из «Катагелы»? Где твоё жало, Катагела? А что это: «Джемс Мавор Морелл, Каламбург, Англия»? «Аристофан», «Каламбург» — прекрасно, но чего я недопонял? Одна черта, повторяющаяся в этих подделках, производила во мне особенно болезненный трепет. Такие вещи, как «Г. Трапп, Женева, Нью-Йорк», означали предательство со стороны моей спутницы. Комбинация «О. Бердслей, Лолита, Техас» доказывала, несмотря на существование такого города в Техасе — (и притом яснее, чем исковерканное в Чемпионе телефонное сообщение), что следует искать начала всей истории на атлантической стороне Америки. «Лука Пикадор, Мерри Мэй, Мэриленд» содержало ужасный намёк на то, что моя маленькая Кармен выдала негодяю жалкий шифр ласковых имён, и своих прозваний, которые я ей давал. Три раза повторён был адрес: «Боб Браунинг, Долорес, Колорадо». Безвкусное «Гарольд Гейз, Мавзолей, Мексика» (которое в иное время могло бы меня позабавить) предполагало знакомство с прошлым девочки — и на минуту у меня явилась кошмарная мысль, что «Дональд Отто Ких» из городка «Сьерра» в штате «Невада» —

старый друг семьи, бывши может быть, любовник Шарлотты, бескорыстный, может быть, защитник детей. Но больше всего пронзила меня кощунственная анаграмма нашего первого незабвенного привала (в 1947-ом году, читатель!), которую я отыскивал в книге касбимского мотеля, где он ночевал рядом с нами: «Ник. Павлыч Хохотов, Вран, Аризона».

Исковерканные автомобильные номера, оставляемые всеми этими Кувшинкиными, Фатаморганями и Траппами, всего лишь указывали на то, что хозяева постоянных дворов плохо проверяют идентификацию машин, даваемую проезжими. Ссылки — неполные или неправильные — на автомобили, которые наш преследователь нанимал для коротких перегонов между Уэйсом и Эльфинстоном, я, разумеется, не мог использовать. Номер, относящийся к его первоначальному, по-видимому собственному, Яку, представлял собой мерцание переменчивых цифр, из которых одни он переставлял, другие переделывал или пропускал; но самые комбинации этих цифр как-то перекликались (например, ВШ 1564 и ВШ 1616 или КУ 6969 и КУКУ 9933), хотя были так хитро составлены, что не поддавались приведению к общему знаменателю.

Мне пришло в голову, что после того, как он передал вишнёвый Як приспешникам в Уэйсе и перешёл на систему «перекладных», приемники его могли оказаться менее осмотрительными и, может быть, оставили в какой-нибудь отелльной книге прототип тех взаимно связанных номеров. Но если искать беса на дорогах, по которым он наверняка проехал, было таким сложным, запутанным и безнадёжным делом, чего мог я ожидать от попыток напасть на след неизвестных автомобилистов, путешествующих по неизвестным мне маршрутам?

24

К тому времени, как я достиг Бердслея, в порядке той рекапитуляции, о которой я теперь достаточно поговорил, у меня в уме создался довольно полный образ, и этот образ я свёл — путём исключения (всегда рискованным) — к тому единственному конкретному первоисточнику, который работа большого мозга и шаткой памяти могла отыскать.

Кроме преподающего Ригор Мортис (как девочки окрестили пастора) и почтенного старца, преподававшего необязательные немецкий язык и латынь, в Бердслейской гимназии не было постоянных учителей мужского пола. Но два-три раза в течение учебного года (1948—49) приходил с волшебным фонарём искусствовед из Бердслейского Университета показывать гимназисткам цветные снимки французских замков и образцы импрессионистической живописи. Мне хотелось присутствовать при этих проекциях и лекциях, но Долли, как это у нас водилось, попросила меня не ходить, — и баста. Кроме того, я помнил, что Гастон называл этого именно преподавателя блестящим *garçon* [19]; но это было всё; память отказывалась выдать мне имя любителя старинных шато.

В день, назначенный для казни, я прошёл по слякоти через университетский двор к одному из указанных мне зданий. Там я узнал, что фамилия искусствоведа Риггс (что несколько напоминало фамилию знакомого нам служителя культа), что он холост, и что через десять минут он выйдет из университетского музея, где сейчас читает лекцию. Я сел на мраморную скамью (дар некой Цецилии Рамбль) у входа в лекционный зал музея. Дождаясь там, с болезненным ощущением в предстательной железе, подвыпивший, истощённый недостатком сна, сжимая кольт в кулаке, засунутом в карман макинтоша, я вдруг спохватился, что я ведь сошёл с ума и готов совершить глупость. Существовал один шанс среди миллионов, что Альберт Риггс, доцент, держит мою Лолиту под замком у себя на дому, 69, улица Линтера — в названии было что-то знакомое... Нет, он никак не мог быть моим губителем. Чепуха. Я терял рассудок и тратил зря время. Он и она сейчас в Калифорнии, а не здесь. Вскоре, за белыми статуями, украшающими вестибюль, я заметил смутное оживление. Дверь — не та, на которую я жадно уставился, а другая, подальше, — бодро распахнулась, и среди стайки студенток запрыгала, как пробка, лысина шупленького лектора, а затем ко мне стали приближаться его блестящие карие глаза. Я никогда в жизни его не видал, хотя он стал настаивать, что мы как-то познакомимся на приёме в саду Бердслейской школы. А как поживает моя очаровательная дочь, теннисистка? У него, к сожалению, ещё одна лекция. До скорого!

Другие попытки опознания разрешились не так скоро. Через объявление в одном из журнальчиков, оставшихся мне от Лолиты, я решился войти в сношение с частным сыщиком, бывшим боксёром, и просто чтобы дать ему понятие о методе, которым пользовался негодяй, преследовавший нас до Эльфинстона, я ознакомил его с некоторыми образцами имён и адресов, набранных мной на обратном пути. Он потребовал порядочный аванс, и в продолжение двадцати месяцев — двадцати месяцев, читатель! — болван занимался тем, что кропотливо проверял эти явно вымышленные данные! Я уже давно порвал с ним всякие деловые сношения, когда однажды

он явился ко мне с победоносным видом и сообщил, что Боб Браунинг действительно живёт около посёлка Долорес в юго-западном Колорадо и что он оказался краснокожим киноактером восьмидесяти с лишком лет.

25

Эта книга — о Лолите; теперь, когда дохожу до той части, которую я бы назвал (если бы меня не предупредил другой страдалец, тоже жертва внутреннего сгорания) «Dolor's Disparue»[120], подробное описание последних трёх пустых лет, от начала июля 1949 до середины ноября 1952, не имело бы смысла. Хотя и следует отметить кое-какие важные подробности, мне хотелось бы ограничиться общим впечатлением: в жизни, на полном лету, раскрылась с треском боковая дверь и ворвался рёв чёрной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели.

Странно — я почти никогда не видел и не вижу Лолиту во сне такой, какой помню её — какой я видел её наяву, мысленно, с неослабностью душевной болезни, в галлюцинациях дня и бессонницах ночи. Если она и снилась мне, после своего исчезновения, то появлялась она в странных и нелепых образах, в виде Валерии или Шарлотты, или помеси той и другой. Помесное привидение приближалось, бывало, ко мне, скидывая с себя покрывало за покрывалом, в атмосфере великой меланхолии, великого отвращения. Эта Лже-Лолита (и Лже-Валерия) вяло приглашала меня разделить с ней твёрдый диванчик, или просто узкую доску, или нечто вроде гинекологического ложа, на котором она раскидывалась, приотворив плоть, как клапан резиновой камеры футбольного мяча. С расколовшимся или безнадежно потерянным зубным протезом я попадал в гнусные мебелишки, где для меня устраивались скучнейшие вечера вивисекции, обыкновенно кончавшиеся тем, что Шарлотта или Валерия рыдала в моих окровавленных объятиях, и я их нежно целовал братскими губами в сонном беспорядке венской дребедени, продаваемой с молотка, жалости, импотенции и коричневых париков трагических старух, которых только что отравили газом.

Однажды я вынул из бедного Икара и уничтожил давно накопившуюся кучу журнальчиков для подростков. Вам известен тип этих изданий: в отношении чувств это — каменный век; в смысле гигиены — эпоха, по крайней мере, микенская. Красивая, но уже очень зрелая актриса, с исполинскими ресницами и пухлой, мясисто-красной нижней губой, рекомендовала новый шампунь. Бедлам реклам. Юным школьницам нравятся сборки на юбках — *que c'?'tait loin, tout cela*[121]! Когда приглашают с ночёвкой, хозяйке полагается приготовить для каждой гостьи халат. Бессвязные детали лишают ваш разговор всякого блеска. Нам всем приходилось встречать на вечеринках для конторских служащих «копунью» — девушку, которая копает ногтями кожу на лице. Только если он очень стар или занимает очень большое положение, пожилому мужчине дозволяется не снимать перчатки, перед тем как пожать руку даме. Привлекай сердца ношением нашего Нового Животикоскрадывателя: ни бочков, ни брюшков. Тристан и три женских стана в кино. Да-с, господа-с: супружество Джо и Дженни возбуждает джуджание. Превратись в романтическую красавицу быстро и дешево. Книжки-комикс: скверная девчонка (брюнетка), толстяк-отец (с сигарой); хорошая девочка (рыжая), красивый папочка (с подстриженными усами). Или отвратительная серия с гориллообразным верзилкой и его женой, гномообразной гнидой. *Et moi qui t'offrais mon g?'nie...*[122] Я припомнил довольно изящные, чепушинные стишки, которые я для неё писал, когда она была ребёнком. «Не чепушинные», говорила она насмешливо, «а просто чепуха»:

Пролетают колибри на аэропланах, Проходит змея, держа руки в карманах... или:

Так ведёт себя странно с крольчихой кролик, Что кролиководы смеются до коллик. Иные её вещи было трудно выбросить. До конца 1949-го года я лелеял, и боготворил, и осквернял поцелуями, слезами и слизью пару её старых тапочек, ношеную мальчиговую рубашку, потёртые ковбойские штаны, смятую школьную кепочку и другие сокровища этого рода, найденные в багажном отделении автомобиля. Когда же я понял, что схожу с ума, я собрал эти вещи, прибавил к ним кое-что оставшееся на складе в Бердслее — ящик с книгами, её велосипед, старое пальто, ботинки — и в пятнадцатый день её рождения послал всё это в виде дара от неизвестного в приют для сироток на ветреном озере у канадской границы.

Не исключая, что пойдя я к хорошему гипнотизёру, он бы мог извлечь из меня и помочь мне разложить логическим узором некоторые случайные воспоминания, которые проступают сквозь ткань моей книги со значительно большей отчётливостью, чем они всплывают у меня в памяти — даже теперь, когда я уже знаю, что и кого выискивать в прошлом. В то время я только чувствовал, что теряю контакт с действительностью. Я провёл остаток зимы и большую часть весны в санатории около Квебека, где я лечился раньше, после чего решил привести в порядок некоторые свои дела в Нью-Йорке, а затем двинуться в Калифорнию для основательных розысков.

Вот стихотворение, сочинённое мной в санатории:

Ищут, ищут Долорес Гейз;Кудри: русы. Губы: румяны,Возраст: пять тысяч триста дней,Род занятий: нимфетка экрана?Где ты таишься, Долорес Гейз?Что верно и что неверно?Я в аду, я в бреду: «выйти я не могу»Повторяет скворец у Стерна.Где разъезжаешь, Долорес Гейз?Твой волшебный ковёр какой марки?Кагуар ли кремовый в моде днешь?Ты в каком запаркована парке?Кто твой герой, Долорес Гейз?Супермен в голубой пелерине?О, дальний мираж, о, пальмовый пляжО, Кармен в роскошной машине!Как больно, Долорес, от джаза в ушах!С кем танцуешь ты, дорогая?Оба в мятых майках, потёртых штанах,И сижу я в углу, страдая.Счастлив, счастлив, Мак-Фатум, старик гнилой.Всюду ездит. Жена — девчонка.В каждом штате мнёт Молли свою, хоть законОхраняет даже зайчонка.Моя боль, моя Долли! Был взор её серИ от ласок не делался мглистей.Есть духи — называются Soleil Vert[123]...Вы что, из Парижа, мистер?L'autre soir un air froid d'op'ra m'alita:Son f'?!? — bien fol est qui s'y fie!Il neige, le d'cor s'?croule, Lolita!Lolita, qu'ai-je fait de ta vie?[124]Маюсь, маюсь, Лолита Гейз,Тут раскаянье, тут и угрозы.И сжимаю опять волосатый кулак,И вижу опять твои слёзы.Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождём,Где струится ночь, светофорясь...Она в белых носках, она — сказка моя,И зовут её: Гейз, Долорес.Патрульщик, патрульщик, вон едут они,Долорес Гейз и мужчина.Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони,Вылезай, заходи за машину!Ищут, ищут Долорес Гейз:Взор дымчатый твёрд. ДевяностоФунтов всего лишь весит онаПри шестидесяти дюймах роста.Икар мой хромает, Долорес Гейз,Путь последний тяжёл. Уже поздно.Скоро свалят меня в придорожный бурьян,А всё прочее — ржа и рой звёздный.Психоанализируя это стихотворение, я вижу, что оно не что иное, как шедевр сумасшедшего. Жёсткие, угловатые, крикливые рифмы довольно точно соответствуют тем лишённым перспективы ландшафтам и фигурам, и преувеличенным их частям, какие рисуют психопаты во время испытаний, придуманных их хитроумными дрессировщиками. Я много понасочинил других стихов. Я погружался в чужую поэзию. Но мысль о мести ни на минуту не переставала томить меня.

Я был бы плутом, кабы сказал (а читатель — глупцом, кабы поверил), что потрясение, которое я испытал, потеряв Лолиту, навсегда меня излечило от страсти к малолетним девочкам. Лолиту я теперь полюбил другой любовью, это правда, — но проклятая природа моя от этого не может измениться. На площадках для игр, на морских и озёрных побережьях мой угрюмый, воровской взгляд искал поневоле, не мелькнут ли голые ноги нимфетки или другие заветные приметы Лолитиных прислужниц и наперсниц с букетами роз. Но одно основное видение выцвело: никогда я теперь не мечтал о возможном счастье с девочкой (обособленной или обобщённой) в каком-нибудь диком и безопасном месте; никогда не воображал я, что буду впиваться в нежную плоть Лолитиных сестричек где-нибудь далекодалеко, в песчаном убежище между скал пригрезившихся островов. Это кончилось — или кончилось, по крайней мере, на некоторое время. С другой же стороны... увы, два года чудовищного потворства похоти приучили меня к известному укладу половой жизни. Я боялся, как бы пустота, в которой я очутился, не заставила бы меня воспользоваться свободой внезапного безумия и поддаться случайному соблазну при встрече в каком-нибудь проулке с возвращающейся домой школьницей. Одиночество разжигало меня. Я нуждался в обществе и уходе. Моё сердце было истерическим, ненадёжным органом. Вот как случилось, что Рита вошла в мою жизнь.

26

Она была вдвое старше Лолиты и на десять лет моложе меня. Представьте себе взрослую брюнетку, очень бледную, очень тоненькую (она весила всего сто пять фунтов), с очаровательно ассиметричными глазами, острым, как бы быстро начерченным профилем и с весьма привлекательной ensellure — седловинкой в гибкой спине: была, кажется, испанского или вавилонского происхождения. Я её подобрал как-то в мае, в «порочном мае», как говорит Элиот, где-то между Монреалем и Нью-Йорком, или, суживая границы, между Тойлестоном и Блэйком, у смугло горевшего в джунглях ночи бара под знаком Тигровой Бабочки, где она пресимпатично напилась: уверяла меня, что мы учились в одной и той же гимназии, и всё клала свою дрожащую ручку на мою орангутановую лапу. Чувственность мою она только очень слегка бередила, но я всё-таки решил сделать пробу; проба удалась, и Рита стала моей постоянной подругой. Такая она была добренькая, эта Рита, такая компанейская, что из чистого сострадания могла бы отдаться любому патетическому олицетворению природы — старому сломанному дереву или овдовевшему дикобразу.

Когда мы познакомились (в 1950-ом году), с ней недавно развёлся третий её муж, а ещё недавнее её покинул седьмой по счёту официальный любовник. Другие, неофициальные, были слишком многочисленны и мимолётны, чтобы можно было их каталогизировать. Её брат, политикан с лицом как вымя, носивший подтяжки



и крашенный от руки галстук, был мэром и душой города Грейнбол, известного своими бейзболистами, усердными читателями Библии и зерновыми дельцами. В течение последних лет он платил своей замечательной сестрёнке семьсот долларов в месяц под абсолютным условием, что она никогда, никогда не приедет в его замечательный городок. Она рассказывала мне, подвывая от недоумения, что почему-то — чорт его знает почему — всякий новый любовник первым делом мчал её в Грейнбол; Грейнбол приманивал роковым образом; и не успевала она оглянуться, как уже её всасывала лунная орбита родного города и она ехала под прожекторным освещением кругового бульвара, «вертясь», смешно говорила она, «как проклятая бабочка в колесе».

У неё оказался изящный двухместный автомобильчик, и в нём-то мы ездили в Калифорнию, так как мой маститый Икар нуждался в отдыхе. Правила обыкновенно она — с прирождённой скоростью в девяносто миль в час. Милая Рита! Мы с ней разъезжали в продолжение двух туманных лет с перерывами, и невозможно вообразить другую такую славную, наивную, нежную, совершенно безмозглую Риточку! По сравнению с ней, Валерия была Шлегель, а Шарлотта — Гегель! По правде сказать, нет ровно никакой причины заниматься мне ею на полях этих мрачных мемуаров, но всё-таки хочу сказать (алло, Рита — где бы ты ни была, пьяная или трезвая, Рита, алло!), что эта моя самая утешительная, самая понятливая подруга, несомненно, спасла меня от смиренной рубашки. Я объяснил ей, что хочу отыскать сбежавшую возлюбленную и угробить её кота. Рита с важным видом одобрила этот план — и, предприняв, в окрестностях Сан-Гумбертино, кое-какие собственные расследования (хотя ни черта о деле не знала), сама спуталась с каким-то бандитом; мне стоило адских усилий выволить её — в подержанном и подшибленном виде, но вполне бодренькую. А другой раз, найдя мой священный пистолет, она предложила поиграть в «русскую рулетку»; я возразил, что нельзя, в пистолете нет барабана; мы стали за него бороться, и наконец раздался выстрел, причём пуля ушла в стену нашего номера, и оттуда забил очень тонкий и очень забавный фонтанчик горячей воды; помню, как она стонала от смеха.

До странности детская вогнутость её спины, рисовая кожа, медленные, томные, голубиные поцелуи, — всё это оберегало меня от беды. Не талант художника является вторичным половым признаком, как утверждают иные шаманы и шарлатаны, а наоборот: пол лишь прислужник искусства. Один довольно смутный кутёж наш имел забавные последствия. Я только что прекратил поиски: бес либо находился в Тартаре, или весело горел у меня в можжечке на большое сердце, я, право, не скажу, чтобы кто-нибудь из них не имел отношения к турниру тенниса, в Сан-Диего, где в женском разряде первый приз взяла шестнадцатилетняя Доротея Гааз, мужеподобная дылда. Как-то, во время обратной поездки на восток, в гнуснейшей гостинице (того сорта, где устраиваются коммерческие съезды и бродят, пошатываясь, ярлыками отмеченные, марципановые толстяки, называющие друг друга Джо или Джим, заключающие сделки и хлещущие виски) милая Рита и я, проснувшись за полдень, увидели, что с нами в номере находится ещё один человек, молодой бледный блондин, почти альбинос, с белыми ресницами и большими прозрачными ушами. Ни Рита в её грустной жизни, ни я в моей никогда его не встречали. Весь потный, в грязном фланелевом комбинезоне, в старых походных сапогах на шнурках, он храпел на одеяле нашей двуспальной постели по другую сторону от моей целомудренной подруги. У него не хватало одного переднего зуба, лоб оброс янтарными прыщами. Риточка облекла свою гибкую наготу в мой макинтош — первое, что попало ей под руку; я же натянул трусики; после чего мы обследовали положение. На подносе стояло целых пять употреблённых стаканов, что в смысле примет только усложняло дело. Дверь была плохо прикрыта. На полу валялись мужской свитер да пара бесформенных военных штанов защитного цвета. Мы долго трясли их владельца; наконец несчастный очнулся. Оказалось, что он совершенно потерял память. Говоря с акцентом, который Рита определила как «чисто бруклинский», он обиженно инсинуировал, что мы (каким образом?) присвоили его (ничего не стоящую!) личность. Мы его быстрехонько одели и потом оставили в ближайшей больнице, выяснив по дороге, что какие-то уже забытые извилины и повороты привели нас в пресловутый Грейнбол. Полгода спустя, Рита написала тамошнему доктору. Тот ответил, что «Джек Гумбертсон» — как незнакомца безвкусно прозвали — всё ещё не вошёл в сношение со своим прошлым. О, Мнемозина, сладчайшая и задорнейшая из муз!

Я бы не отметил этого случая, если бы с него не начался ход мыслей, в результате коих я напечатал в учёном журнале «Кантрип», что по-шотландски значит «колдовство», этюд, озаглавленный «Мимир и Мнемозина», в котором я наметил теорию (показавшуюся оригинальной и значительной благосклонным читателям этого великолепного ежемесячника) «перцепционального времени», основанную на «чувстве кровообращения» и концепционально зависящую (очень кратко говоря) от особых свойств нашего разума, сознающего не только вещественный мир, но и собственную сущность, отчего устанавливается постоянное взаимоотношение между двумя пунктами: будущим (которое можно складировать) и прошлым (уже отправленным на склад). Одним из

последствий появления этой статьи, завершившей ряд прежних моих работ, тоже не прошедших незаметно, было приглашение на один год в Кантрипский Университет, отстоявший на четыреста миль от Нью-Йорка, где мы с Ритой снимали квартиру с видом на глянцевитые тела мальчиков и девочек, игравших под дубами, далеко внизу, в водомётной дубраве Центрального Парка. В Кантрипе я прожил, в специальных апартаментах для поэтов и философов, с октября 1951 года до июня 1952-го, между тем как Рита, которую я предпочитал не показывать, прозябала — кажется, не очень благопристойно — в пришоссейной гостинице, где я её навещал два раза в неделю. Затем она исчезла, но менее бесчеловечно, чем её предшественница: через месяц я нашёл её в Кантрипской тюрьме. Она держалась с большим достоинством, лишилась червеобразного отростка в тюремной больнице и поклялась мне довольно убедительно, что дивный голубой мех, который, по словам некоей важной дамы, миссис Мак-Крум, она у неё украла, был на самом деле подарком, сделанным ей с большой непосредственностью несколько подвыпившим мистером Мак-Крумом. Я смог вытащить её оттуда без того, чтобы обратиться к её нервному брату, и вскоре после этого мы вернулись с ней в Нью-Йорк, опять на западную сторону Центрального Парка, заглянув по дороге в Брайсланд, через который, впрочем, Рита и я уже проезжали в предыдущем году.

Меня тогда охватило непреодолимое желание восстановить моё пребывание там с Лолитой. Утратив всякую надежду выследить беглянку и её похитителя, я вступил в новую фазу существования: я теперь пытался ухватиться за старые декорации и спасти хотя бы гербарий прошлого: *souvenir, souvenir, que me veux-tu*[125]? Верлэновская осень звенела в воздухе, как бы хрустальном. В ответ на открытку с просьбой резервировать номер с двумя кроватями и ванной профессор Гамбургер немедленно получил учтивый отказ. Всё было, мол, занято. Оставалась одна подвальная комната без ванной с четырьмя кроватями, но она вряд ли бы мне подошла. Вот заголовок их почтовой бумаги:

**ПРИВАЛ ЗАЧАРОВАННЫХ ОХОТНИКОВ ВСЕ НАПИТКИ (кроме спиртных) ЦЕРКВИ** на удобном расстоянии для верующих **СОБАКИ** не допускаются Я усомнился в истине первого заявления. Все? Подавался ли там гренадин, например, как в тротуарных кофейнях Европы? Меня также интересовало, не отдал ли бы охотник, зачарованный или нормальный, место в церкви за пса — и тут я вдруг вспомнил, со спазмой боли, сцену, достойную большого художника: *Petite Nymphe Assourie*[126]; но этот шелковистый кокер-спаньель был, возможно, крещёный. Нет — я не чувствовал себя в силах выдержать мучительное посещение знакомого холла. В мягком, пыльно-окрашенном, осеннем Брайсланде таились другие возможности воскресить былое. Оставив Риту в ближайшем баре, я отправился в городскую библиотеку. Чирикающая старая дева с величайшей готовностью помогла мне найти середину августа 1947 года в переплетённом комплекте Брайсландского Вестника, и вот я уже сидел в уединённом углу под голой лампочкой и переворачивал огромные и хрупкие страницы тома, чёрного, как гроб, и едва ли не крупнее самой Лолиты.

Читатель! Брудер! Каким глупым Гомбургом был этот Гомельбург! Так как его сверхчувствительная природа страшилась действительности, он считал возможным насладиться, по крайней мере, кусочком её — что напоминает, как десятый или двадцатый Фриц или Иван в терпеливом хвосте насильников прикрывает белое лицо женщины её же чёрной шалью, чтобы не видеть её невозможных глаз, пока наконец добывает свою солдатскую радость в угрюмом, разграбленном посёлке. Мне же хотелось добыть в напечатанном виде снимок, случайно запечатлевший мой посторонний образ в ту минуту, когда фотограф от «Брайсландского Вестника» сосредоточивался на Д-ре Браддоке и его группе. Страстно мечталось мне, чтобы сохранился Портрет Неизвестного Изверга. Невинный аппарат, поймавший меня на тёмном моём пути к ложу Лолиты, — вот тема для Мнемозины! Тщетно пытаюсь объяснить сущность этого позыва. Его можно, пожалуй, сравнить с тем обморочным любопытством, которое заставляет нас вооружиться увеличительным стеклом, чтобы рассмотреть хмурые фигурки (в общем, натюрморт — и всех сейчас вырвет) собравшихся ранним утром у плахи, — но выражение лица пациента всё-таки никак не разобрать на снимке, Как бы то ни было, я буквально задыхался, и один угол фолианта рока всё бодал меня в брюхо, пока я листал и летал по листам глазами. В воскресенье, 24-го, в одном из двух местных кинематографов шёл фильм «Одержимые», а в другом — «Грубая Сила». Мистер Пурдом, независимый табачный аукционист, говорил, что с 1925 года он курит только «Омэн Фаустум». Рослый Росс, футболист, и его миниатюрная невеста были на вечере у миссис Гумберт Перрибой, 58, Эраннис Авеню. Существует паразит, величина которого составляет целую одну шестую часть организма, вместившего его. Дюнкерк был впервые укреплен в десятом веке. Белые носки для барышен, 39 центов; спортивные оксфордские башмачки, 3 доллара 98 центов. Вино, вино, вино, изрёк автор «Тёмного Возраста», который не разрешил нашему фотографу снять его, подходит, может быть, персидскому буль-булю, но я всегда говорю, что дождь, дождь, дождь, стучащий по гонтовой крыше, лучший друг роз и вдохновения. Так называемые «ямочки»

происходят от прирастания кожи к более глубоко лежащим тканям. Греки отразили сильную партизанскую атаку. Ах, наконец: абрис девочки в белом и пастор Брэддок в чёрном; но, если и касалось мимоходом его дородного корпуса чьё-то призрачное плечо, ничего относящегося до меня я узнать тут не мог.

Поразительный паразит пошёл за Ритой в бар. С той грустной улыбкой, которая появлялась у неё на лице от избытка алкоголя, она представила меня агрессивно-пьяному старику, говоря, что он — запомнила вашу фамилию, дорогуша — учился с ней в одной школе. Он дерзко попробовал задержать её, и в последовавшей потасовке я больно ушиб большой палец об его весьма твёрдую голову. Затем мне пришлось некоторое время прогуливать и проветривать Риту в раскрашенном осенью парке Зачарованных Охотников. Она всхлипывала и повторяла, что скоро, скоро я брошу её, как все в жизни её бросали, и я спел ей вполголоса задумчивую французскую балладу и сочинил альбомный стишок ей в забаву:

Палитра клёнов в озере, как рана, Отражена. Ведёт их на убой В багряном одеянии Диана  
Перед гостиницею голубой. Она спросила: «Но почему голубой, когда она белая? Почему — Господи Боже мой...» — и зарыдала снова. Я решительно повёл её к автомобилю. Мы продолжали наш путь в Нью-Йорк, и там она опять зажила в меру счастливо, прохладаясь под дымчатой синевой посреди нашей маленькой террасы на тридцатом этаже. Замечаю, что каким-то образом у меня безнадежно спутались два разных эпизода — моё посещение Брайсландской библиотеки на обратном пути в Нью-Йорк и прогулка в парке на переднем пути в Кантрип, но подобным смешением смазанных красок не должен брезговать художник-мнемозинист.

27

Почтовый ящик с моим именем, в вестибюле дома, позволял получателю разглядеть сквозь застеклённую щель кое-что из того, что всунул туда почтальон. Уже несколько раз случалось, что арлекинская игра света, упавшего сквозь стекло на чей-нибудь почерк, так искажала его, что получалось сходство с Лолитиной рукой, и это приводило меня в состояние чуть ли не обморока, так что приходилось прислоняться к ближней урне, — едва не оказывавшейся моей. Всякий раз, что это случалось, всякий раз, что на миг привидевшиеся мне любимые, петлистые, детские каракули превращались опять, с отвратительной простотой, в скучный почерк одного из немногих моих или Ритиных корреспондентов, я вспоминал, с болезненной усмешкой, далёкое моё, доверчивое, Додолоресовое былое, когда я бывал обманут драгоценно освещённым окном, за которым высматривало моё рыщущее око — неусыпный перископ постыдного порока — полуголую, застывшую, как на киноплёнке, нимфетку с длинными волосами Алисы в Стране Чудес (маленькой прелестницы более счастливого собрата), которые она как раз, по-видимому, начинала или кончала расчёсывать. От совершенства огненного видения становилось совершенным и моё дикое блаженство — ибо видение находилось вне досягаемости, и потому блаженству не могло помешать сознание запрета, тяготившее над достижимым. Кто знает, может быть, истинная сущность моего «извращения» зависит не столько от прямого обаяния прозрачной, чистой, юной, запретной, волшебной красоты девочек, сколько от сознания пленительной неуязвимости положения, при котором бесконечные совершенства заполняют пробел между тем немногим, что дарится, и всем тем, что обещается, всем тем, что таится в дивных красках несбыточных бездн. *Mes fen?tres!*[127] Повисая между закатными облаками и приливающей ночью, скрежеща зубами, я собирал и притискивал всех демонов моей страсти к перилам уже пульсирующего балкона: ещё миг, и он снимется — прямо в абрикосовую мглу влажного веера; он снимался — после чего, бывало, освещённый облик в дальнем окне сдвигался, — и Ева опять превращалась в ребро, которое опять обрастало плотью, и ничего в окне уже не было, кроме наполовину раздетого мултана, читающего газету.

Так как мне всё-таки иногда удавалось выиграть гонку между вымыслом и действительностью, то я готов был примириться с обманом. С чем я отказывался примириться — это с вмешательством мучителя-случая, лишившего меня предназначенной мне улады. «*Savez-vous qu'? dix ans ma petite ?tait folle de vous?*»[128] — сказала мне дама, с которой я как-то разговорился на чае в Париже, — а малютка успела выйти замуж и жила где-то за тридевять земель, и я не мог даже припомнить, заметил ли я её некогда в том саду, на террасе теннисного клуба, около укромного грота. И вот теперь совершенно так же, случай (а также и некоторая перемена в уменьшившемся и как бы поплёкшем почерке моей любимой) отказал мне в предварительном взгляде сквозь сияющее стекло щели, в этом предвкушении и обещании — обещании, которое не только так соблазнительно симулировалось, но должно было быть благородно выполненным. Как видите, моя фантазия подвергалась Прустовским пыткам на прокрустовом ложе, — ибо в то утро, 22-го сентября 1952-го года, когда я

спустился за почтой, чистенько одетый и весьма желчный швейцар, с которым я был в отвратительных отношениях, начал меня корить за то, что недавно какой-то Ритин собутыльник, провожая её домой, «заблевал как собака» ступени подъезда. Пока я слушал его и давал ему на чай, а затем слушал вторую, более учтливую версию происшествия, я смутно подумал, что одно из двух писем, пришедших с той благословенной почтой — верно от Ритиной матери, довольно неуравновешенной дамочки, которую мы однажды посетили на Кэйп Коде и которая с тех пор, в частых письмах — пересылаемых с постоянного адреса моей Нью-Йоркской конторы в различные места моего пребывания — всё говорила мне, как удивительно её дочь и я подходим друг дружке и как чудно было бы, если мы бы женились; другое письмо, которое я вскрыл и быстро просмотрел в лифте, было от Джона Фарло.

Я часто замечал, что мы склонны наделять наших друзей той устойчивостью свойств и судьбы, которую приобретают литературные герои в уме у читателя. Сколько бы раз мы ни открыли «Короля Лира», никогда мы не застанем доброго старца забывшим все горести и подымавшим заздравную чашу на большом семейном пиру со всеми тремя дочерьми и их комнатными собачками. Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня Х. Никогда не поправится Эмма Бовари, спасённая симпатическими солями в своевременной слезе отца автора. Через какую бы эволюцию тот или другой известный персонаж ни прошёл между эпиграфом и концом книги, его судьба установлена в наших мыслях о нём; и точно так же мы ожидаем, чтобы наши приятели следовали той или другой логической и общепринятой программе, нами для них предначертанной. Так, Икс никогда не сочинит того бессмертного музыкального произведения, которое так резко противоречило бы посредственным симфониям, к которым он нас приучил. Игрек никогда не совершит убийства. Ни при каких обстоятельствах Зет нас не предаст. У нас всё это распределено по графам, и чем реже мы видаемся с данным лицом, тем приятнее убеждаться, при всяком упоминании о нём, в том, как послушно он подчиняется нашему представлению о нём. Всякое отклонение от выработанных нами судеб кажется нам не только ненормальным, но и нечестным. Мы бы предпочли никогда прежде не знать соседа — отставного торговца сосисками, — если бы оказалось, что он только что выпустил сборник стихов, не превзойдённых никем в этом веке.

Говорю всё это, чтобы объяснить, как сбило меня с толку истерическое письмо от Джона Фарло. Я знал о смерти его жены, — но я, конечно, ожидал, что безутешный вдовец останется до конца жизни тем скучноватым, чопорным и положительным человеком, каким он всегда был. Теперь он мне писал, что после короткого пребывания в Соединённых Штатах он вернулся в Южную Америку и решил передать все дела, которыми он управлял в Рамздэле, одному из тамошних адвокатов, Джеку Виндмюллеру, общему нашему знакомому. Особенно он казался рад был освободиться от «Гейзовских осложнений». Он только что женился на испанке. Его вес увеличился на тридцать фунтов с тех пор, как он бросил курить. Совсем молоденькая жена была лыжной чемпионкой. Они собирались провести медовый месяц в Индии. Так как он намеревался посвятить себя, как он выражался, «интенсивному производству семейных единиц», он не мог уж находить время, чтобы заниматься моими делами, которые он считал «очень странными и довольно раздражительными». От каких-то людей, любящих всюду совать нос — и образовавших, по-видимому, целый комитет с этой целью, — он получил сообщение о том, что местожительство маленькой Долли Гейз окружено тайной, а что сам я живу «с известной в некоторых кругах разводкой» в Южной Калифорнии. Отец его жены был граф и крупный богач. Семья, нанимавшая в продолжение последних пяти лет Гейзовский дом, теперь желала его купить. Он советовал мне предъявить пропавшую девочку немедленно. Он сломал себе ногу. К письму был приложен цветной снимок Джона, ещё целого, и смуглой брюнеточки в белой шерсти. Они сладко улыбались друг дружке среди синих снегов Чили.

Помню, как я вошёл к себе в квартиру и вслух подумал: что же, теперь по крайней мере мы выследим — как вдруг второе письмо заговорило со мной деловитым голоском:

Дорогой Папа,

Как поживаешь? Я замужем. Я жду ребёнка. Думаю, что он будет огромный. Думаю, что он поспеет как раз к Рождеству. Мне тяжело писать это письмо. Я схожу с ума, оттого что нам не на что разделаться с долгами и выбраться отсюда. Дику обещана чудная служба в Аляске, по его очень узкой специальности в механике, вот всё, что я знаю об этом, но перспективы просто замечательные. Прошу прощения, что не даю домашнего адреса, но я боюсь, что ты всё ещё страшно сердись на меня, а Дик не должен ничего знать. Ну и городок тут. Не видать кретинов из-за копоты. Пожалуйста, пришли нам чек, папа. Мы бы обошлись тремя — или четырьмястами, или даже меньше, за любую сумму спасибо, ты мог бы, например, продать мои старые вещи, потому что, как только доедем до Аляски, деньжата так и посыплются. Напиши мне, пожалуйста. Я узнала много печали и лишений.

Я опять находился в пути, опять сидел за рулём старого синего седана, опять был один. Когда я читал письмо, когда боролся с исполинской мукой, которую оно во мне возбуждало, Рита ещё спала мёртвым сном. Я взглянул на неё: она улыбалась во сне. Поцеловал её в мокрый лоб и навсегда покинул: на днях бедняжка хотела меня навестить тут, но я не принимаю выходцев с того (для вас «этого») света. Нежную прощальную записку я прилепил пластырем к её пупочку — иначе она, пожалуй, не нашла бы её.

Я написал «один»? Нет, не совсем. При мне состоялся чёрный дружок, и, как только я нашёл уединённое место, я без трепета отрепетировал насильственную смерть мистера Ричарда Ф. Скиллера. В багажном отделении автомобиля — неиссякаемом в смысле сокровищ — я нашёл свой самый старый и самый грязный свитер, и его-то я повесил на сук, в безответной роще, куда меня привела лесная дорога, отделившаяся от шоссе. Выполнение приговора было подпорчено каким-то затормозившим в действие гашетки. Мало мне понятный предмет у меня в руке, вероятно, нуждался в смазке, но я не хотел терять время. Обратившись в автомобиль пошёл серый мёртвый свитер с добавочными дырками в разных местах; и, снова зарядив тёплого ещё дружка, я продолжал путешествие.

Письмо было от сентября 18, 1952 года, и адрес, который она давала, был «До востребования, Коулмонт» (не в Виргинии, и не в Пенсильвании, и не в Теннесси — и вообще не «Коулмонт» — я всё замаскировал, моя любовь). Выяснилось, что это торговый городишко в восьмистах милях на юг от Нью-Йорка. Я решил было ехать без остановки, но не дотянул и на заре заехал отдохнуть в мотель недалеко от Коулмонта. Я был уверен почему-то, что этот Скиллер в своё время торговал подержанными автомобилями и, может быть, тогда познакомился с моей Лолитой, когда подвёз её в окрестностях Бердслея — в тот день, например, когда у неё лопнула шина по дороге на урок музыки; впоследствии он, видимо, попал в какую-то беду. Труп казнённого свитера, лежавший на заднем сидении, всё норовил — как бы я ни располагал его складки — обнаружить разные очертания, относившиеся к Траппу Скиллеру, к вульгарности и похабной добротности его тела, и, с целью нейтрализовать его грубый и порочный вкус, я решил привести себя в особенно изящный вид — проснулся с этой мыслью и успел придавить стерженёк будильника, не дав ему взорваться в наставленный час. Затем со строгой и романтической тщательностью человека, собирающегося на дуэль, я проверил, в порядке ли бумаги, выкупался, надушился, побрил лицо и грудь, выбрал шёлковую рубашку и чистые подштанники, натянул прозрачно-тёмные носки и поздравил себя с тем, что захватил в сундуке кое-какие весьма щегольские вещи — например, замшевый жилет с перламутровыми пуговицами и бледный кашемировый галстук. Мне не удалось, увы, удержать в себе завтрак, но я отнёсся хладнокровно к этой пустяковой беде, вытер рот батистовым платочком, вынутым из рукава, по английской моде, и с глыбой синего льда вместо сердца, таблеткой на языке и увесистой смертью в заднем кармане ловко вступил в телефонную будку в Коулмонте (Ах-ах-ах, произнесла складная дверца) и набрал номер единственного Скиллера в потрепанной книжке: Скиллер, Поль, Мебель. Хриплый Поль ответил, что Ричард существует, что это его племянник, а живёт он — сейчас посмотрю — Улица Киллера, номер десять (всё это, конечно, первые попавшиеся псевдонимы). Ах-ах-ах, проговорила дверца.

Номер десять по Киллеровской улице оказался запущенным многоквартирным домом. Я проинтервьюировал нескольких унылых стариков и двух длинноволосых, розово-русых, невероятно грязных нимфеточек. (Признаюсь, что поглядывал, довольно рассеянно, просто так, — намечая легко одетую девочку, которую бы мог прижать к себе на минуту, когда покончу с убийством и всё станет всё равно, и никаких запретов уже не будет). Да, действительно, Дик Скиллер жил тут одно время, но съехал, когда женился. Никто не мог дать мне его новый адрес. «Может, в лавке знают», сказал низкий голос из дыры в панели (что-то там чинили) около того места, где я случайно остановился, разговаривая с двумя туманными старухами и скользя взглядом по тонким голым рукам их босоногих внуков. Я попал не в ту лавку, и осторожный седой негр покачал отрицательно головой, даже до того как я спросил что-либо. Перейдя улицу, я вошёл в мизерный лабаз, и там вызванный по моей просьбе покупателем дух женщины громко ответил из подвальной бездны (повторившей тему мужского духа в панельной дыре): «Улица Гунтера, последний дом».

Улица Гунтера находилась очень далеко, на совсем уже безнадёжной окраине, в мире высоких мусорных куч и глубоких канав, червивых огородиков и кривых лачуг, серой мороси и красной глины, да каких-то фабричных труб, дымившихся в отдалении. Я остановился у «последнего дома» — сколоченной из досок лачуги, за

которой, в стороне от дороги, виднелось ещё две-три таких же хижины и широкий пустырь, весь в поблеклых сорняках. Из-за домишки доносился стук молотка, и несколько минут я сидел в своей старой машине, сам старый и непрочный, в конце своего долгого пути, у серой цели, finis, друзья, finis, злодеи. Было около двух часов дня. Пульс был то сорок, то сто. Мелкий дождь шелестел об капот Икара. Пистолет переместился в правый карман штанов. Лохматая дворняга с мокрой от грязи шерстью, висящей с брюха, вышла из-за дома, остановилась в недоумении и затем принялась благодушно гуф-гуфкать на меня, жмурясь и дёргая вверх нос; перестала, погуляла кругом да около, да разок опять гуфнула.

29

Я вышел из автомобиля и захлопнул за собой дверцу. Как прозаично, как прямолинейно прозвучал этот хлопок в пустоте бессолнечного дня! «Гуф», почёл нужным комментировать пёс. Я нажал на кнопку звонка; его вибрация прошла по всему моему составу. Personne : никого. Je resonance, repersonne: звоню вновь, никоньновь. Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор? «Гуф», вставила собака. Порывистое приближение, шарканье и шум (гуф) распахнувшейся двери.

Выросла дюйма на два. Очки в розовой оправе. Поновому высоко зачёсанные волосы, новые уши. Как просто! Этот миг, эта смерть — всё, что я вызывал в воображении свыше трёх лет, всё вдруг оказалось простым и сухим, как щепка. Она была откровенно и неимоверно брюхата. Лицо её как будто уменьшилось (всего прошло две секунды, но хочу им придать столько деревянной продолжительности, сколько жизнь может выдержать); побледнели веснушки, впали щёки; обнажённые руки и голени утратили весь свой загар, так что стали заметны на них волоски; она была в коричневом бумажном платье без рукавов и войлочных шлёпанцах.

«Господи!» выдохнула она после паузы, со всей полнотой изумления и радушия.

Не вынимая кулака из кармана, я каркнул: «Муж дома?»

Убить её, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил её. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда.

«Входи», сказала она с весёлой силой. Прижавшись к расщепляющемуся мёртвому дереву двери, Долли Скиллер попыталась, поскольку могла, распластаться (причём даже приподнялась на цыпочки), чтобы дать мне пройти, и мгновение так стояла, распятая, глядя вниз, улыбаясь порогу, со впалыми щеками и округлыми скулами, с белыми, как разбавленное молоко, руками, вытянутыми по дереву. Я прошёл, не задев выпуклости её ребёнка. Знакомое тепло Долли — с лёгкой примесью кухни. У меня зубы стучали, как у остолопа. «О нет, ты останешься снаружи» (к собаке). Она затворила дверь и последовала за мной и за своим брюхом в бедную, кукольного образца, комнату.

«Дик вон там», сказала она, указывая невидимой теннисной ракетой и приглашая меня пропутешествовать взглядом через эту комнату, служившую и гостиной и спальней, а затем через кухоньку и сквозь проём задней двери к тому месту, где, видимый в довольно примитивной перспективе, черноволосый молодой незнакомец в рабочем комбинезоне (казнь его я немедленно отменил) стоял спиной ко мне на лесенке, что-то приколачивая к лачуге соседа, более мясистого, чем он, парня (но с одной только рукой), который смотрел на него снизу. Эту картину в раме дальней двери она объяснила извинительным вздохом («мужчины, мол, любят строить») и спросила, позвать ли мужа.

Нет.

Стоя посреди слегка наклонного пола и производя маленькие вопросительные звуки, она проделала знакомые явайские жесты кистями рук и пальцами, предлагая мне этой схемой шуточной учтивости выбрать между качалкой и диваном (их постелью в ночные часы). Говорю «знакомые», ибо однажды она пригласила меня с таким же «танцем рук» в бердслейскую нашу гостиную, когда происходила там её вечеринка. Мы оба присели на диван. Любопытно: хотя в сущности её красота увяла, мне стало ясно только теперь — в этот безнадежно поздний час жизненного дня — как она похожа — как всегда была похожа — на рыжеватую Венеру Боттичелли — тот же мягкий нос, та же дымчатая прелесть. В глубине кармана мои пальцы тихонько выпустили, только чуточку подтолкнув его поглубже в платок, в котором он ютился, мой неупотребленный кольт.

«Это не тот, который мне нужен», сказал я.

Расплывчатое выражение радушия ушло из её глаз. Её лоб наморщился, как в старые, горькие дни:

«Какой — тот?»

«Где он? Живо!»

«Слушай», сказала она, склонив набок голову и тряся ею в таком положении: «Слушай, ты не будешь начинать

всё это снова».

«Очень даже буду», сказал я, и в продолжение минуты (как ни странно, это оказалось единственной благостной, приемлемой минутой за всё наше свидание) мы смотрели друг на дружку, ошестинившись, словно она всё ещё была моя.

Как умная девочка, она первая овладела собой.

Из её последующих слов выяснилось, что Дик ничего не знал обо всей этой истории. Он думал, что она моя дочь. Он думал, что она родилась в знатной семье и убежала из дому ради того, чтобы мыть посуду в трактире. Он всему верил. Зачем усложнять и так трудное положение, зачем разгребать всю эту грязь?

Я возразил, что ей полагается быть благоразумной, полагается быть очень благоразумной девочкой (с таким голым барабаном под тонкой коричневой материей), ибо, если она рассчитывает на помощь, которую я собирался оказать, то должна понять, что мне нужно знать всё.

«Ну-ка, пожалуйста: его имя!»

Как — она думала, что я давно угадал...

Это было такое (тут она улыбнулась лукаво и грустно) сенсационное имя, что я просто никогда не поверю. Она сама едва может поверить.

— Имя его, моя осенняя нимфа.

Ах, это было уже так не важно. Лучше оставить этот разговор.

Не хочу ли курить?

— Нет. Его имя.

Покачала головой чрезвычайно решительно. Считала, что уже поздно устраивать скандал — и что всё равно я никогда не поверю невероятному, невероятнейшему.

Я встал, говоря, что мне пора, привет мужу, приятно было повидать её.

Сказала, что я напрасно настаиваю — никогда она его не назовёт... но что с другой стороны... в конце концов...

«Ты действительно хочешь знать, кто это был? Так вот, это был...»

И тихонько, конфиденциально, высоко подняв узкие брови и выпятив запёкшиеся губы, она с лёгкой иронией, но не без нежности, и как бы издавая приглушённый свист, произнесла имя, которое проницательный читатель давно уже угадал.

Уотерпруф, сказала Шарлотта. Почему ничтожное воспоминание о летнем дне на озере мелькнуло у меня в памяти? Я тоже давно угадал это имя, но только подсознательно, не отдавая себе в этом отчёта. Теперь я не испытал ни боли, ни удивления. Спокойно произошло слияние, всё попало на своё место, и получился, как на составной картине-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчётом, чтобы в нужный момент упал созревший плод; да, с определённым и порочным расчётом (она ещё говорила, но я не слушал, погружённый в золотой покой) выразить свой золотой и чудовищный покой через то логическое удовлетворение, которое мой самый недружелюбный читатель должен теперь испытать.

Она, как я сказал, всё ещё говорила. Я наконец включился в её свободно полившуюся речь. Он, оказывается, был единственный мужчина, которого она безумно любила. Позволь — а Дик? Ах, Дик — чудный, полное супружеское счастье и всё такое, но она не это имела в виду. А я — я был, конечно, не в счёт?

Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслышанный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний, чуждый всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном пиджаке когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок её детского тела. В её бледно-серых глазах, за раскосыми стёклами незнакомых очков, наш беднецкий роман был на мгновение отражён, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник, на который явились только самые неинтересные люди, как надоевшее упражнение, как корка засохшей грязи, приставшей к её детству.

Я только-только успел судорожным движением убрать колено из радиуса действия схематического тычка — одного из её новоприобретённых жестов.

Попросила меня не говорить глупостей. Что прошло, то прошло. Признавала, что в общем я был хорошим отцом, — отдавая мне долг хоть в этом. Продолжай, Долли Скиллер.

Знал ли я, например, что он был знаком с её матерью? Что он даже считался давним другом семьи? Что он приезжал к своему дяде в Рамздэль — ах, очень давно — и выступал с лекцией в клубе у мамы, и вдруг загрёб её и потащил её, Долли, за голую руку к себе на колени в присутствии всех этих дам, и расцеловал её, а ей было всего десять лет, и она очень на него рассердилась? Знал ли я, что он заметил меня и её в той гостинице каких-то охотников, где он писал ту самую пьесу — да «зачарованных», — которую она репетировала в

Бердслее два года спустя? Что он ей говорил невозможные вещи внизу в холле? Знал ли я, что — Ах, это было так гадко с её стороны запутать меня и заставить поверить, что Клэр пожилая дама — родственница его, что ли, или бывшая подруга жизни — и, батюшки, как легко было попасться, когда газета в Уэйсе напечатала его портрет!

В Брайсландской газете портрета не было. В самом деле, очень забавно.

— Да (продолжала она), жизнь — серия комических номеров. Если бы романист описал судьбу Долли, никто бы ему не поверил.

Тут донеслись бодрые, домашние звуки со стороны кухни, в которую Дик и Билль ввалились в поисках пива. В открытую дверь они увидели гостя, и Дик вошёл в комнату.

«Дик, это мой папа!» крикнула Долли звонким, напряжённым голосом, показавшимся мне совершенно диким, и новым, и радостным, и старым, и грустным, ибо молодой человек, ветеран далёкой войны, был почти совершенно глух.

Морского цвета глаза, чёрный ёжик, румяные щёки, небритый подбородок. Мы обменялись рукопожатием. Дискретный Билль, — который, видимо, гордился тем, что мог творить чудеса одной рукой, — принёс открытые им жестянки пива. Хотел отретироваться. Преувеличенная вежливость пролетария. Его заставили остаться. Семейная картина на рекламе пива. В сущности и я и Скиллеры предпочитали компанию. Я пересел в нервно заходившую качалку. Жадно жуя, беременная Долли угощала меня алтейными лепёшками, арахисовыми орешками и картофельным хворостом. Мужчины поглядывали на её хрупкого, зябкого, миниатюрного, старосветского, моложавого, но болезненного отца в бархатном пиджаке и бежевом жилете: быть может, виконт.

У них создалось впечатление, что я приехал к ним на несколько дней, и Дик, сильно морща лоб, что означало напряжённую работу мысли, предложил, что Долли и он могут спать на кухне, разложив там запасной матрац. Я легонько помахал рукой и объяснил Долли (которы передала это дальше посредством особого раската голоса), что я просто заехал на часок по дороге в Лектобург, где меня ожидают друзья и поклонники. Тут мы заметили кровь на одном из немногих больших пальцев, оставшихся у Билля (оказавшегося довольно неудачливым чудотворцем). Как было женственно, никогда раньше мной не виданное в таком преломлении, теневое раздвоение её бледных грудей, наметившееся в разрезе платья, когда она склонилась над рукой калеки! Она повела его чиниться на кухню (ванной не было). В продолжение трёх-четырёх малых вечностей, которые прямо-таки набухали от искусственного тепла взаимных чувств, Дик и я оставались одни. Он сидел на стуле, потирая передние конечности и продолжая морщить лоб; у меня явилось праздное желание выжать угри на его потном носу моими длинными блестящими когтями. Мне понравились его хорошие грустные глаза и очень белые зубы. Менее привлекателен был его громадный, волосатый кадык. Почему они не бреются чаще, эти молодые ядрёные парни? Он и его Долли имели безудержные половые сношения на этом диване по крайней мере сто восемьдесят раз с тех пор, как она зачала. А до того — как давно они знали друг друга? Странно — никакого недоброго чувства я к нему не испытывал; ничего, кроме страдания и отвращения. Он теперь тёр нос. Я не сомневался, что когда он наконец откроет рот, то скажет (слегка трясая головой из стороны в сторону): «Эх, девчонка у вас первый сорт, мистер Гейз. Это уж верно. И матерью она тоже будет первосортной». Бедняга открыл рот — и отхлебнул пива. Это ему придало уверенности, и он продолжал пить маленькими глотками до пены у рта. Он был, сказала она, чудный. Он в ладони свои заключал её флорентийские грудки. Ногти у него были чёрные и подломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная, изящная кисть были гораздо, гораздо благороднее, чем у меня. Я слишком много терзал человеческих жертв моими бедными искривлёнными руками, чтобы гордиться ими: французские фразы, крупные костяшки дорсетского крестьянина, приплюснутые пальцы австрийского портного — вот вам Гумберт Гумберт.

Ладно. Если он хочет молчать, я могу молчать тоже. Вообще говоря, не мешало бы мне отдохнуть в этой притихшей, до смерти испуганной качалке, до того как отправиться искать логовище зверя: там оттяну крайнюю плоть пистолета и упыюсь оргазмом спускового крючка — я всегда был верным последователем венского шамана. Но постепенно меня стала разбирать жалость к бедному Дику, которому, каким-то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать («Девчонка у вас первый сорт...»).

«Итак», сказал я, «вы собираетесь в Канаду?»

На кухне Долли смеялась чему-то сказанному или совершённом Биллем.

«Итак», заорал я, «вы собираетесь в Канаду? То есть, не в Канаду», заорал я опять. «Хочу сказать — в Аляску».

Он обхватил ладонями стакан и, с мудрым видом кивая, ответил: «Что же, я так полагаю, что он поранил себя



острым краем. Руку-то он потерял в Италии».

Дивные миндали в лиловато-розовом цвету. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в их пуантилистическом кармине, с маленькой цветочницей, нататуированной на тыльной стороне кисти. Долли и подклеенный Билль появились снова. Я мельком подумал, что её двусмысленная красота, её коричневым оттенённая бледность, вероятно, возбуждают калеку. Дик, облегчённо осклабясь, встал со стула. Он полагал, что Биллю и ему пора вернуться к работе над проволоками. Он полагал, что у мистера Гейза и Долли есть много о чём покалякать. Он полагал, что ещё увидит меня до моего ухода. Почему эти люди так много полагают, и так мало бреются, и так презирают слуховые аппараты?

«Садись», сказала она, звучно ударив себя по бёдрам. Я опять опустился в чёрную качалку.

«Итак, вернёмся к делу. Ты, значит, предала меня. Куда вы поехали? Где он сейчас?»

Она взяла с камина глянцевирую вогнутую фоточку. Пожилая женщина в белом, толстая, сияющая, колченогая, в очень коротком платье; и мужчина в жилетке: моржовые усы, цепочка от часов. Родители мужа. Живут с семьёй его брата в Джуно.

«Ты уверен, что не хочешь папироску?»

Она закурила. Я впервые видел её курящей. Строго воспрещалось в царствование Гумберта Грозного. Плавно, в синеватой дымке, Шарлотта Гейз встала из гроба. Я, конечно, найду его без труда, через дядю-дантиста, если не скажет.

«Предала тебя? Нет». Она направила в камин стрелу папиросы, быстро постукивая по ней указательным пальцем, совершенно как это делала её мать, и совершенно так же, Боже мой, ногтем соскребая частичку папиросной бумаги с нижней губы. Нет. Она меня не предавала. Всё произошло по-дружески. Эдуза предупредила её в своё время, что Ку не равнодушен к маленьким девочкам — его раз чуть ли не в тюрьму посадили, между прочим, и он знал, что она знает. Положив локоть на ладонь, затынулась, улыбнулась, выпустила дым, стрельнула опять в направлении камина. Погрузилась в воспоминания. Дело в том, что он видел насквозь (с улыбкой), всё и всех, потому что он не был как я или она, а был гений. Замечательный человек. И такой весельчак. Катался со смеху, когда она ему призналась в моих с ней отношениях, какое же тут предательство, раз было вполне безопасно ему рассказать?

«Ну, так вот. Ку — его все звали Ку».

Так назывался, сокращённо, её летний лагерь (Кувшинка). Забавное совпадение. Он, значит, повёз её на шикарное ранчо в трёхстах милях от как его... Элефанта (Эльфинстон). А как называлось ранчо? Ах, очень глупое название: Дук-Дук — ничего не значащее слово (ну, это положим)... но это, вообще, теперь всё равно, так как место исчезло, испарилось. А какая была прелесть — я представить себе не могу феноменальную роскошь этого ранчо — там всё было, ну, просто всё — даже собственный водопад внутри дома! Я, может быть, помнил рыжего типа, с которым мы (мы!) как-то играли в теннис? Ранчо принадлежало, собственно, брату рыжего, но он его уступил Ку на лето. Когда Ку с ней приехал, им устроили нечто вроде коронации, а потом взяли и бросили в бассейн, чуть не утопили, как делают при переходе через экватор. Ну, ты знаешь...

Закатила глаза в знак искусственной покорности судьбе.

«Пожалуйста, дальше».

Ну, так вот. Предполагалось, что он повезёт её в сентябре в Холливуд — посмотреть, годится ли она для эпизодической роли в фильме, основанном на его пьесе «Золотые Струны». Она надеялась даже, что ей дадут дублировать одну из знаменитейших актрисочек на клиговым светом ослепительно облитом теннисном корте. Увы, до этого никогда не дошло.

«Где теперь находится негодяй?»

Почему — негодяй? Замечательный человек во многих смыслах. Но там в ранчо жизнь состояла сплошь из пьянства и наркотиков. И, конечно, он был совершенный монстр в половом отношении, и его друзья были его рабами. Я не могу себе представить (я, Гумберт, не могу себе представить!), какими вещами все они занимались в Дук-Дуковом Ранчо. Она наотрез отказалась принимать в этом участие, и он её прогнал.

«Какие вещи?»

«Ах, странные, поганые, фантастические вещи. Видишь ли, у него там были и девочки, и мальчики, и несколько взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы Бог знает что проделывали все вместе в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъёмку». (Жостине маркиза де Сада было вначале двенадцать лет.)

«Что именно — проделывали?»

«Ах, гадости... Ах я, нет, право же, я...» (Она произнесла это «я» как сдавленный крик, прислушиваясь к источнику тягучей боли, и за неимением слов растопырила все пять пальцев угловато разрезающей воздух руки.

Нет — не могла, отказывалась подробнее объяснить в присутствии ребёнка, которого несла.

Что ж, её дело.

«Да и какое это имеет значение теперь», сказала она, кулаком уминая подушку и затем поворачиваясь животом вверх на диване. «Дикие вещи, грязные вещи. Я сказала — нет, ни за что не стану — (она наивно употребила непечатный вульгаризм для обозначения прихоти, хорошо известной нам обоим) твоих мерзких мальчишек, потому что мне нужен только ты. Вот и вышвырнул он меня».

Оставалось немного досказать. В ту зиму (1949—1950), Фэй и она тяжёлым трудом зарабатывали на жизнь. В течение двух лет она переходила с места на место, работая в маленьких пришеосейных ресторанах, а потом встретила Дика. Нет, она не знала, где находится тот. Вероятно, где-нибудь в Нью-Йорке. При его знаменитости, она, разумеется, легко бы его нашла, если бы захотела. Фэй попробовала вернуться в ранчо, но оно просто не существовало больше — сгорело дотла, ничего не оставалось, только чёрная куча мусора. Это ей показалось так странно, так странно...

Что ж, у Мак-Ку было тоже похожее имя, и тоже сгорел дом.

Она прикрыла глаза и разинула рот, откинувшись назад на подушку и опустив одну байковую ножку на пол. Пол шёл слегка под уклон, стальной шарик докатился бы прямо до кухни. Я знал теперь всё, что мне нужно было знать. В мои намерения не входило терзать мою милочку. Где-то за лачугой Билля радио запело после трудового дня о безумной, обречённой любви, и вот она была передо мной, уже потрёпанная, с уже не детскими вспухшими жилами на узких руках, с гусиными пупырышками на бледной коже предплечьев, с не мкими «обезьяньими» ушами, с небритыми подмышками, вот она полулежала передо мной (моя Лолита!), безнадежно увядшая в семнадцать лет, с этим младенцем в ней, уже мечтающим стать, небось, большим заправилой и выйти в отставку в 2020-ом году, — и я глядел, и не мог наглядеться, и знал — столь же твёрдо, как то, что умру, — что я люблю её больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том. От неё оставалось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки, на которую я наваливался с такими криками в прошлом; эхо на краю красного оврага, с далёким лесом под белесым небом, с бурными листьями, запрудившими ручей, с одним последним сверчком в сухом бурьяне... Но, слава Богу, я боготворил не только эхо. Грех, который я, бывало, лелеял в спутанных лозах сердца, *mon grand p?ch? radieux*[129], сократился до своей сущности: до бесплодного и эгоистического порока; и его то я вычёркивал и проклинал. Вы можете глумиться надо мной и грозить очистить зал суда, но, пока мне не вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою Лолиту, эту Лолиту, бледную и осквернённую, с чужим ребёнком под сердцем, но всё ещё сероглазую, всё ещё с сурмянистыми ресницами, всё ещё русую и миндальную, всё ещё Карменситу, всё ещё мою, мою... *Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part o? nous ne serons jamais s?par?s.*[130] Огайо? Дебри Массачусетса? Мерри Мэй? Всё равно, даже если эти её глаза потускнеют до рыбьей близорукости и сосцы набухнут и потрескаются, а прелестное, молодое, замшевое устье осквернят и разорвут роды, — даже тогда я всё ещё буду с ума сходить от нежности при одном виде твоего дорогого, осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса, моя Лолита.

«Лолита», проговорил я, это, может быть, бессмысленно и бесполезно, но я должен это сказать. Жизнь весьма коротка. Отсюда до старого автомобиля, который так хорошо тебе знаком, двадцать, двадцать пять шагов расстояния. Это очень небольшая прогулка. Сделай эти двадцать пять шагов. И будем жить-поживать до скончания века.

*Carmen, voulez-vous venir avec moi?*[131]

«Ты хочешь сказать», ответила она, открыв глаза и слегка приподнявшись (змея, собирающаяся ударить), «ты хочешь сказать, что дашь нам (нам!) денег, только если я пересплю с тобой в гостинице? Ты это хочешь сказать?»

«Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика, и эту страшную дыру и переехала ко мне — жить со мной, умереть со мной, всё всё со мной» (даю общий смысл моих слов).

«Ты ненормальный», сказала она, по-детски гримаснищая.

«Обдумай, Лолита. Никакой разницы не будет. Кроме — одной вещи, но это не важно (отмены казни, я хотел сказать, но не сказал). Во всяком случае, даже если ты откажешься, ты всё равно получишь своё...

*trousseau*[132]».

«Ты не шутишь?» спросила Долли.

Я передал ей конверт с четырьмястами долларами и чеком на три тысячи шестьсот.

Неуверенно, с опаской, она приняла *mon petit cadeau*[133], и вдруг лоб у неё залился очаровательной розовой

краской.

«Погоди-ка», проговорила она с мучительной силой, «ты нам даёшь четыре тысячи монет?»

Я прикрыл лицо рукой и разразился слезами — самыми горячими из всех пролитых мной. Я чувствовал, как они выются промеж моих пальцев и стекают по подбородку, и обжигают меня, и нос у меня был заложен, и я не мог перестать рыдать, и тут она прикоснулась к моей кисти.

«Я умру, если тронешь меня», сказал я. «Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдалённой надежды, что поедешь? Только на это ответь мне».

«Нет», сказала она, «нет, душка, нет». Первый раз в жизни она так ко мне обратилась.

«Нет», повторила она. «Об этом не может быть речи. Я бы, скорее, вернулась к Ку. Дело в том, что...»

Ей не хватило, видимо, слов. Я мысленно снабдил её ими — («...он разбил моё сердце, ты всего лишь разбил мою жизнь»).

«Это так дивно», продолжала она, — упс! (конверт соскользнул с дивана на пол, она подняла его), «так невероятно дивно с твоей стороны... такую уйму денег! Это разрешает все вопросы. Мы можем выехать хоть на будущей неделе. Перестань плакать, прошу тебя! Ты должен понять. Позволь мне принести тебе ещё пива? Ах, не плачь! Мне так жалко, что я так обманывала тебя, но ничего теперь не поделаешь».

Я вытер лицо и пальцы. Она улыбалась глядя на cadeau. Она ликовала. Хотела позвать Дика. Я сказал, что через минуту мне будет пора уезжать и что совсем, совсем не хочу его видеть. Мы попробовали найти тему для разговора. Почему-то я всё видел перед собой — образ дрожал и шелковисто поблёскивал на влажной сетчатке — яркую девочку двенадцати лет, сидящую на пороге и камушками звонко попадающую в пустую жестянку. Я уже начал говорить — в поисках небрежного замечания: «Интересно, что случилось с маленькой Мак-Ку — поправилась ли она?..» — но остановился вовремя, боясь, что она возразит: «Интересно, что случилось с маленькой Гейз?» В конце концов, пришлось вернуться к денежным вопросам. Переданный ей чек представлял собой чистый доход от сдачи материнского дома. Она удивилась — думала, что он давным-давно продан. Нет ещё. (Я, впрочем, действительно это сказал ей в своё время, чтобы порвать всякую связь с Рамздэлем.)

Поверенный скоро пришлёт ей полный отчёт о финансовом положении. Положение — отличное. Дом можно продать за приличную цену. Некоторые из недорогих акций, принадлежавших её матери, необыкновенно поднялись. Нет, мне правда пора. Пора мне идти, и найти его, и его уничтожить.

Так как я знал, что не переживу прикосновения её губ, я довольно долго отступал, как бы в жеманном танце, при каждом движении, которое она и её брюхо делали в моём направлении.

Она и собака проводили меня. Меня удивило (нет, это риторический оборот — совсем не удивило), что вид автомобиля, в котором она так много ездила и ребёнком, и нимфеткой, никак на неё не подействовал. Заметила только, что он, мол, кое-где как-то полиловел от старости. Я сказал, что он принадлежит ей, что я могу взять автобус. Попросила меня не говорить глупостей, они отправятся на самолёте на Юпитер или Юкон и там купят машину; я сказал, что в таком случае я покупаю у неё старый Икар за пятьсот долларов.

«Таким темпом мы будем скоро миллионерами!», воскликнула она, обращаясь к восторженно дышащей собаке, — которую они с собой не собирались брать.

Carmencita, lui demandais-je... [134]

«Одно последнее слово», сказал я на своём отвратительно правильном английском языке. «Ты ведь вполне уверена, что — ну, хорошо, не завтра и не послезавтра — но когда-нибудь, всё равно когда, ты не приедешь ко мне жить? Я сотворю совершенно нового бога и стану благодарить его с пронзительными криками, если только ты подашь мне эту микроскопическую надежду» (общий смысл).

«Нет», ответила она, улыбаясь. «Нет».

«А меж тем это бы кое-что изменило», сказал Гумберт Гумберт.

Затем он вытащил пистолет... то есть, читатель ждёт, может быть, от меня дурацкого книжного поступка. Мне же и в голову не могло это прийти.

«Гуд-бай-ай!» пропела она, моя американская, милая, бессмертная, мёртвая любовь; ибо она мертва и бессмертна, если вы читаете эти строки (подразумеваю официальное соглашение с так называемыми властями). Отъезжая, я слышал, как она раскатистым воплем звала своего Дика; собака же пустилась волнистым аллюром толстого дельфина сопровождать автомобиль, но была чересчур тяжела и стара и вскоре отстала.

День умирал, я уже катил по шоссе под мелким дождиком, и, как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами.

Покинув Коулмонт под вечер (по шоссе Икс — не помню номера), я бы мог доехать до Рамздэля на рассвете, если бы не соблазнился мнимым сокращением пути. Мне нужно было попасть на автостраду Игрек. Карта невозмутимо показывала, что сразу за Вудбайном, до которого я доезжал к ночи, я мог покинуть шоссе Икс и добраться до автострады по немощёной поперечной дороге. Ехать по ней надо было всего около часа (сорок миль). В противном случае пришлось бы продолжать по шоссе Икс ещё миль сто и только тогда воспользоваться петлистым, ленивым шоссе Зед, чтобы попасть на нужную мне автостраду.

Немощёная дорога, однако, становилась всё хуже, ухабы — всё ужаснее, грязь — всё гуще, и, когда после десяти миль подслеповатого, чертовского, черепашьего продвижения, я попытался повернуть вспять, мой старый, слабый Икар застрял в глубокой глине. Кругом было темно, всё было напитано сыростью и безнадёжностью. Мои фары повисали над широкой канавой, полной воды. Окрестность, если и существовала, сводилась к чёрной пустыне. Сколько я ни пытался высвободиться, мои задние колёса только выли в слякоти и тоске. Проклинаю судьбу, я снял щегольской костюм, надел рабочие штаны, галоши, изрешечённый пулями свитер и обратно прошёл по грязи мили четыре к придорожной ферме. Пока я шёл, дождь полил как из ведра, но у меня не хватило сил вернуться за макинтошем. Подобные происшествия убедили меня, что у меня в сущности здоровое сердце — несмотря на недавние диагнозы. Около полуночи ремонтник вызволил мою машину. Я вернулся кое-как на шоссе Икс и покатил дальше. После часа езды на меня нашло крайнее изнеможение. Я остановился у тротуара в анонимном городишке и во мраке всласть насосался сладкого джина из верной фляги. Дождь был давно отменён. Чернела тёплая аппалачская ночь. Изредка проезжали мимо меня автомобили: удаляющиеся рубины, приближающиеся бриллианты; но городок спал. Не было на тротуарах той весёлой толкучки прохлаждающихся граждан, какую видишь у нас по ночам в сладкой, спелой, гниющей Европе. Я один наслаждался тут благотворностью невинной ночи и страшными своими думами. Проволочная корзина у панели была чрезвычайно щепетильна насчёт принимаемого: «Для Сора и Бумаги, но не для Отбросов» говорила надпись. Хересовые литеры светились над магазином фотоаппаратов. Громадный градусник с названием слабительного прозябал на фронте аптеки. Ювелирная лавка Рубинова щеголяла витриной с искусственными самоцветами, отражавшимися в красном зеркале. Фосфористые часы с зелёными стрелками плавали в полотняных глубинах прачешной «Момент». По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил «Автора убили» (на самом деле — «Автомобили»). Самолёт, который тот же Рубинов разукрасил камушками, пролетел, с гудением, по бархатным небесам. Как много перевидал я спавших мёртвым сном городишек! Этот был ещё не последний.

Позвольте мне поболтаться немножко без дела — ведь участь его решена. Ритм неоновых огней, мерцавших по ту сторону улицы, был вдвое медленнее биения моего сердца: очерк большого кофейника над рестораном через каждые две секунды вспыхивал изумрудной жизнью, и, как только он гас, его там же сменяли розовые буквы, провозглашавшие «Отличная Кухня», — но кофейник всё ещё дразнил глаз латентной тенью перед своим новым изумрудным воскресением из мёртвых. Мы делали рентгеновские снимки, это считалось страшно забавным. Рубиново-изумрудный городок находился не очень далеко от «Зачарованных Охотников». Я опять рыдал, пьянея от невозможного прошлого.

31

На этой одинокой остановке между Коулмонтом и Рамздэлем (между невинной Долли Скиллер и жовиальным дядей Айвором) я пересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельной простотой и ясностью я видел теперь и себя и свою любовь. По сравнению с этим прежние обзоры такого рода казались вне фокуса. Года два тому назад, в минуту метафизического любопытства, я обратился к умному, говорящему по-французски духовнику, в руки которого я передал серое безверие протестанта для старомодного папистского курса лечения, надеясь вывести из чувства греха существование Высшего Судии. В те морозные утра, в кружевном от инея Квебеке, добрый аббат работал надо мной с утонченнейшей нежностью и пониманием. Я бесконечно благодарен и ему, и великой организации, которую он представлял. Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что, какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть всё то дикое, грязное, к чему моё вожделение принудило её. Поскольку не доказано мне (мне, каков я есть сейчас, с нынешним моим сердцем, и отпущенной бородой, и начавшимся физическим разложением), что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены ни веса в разрезе вечности

— поскольку мне не доказано это (а если можно это доказать, то жизнь — пошлый фарс), я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий, как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства. Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшего поэта:

Так пошлиною нравственности ты  
Обложено в нас, чувство красоты!

32

Помню день, во время нашей первой поездки — нашего первого круга рая, — когда для того, чтобы свободно упиваться своими фантазмагориями, я принял важное решение: не обращать внимания на то (а было это так явно!), что я для неё не возлюбленный, не мужчина с бесконечным шармом, не близкий приятель, даже вообще не человек, а всего только пара глаз да толстый фаллос длиною в фут — причём привожу только удобопроводимое. Помню день, когда, взяв обратно (чисто-практическое) обещание, из чистого расчёта данное ей накануне (на счёт чего-то, чего моей смешной девочке страстно хотелось, посетить, например, новый роликовый каток с особенной пластиковой поверхностью или пойти без меня на дневную программу в кино), я мельком заметил из ванной, благодаря случайному сочетанию двух зеркал и приотворённой двери, выражение у неё на лице — трудноописуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия — именно потому, что чувство несправедливости и непреодолимости дошло до предела, а меж тем всякий предел предполагает существование чего-то за ним — отсюда и нейтральность освещения; и, принимая во внимание, что эти приподнятые брови и приоткрытые губы принадлежали ребёнку, вы ещё лучше оцените, какие бездны расчётливой похоти, какое вторично отразившееся отчаяние удержали меня от того, чтобы пасть к её дорогим ногам и изойти человеческими слезами, — и пожертвовать своей ревностью ради того неведомого мне удовольствия, которое Лолита надеялась извлечь из общения с нечистоплотными и опасными детьми в наружном мире, казавшемся ей настоящим.

Есть у меня и другие полузадушенные воспоминания, которые ныне встают недоразвитыми монстрами и терзают меня. Однажды, на бердслейской улице с закатом в пролёте, она обратилась к маленькой Еве Розен (я сопровождал обеих нимфеток на концерт и, подвигаясь за ними, в толпе у кассы держался так близко, что тыкался в них), — и вот слышу, как моя Лолита, в ответ на слова Евы, что «лучше смерть, чем Мильтон Пинский (знакомый гимназист) и его рассуждения о музыке», говорит необыкновенно спокойно и серьёзно: «Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе»; и меня тогда поразило, пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившей у любимой моей в головке и что, может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, — дымчатая обворожительная область, доступ к которой запрещён мне, оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья; ибо я часто замечал, что, живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чем-нибудь отвлечённом (о чём могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный, я и Аннабелла, Лолита и сублимированный, вылизанный, анализированный, обожествлённый Гарольд Гейз), об искусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом настоящем предмете. Не тут-то было! Она одевала свою уязвимость в броню дешёвой наглости и нарочитой скуки, между тем как я, пользуясь для своих несчастных учёных комментариев искусственным тоном, от которого у меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудитории такие взрывы грубости, что нельзя было продолжать, о, моя бедная, замученная девочка.

Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я был жесток, низок, всё что угодно, *mais je t'aimais, je t'aimais*[135]! И бывали минуты, когда я знал, что именно ты чувствуешь, и неимоверно страдал от этого, детёныш мой, Лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер...

Вспоминаю некоторые такие минуты — назовём их айсбергами в раю, — когда, насытившись ею, ослабев от баснословных, безумных трудов, безвольно лёжа под лазеревой полосой, идущей поперёк тела, я, бывало, заключал её в свои объятия с приглушённым стоном человеческой (наконец!) нежности.

Её кожа лоснилась в неоновом луче, проникавшем из мотельного двора сквозь жалюзи, её чёрные, как сажа, ресницы слиплись; её серые, без улыбки, глаза казались ещё безучастнее, чем обычно, — она до смешного напоминала маленькую пациентку, не совсем ещё вышедшую из тумана наркоза после очень серьёзной операции; и тут нежность моя переходила в стыд и ужас, и я утешал и баюкал сиротливую, лёгонькую Лолиту, лежавшую на мраморной моей груди, и, урча, зарывал лицо в её тёплые кудри, и поглаживал её наугад, и, как Лир, просил у неё благословения, и на самой вершине этой страдальческой бескорыстной нежности (в миг, когда моя душа как бы повисала над её наготой и готова была раскаться), внезапно, с мерзостной иронией,

желание нарастало снова... «Ах, нет!», говорила Лолита, подняв, со вздохом, глаза к небу, и в следующую минуту и нежность и лазоревый луч — всё распалось.

Современные наши понятия об отношениях между отцом и дочерью сильно испакошены схоластическим вздором и стандартизированными символами психоаналитической лавочки; надеюсь, однако, что ниже следующие строки обращаются к беспристрастным читателям. Как-то раз, когда отец одной из её подруг (толстенькой Авис Чапман) громким гудком подал с улицы сигнал, что он приехал забрать свою дурнушку, я почувствовал себя обязанным пригласить его в гостиную; он присел на минутку, и, пока мы беседовали, Авис ластилась к нему и в конце концов грузно примостилась у него на коленях. Не помню, между прочим, отметил ли я где-нибудь, что у Лолиты была для чужих совершенно очаровательная улыбка, — мохнатое прищуривание глаз и милое, мечтательное сияние всех черт лица, — улыбка, которая ничего, конечно, не значила, но которая была так прекрасна, так самобытно нежна, что трудно её объяснить атавизмом, магической геной, произвольно озаряющей лицо в знак древнего приветственного обряда (гостеприимной проституции, скажет читатель поглубже). Она стояла поодаль, когда мистер Чапман сел и заговорил, вертя шляпу в руках, а затем — ах, смотрите, как глупо с моей стороны, я опустил главнейшую особенность знаменитой Лолитовой улыбки, а именно: её сладкая, как нектар, переливающаяся ямочками игра никогда не бывала направлена на гостя, а держалась, так сказать, собственной далёкой цветущей пустоты или блуждала с близорукой вкрадчивостью по случайным предметам — и было так сейчас. В ту минуту, как толстая Авис приблизилась и стала мешать своему папе вертеть шляпу, Лолита тихо сияла, разглядывая и потрагивая фруктовый нож, лежавший на краю стола, к которому она прислонялась далеко, далеко от меня. Авис теперь ухватила за отцовскую шею и ухо, а он, привычной рукой, полуобнял своё неуклюжее и крупное чадо, и вдруг я заметил, как улыбка Лолиты стала гаснуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки, и фруктовый нож соскользнул со стола и серебряным черенком случайно ударил её в щиколку, да так больно, что она охнула, согнулась вдвое и тотчас потом, прыгая на одной ноге, с лицом, искажённым той ужасной вступительной гримасой, которую ребёнок задерживает на растянутых губах перед рёвом, Лолита исчезла из комнаты и за ней побежала и стала утешать её на кухне добренькая Авис, у которой был такой отличный, жирный, розовый отец и маленький щекастый брат, и только что родившаяся сестричка, и домашний уют и две шотландских овчарки, умеющие улыбаться, а у Лолиты ничего не было.

Я заготовил изящное дополнение к этой сценке: мы всё ещё в Бердслее, Лолита, сидящая с книгой у камина, потягивается, крикает и спрашивает: «Где её, собственно говоря, похоронили?» — «Кого?» — «Ах, ты знаешь, мою зарезанную мать». — «Ты прекрасно знаешь, где находится её могила», ответил я, с большой выдержкой, и назвал кладбище — недалеко от Рамздэля, между железной дорогой и холмом, с которого видно озеро. «А кроме того», добавил я, «трагедию её случайной смерти не следовало бы опошлять такого рода эпитетом, к которому ты находишь нужным прибегать. Ежели ты действительно хочешь победить в себе самой идею смерти...» «Завёл шарманку», сказала Лолита и томно покинула комнату. Я долго глядел в огонь сквозь жгучие слёзы. Потом поднял с пола её книгу. Какаято бездарная чепуха «для юношества». Угрюмая маленькая Мара не ожидала, что её мачеха окажется весёлой, понятливой, рыжеволосой молодой женщиной, которая объяснила Маре, что покойная мать Мары совершила героический подвиг тем, что умышленно не выказывала никакой любви к обожаемой на самом деле дочери. Героическая мать умирала от неизлечимой болезни и не желала, чтобы девочка потом грустила по ней. Другой бы на моём месте с воплями помчался вверх к Лолите; я же всегда выбирал нравственную гигиену невмешательства. Но ныне, извиваясь как червь, и заклиная былое, я вспоминаю, что в этот раз и в другие разы я взял в привычку не обращать внимания на состояние Лолиты, дабы не расстраивать подлого Гумберта. Когда моя мать в промокшем платье, освещаемом грозой среди стремительно наплывающего тумана (так я воображал её смерть), побежала, с трудом дыша, вверх по гребню горы над Молинетто, где её сразила молния, я был младенцем, и впоследствии мне не удавалось задним числом привить себе никакой общепринятой сиротской тоски, как бы свирепо ни трепали меня психотерапевты в позднейшие периоды депрессии. Но признаюсь, что человек со столь мощным воображением, как моё, не может ссылаться на незнание общечеловеческих эмоций. Возможно также, что я слишком положился на ненормальную холодность отношений между Шарлоттой и её дочерью. Но ужасная сущность всего этого вопроса вот такая. Моя шаблонная Лолита за время нашего с ней неслыханного, безнравственного сожительства постепенно пришла к тому, что даже самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кровосмесительства — а лучше этого в конечном счёте я ничего и не мог дать моей бездомной девочке.

Возвращение в Рамздэль. Я приближался к нему со стороны озера. Солнечный полдень смотрел во все глаза: проезжая мимо в запачканном автомобиле, я различал алмазные искры между отдалёнными соснами. Свернул на кладбище, вышел и погулял между разнокалиберными памятниками. Bonjour, Charlotte. На некоторых могилах были воткнуты полупрозрачные национальные флажки, неподвижно опавшие в безветренной тени кипарисов. Эх, Эдя, не повезло же тебе, подумал я, обращаясь мысленно к некоему Эдуарду Граммару, тридцатипятилетнему заведующему конторой в Нью-Йорке, которого недавно арестовали по обвинению в убийстве тридцатилетней жены Доротеи. Мечты об идеальном преступлении, Эд проломил жене череп и труп посадил за руль автомобиля. Два чиновника дорожной полиции данного района видели издали, как большой новый синий Крайслер, подаренный Граммаром жене на рождение, с шальной скоростью съезжал под гору как раз на границе их юрисдикции. (Да хранит Господь наших храбрых полицейских — и районных и штатных!) Он задел столб, взнёсся по насыпи, поросшей остистой травой, земляникой и ползучей лапчаткой, и опрокинулся. Колёса всё ещё тихо вертелись на солнцепёке, когда патрульщики вытащили тело госпожи Г. Сначала им показалось, что она погибла вследствие обыкновенного крушения. Увы, ранения, вызвавшие её смерть, не соответствовали очень лёгким повреждениям, которые потерпел автомобиль. Я удачнее устроился. Покатил дальше. Со странным чувством узнал тонкую башню белой церкви и огромные ильмы. Забыв, что на американской пригородной улице одинокий пешеход больше выделяется, чем одинокий автомобилист, я оставил машину на бульваре, чтобы спуститься, как бы гуляя, по Лоун Стрит мимо номера 342. Перед предстоящим великим кровопролитием я имел право на небольшую передышку, на очистительную судорогу душевной отрыжки. Белые ставни виллы отставного тряпичника были закрыты, и кто-то подвязал найденную им чёрную бархатную ленту для волос к белой вывеске «Продаётся», склонившейся со своего шеста у тротуара. Не было больше пристающей собаки. Садовник никому не телефонировал. Большая старушка Визави не сидела на увитой виноградом веранде, — на которой теперь, к вящей досаде одинокого пешехода, две молодых женщины с понихвостными причёсками, в одинаковых передничках в чёрную горошину, прервали уборку для того, чтобы поглазеть на него. Она, верно, давно умерла, а это были, должно быть, её племянницы из Филадельфии. Войти ли в свой бывший дом? Как в Тургеневской повести, поток итальянской музыки лился из растворённого окна — окна гостиной. Какая романтическая душа играла на рояле там, где никакие клавиши не ныряли и не всплывали в тот заколдованный воскресный день, когда ласкало солнце голые ноги моей девочки? Вдруг я заметил, что с газона, который я некогда стриг, смуглая, темнокудрая нимфетка лет десяти, в белых трусиках, глядит на меня с чем-то диким в замороженном взоре больших чёрно-синих глаз. Я сказал ей два-три милых слова, совершенно невинных, — старомодный комплимент, вроде «какие у тебя прелестные глаза», но она поспешно попятилась, и музыка оборвалась, и весьма вспыльчивого вида черноволосый мужчина с блестящим от пота лицом выскочил в сад и грубо уставился на меня. Я было хотел представиться, но тут, с тем острым смущением, которое бывает во сне, я увидел, что на мне запачканные глиной синие рабочие брюки и отвратительно грязный дырявый свитер, ощутил щетину на подбородке, почувствовал, как налиты кровью мои глаза, глаза проходимца... Не говоря ни слова, я повернул и поплёлся назад к автомобилю. Чахлый цветочек, вроде маленькой астры, рос из памятной мне щели в тротуаре. Преспокойно воскресшую мисс Визави племянницы выкатили на веранду, точно эта веранда была ложей, а я актёром. Внутренне умоляя её не окликнуть меня, я ускорил шаг. Ну и крутая улочка! Я дошёл до глубокой тени бульвара. Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на две, четыре, восемь частей.

Сердась на себя, что трачу попусту время, я устремился в гостиницу, — ту самую, в которую заехал с новым чемоданом пять лет тому назад. Взял комнату с ванной, назначил по телефону два свидания — деловое и медицинское, — побрился, выкупался, надел чёрный костюм и спустился в бар. Там ничего не изменилось. Узкий зал был залит всё тем же тусклым, невозможно-гранатовым светом — которым когда-то в Европе отличались притоны, но который здесь просто «создавал настроение» в приличном, «семейном» отеле. Я сел за тот же столик, за которым сидел в самом начале моего пребывания в Рамздэле, в тот день, когда, став жильцом Шарлотты, я нашёл нужным отпраздновать новоселье тем, что по-светски с ней распил полбутылки шампанского, — чем роковым образом покорила её бедное, полное до краёв сердце. Как и тогда, лакей с лицом как луна распределял по астральной схеме пятьдесят рюмочек хереса на большом подносе для свадебного приёма (Мурфи, этот раз, сочетался браком с Фантазией). Без восьми три. Идя через холл, я должен был обойти группу дам, которые с mille gr<sup>tes</sup>[136] прощались и расходились после клубного завтрака. Одна из них с приветственным клёкотом набросилась на меня. Это была толстая, низенькая женщина, вся в жемчужно-сером,

с длинным, серым пером на шляпке. Я узнал в ней миссис Чатфильд. Она напала на меня с приторной улыбкой, вся горя злобным любопытством (не проделал ли я, например, с Долли того, что Франк Ласелль, пятидесятилетний механик, проделал с одиннадцатилетней Салли Горнер в 1948-ом году). Очень скоро я это жадное злорадство совершенно взял под контроль. Она думала, что я живу в Калифорнии. А как поживает?.. С изысканнейшим наслаждением, я сообщил ей, что моя падчерица только что вышла за блестящего молодого инженера-горняка, выполняющего секретное правительственное задание в северо-западном штате. Взятая врасплох, она возразила, что не одобряет таких ранних браков, что никогда бы она не позволила своей Филлис, которой теперь восемнадцать лет...

«Ах, конечно», сказал я спокойно. «Конечно, помню Филлис. Филлис и лагерь Кувшинка. Да, конечно. Кстати, ваша дочурка никогда не рассказывала вам, как Чарли Хольмс развращал там маленьких пансионеров своей гнусной матери?»

«Стыдно!», крикнула миссис Чатфильд, «как вам не стыдно, мистер Гумберт! Бедного мальчика только что убили в Корее».

«В самом деле», сказал я (пользуясь дивной свободой, свойственной сновидениям). «Вот так судьба! Бедный мальчик пробивал нежнейшие, невосстановимейшие перепоночки, прыскал гадючьим ядом — и ничего, жил превесело, да ещё получил посмертный орден. Впрочем, извините меня, мне пора к адвокату».

До конторы Виндмюллера было всего два блока. Рукопожатье его оказалось очень медленным, очень обстоятельным, очень крепким, но как бы вопросительным. Он думал, что я живу в Калифорнии. Не преподавал ли я одно время в Бердслейском университете? Туда только что поступила его дочь. А как поживает? Я дал полный отчёт о миссис Скиллер. Деловой разговор оказался приятнейшим. Я перевёл всё своё имущество на её имя и вышел в сентябрьский зной беззаботным нищим.

Теперь, когда я покончил с делами, я мог посвятить себя главной цели поездки в Рамздэль. До сих пор, придерживаясь той методичности, которой недаром горжусь, я не снимаю маски с лица Клэра Куильти; он сидел у меня в подземелье, ожидая моего прихода со служителем культа и брадобреем: «*Reveillez-vous, Tropman, il est temps de mourir!*» [137] Мне сейчас недосуг заниматься вопросом, как запоминаются физиономии (нахожусь на пути к его дядюшке и иду скорым шагом); но позволю себе отчеркнуть следующее: в спирту мутной памяти я сохранял чьё-то жабе лицо. Я видал это лицо мельком несколько раз и заметил в нём некоторое сходство с жизнерадостным и довольно противным родственником моим, жившим и умершим в Швейцарии. Помню его гантели, вонючее трико, толстые волосатые руки, и плешь, и свиноподобную горничнуюналожницу, — но в общем этот паршивец был довольно безобидный; слишком безобидный, добавлю, чтобы сойти за мою добычу. В странном состоянии ума, в котором я сейчас находился, я как-то потерял связь с образом Густава Траппа: его полностью поглотило лицо драматурга Клэра Куильти, таким, каким он был представлен, с художественной точностью, на рекламах папирос «Дромадер» и на кабинетной фотографии, стоявшей у его дядюшки на письменном столе.

В своё время, когда я был пациентом другого, бердслейского, зубного врача, симпатичнейшего доктора Мольнара, я подвергся серьёзной операции, после которой у меня осталось довольно мало передних зубов. Искусственные зубы, замещающие прорехи, держались при помощи пластиковых пластинок и незаметной проволоки, идущей по верхней десне. В рассуждении удобства, это устройство было шедевром, тем более что боковые зубы остались совершенно здоровыми. Однако, дабы снабдить тайную цель правдоподобным предлогом, я объявил доктору Айвору Куильти, что в надежде облегчить лицевую невралгию я решил удалить все зубы. Во что обойдётся аппарат? Сколько это всё займёт времени, если он назначит мне первый визит, скажем, в начале ноября? Где сейчас находится его знаменитый племянник? Можно ли будет всё вырвать за один раз?

Доктор Айвор (Ай-да-вор!) Куильти, толстяк в белом балахоне, с седым ежом и обширными плоскими щеками политикана-масона, присел на угол письменного стола, покачивая одной ногой, мечтательно и заманчиво, между тем как он развивал передо мной грандиозный дальнбойный план. Он сказал, что сначала построит мне «предварительный» аппарат, — я буду его носить, пока не осядут дёсны. Затем он мне соорудит перманентный протез. Хорошо было бы уже сейчас осмотреть полость рта. Он носил двухцветные башмачки с узором из дырочек на концах. Он не видал «негодяя» с 1946 года, но был уверен, что его можно найти в родовом замке, улица Гримма, на окраине Паркиннгтона. Мечта художника-дантиста продолжала расти. Нога качалась. Взор блистал вдохновением. Мне это будет стоить около шестисот долларов. Он предлагал, что тут же предпримет необходимые измерения, чтобы заготовить предварительный протез. Мой рот был для него волшебной пещерой, полной бесценных сокровищ, но я туда его не пустил.



«Нет», сказал я. «Я передумал. Мне всё это сделает доктор Мольнар. Его цены выше, но как дантист он, конечно, гораздо лучше вас».

Не знаю, доведётся ли когда-нибудь моему читателю сказать такую фразу. Я уже испытал это дивное чувство сонной свободы в разговоре с госпожой Чатфильд. Дядюшка моего Клэра остался сидеть на столе, всё ещё с мечтательным выражением на лице, но нога перестала толкать и качать люльку розового упования. Зато всё слышавшая секретарша, бледная, тощая девица, с трагическими глазами непреуспевших блондинок, кинулась за мной, чтобы успеть бахнуть дверью мне вслед.

Вдавите обойму в рукоятку. Нажимайте, пока не услышите или не почувствуете, как захватило защёлку. Упоительно плотно. Вместимость: восемь патронов. Вороной отлив. Мучительно готов разрядиться.

34

На первой же бензиновой станции в Паркингтоне мне очень ясно объяснили, как добраться до улицы Гримма. Желая быть уверенным, что застану Куильти, я попытался ему позвонить, но выяснилось, что его телефон недавно разъединили. Значило ли это, что он в отъезде? Я направился туда, — его дом находился в двенадцати милях на север от города. К этому времени ночь убрала большую часть ландшафта, и, когда я поехал по узкому извилистому шоссе, чередой призрачно-белых столбиков с рефлекторами стала занимать мой же свет, чтобы указать тот или другой поворот дороги. Можно было смутно различить речную долину с одной стороны и лесистые склоны — с другой; впереди же, как беспризорные снежинки, ночные мотыльки плыли из чёрного мрака в пытливый свет моих фаров. На двенадцатой миле, как и было предсказано, появился диковинный крытый мост, вермонтского образца, который на меня натянулся, как чехол; за ним справа выросла белёная скала, а ещё через несколько саженей я свернул, направо же, по гравийной дороге, которая и была «Улица Гримма». Минуты две-три я ехал по сырому, тёмному, глухому лесу. Наконец, посреди округлой прогалины, вырос замок ужаса, огромный деревянный домище с башней. Окна горели красным и жёлтым огнём, и полдюжины автомобилей запрудило подъездную аллею. Остановившись под прикрытием деревьев и потушив фары, я стал спокойно обдумывать следующий ход. Господина Ку, наверное, окружали его приспешники и гетеры. Поневоле я видел внутренность этого празднично освещённого и необыкновенно запущенного шато, сквозь призму «Тревог Отрочества», повести в одном из Лолитиных журнальчиков, о довольно смутных «оргиях», взрослом злодее с приапической сигарой, наркотиках, телохранителях. По крайней мере, Ку был тут. Ничего, вернусь утром, в час сонной неги.

Я не спеша поехал обратно в Паркингтон, в этом своём старом, преданном Икаре, который так спокойно, так бодро работал для меня. Моя Лолита! Ещё валялась с 1949-го года одна из её заколочек в глубине «перчатного» отделения. Ещё текли бледные бабочки, вытягиваемые из ночи сифоном моего света. Ещё держались, опираясь на костыли, тёмные амбары там и сям вдоль шоссе. Ещё ездили люди смотреть фильмы. В поисках ночлега я проехал мимо драйвина — кино на вольном воздухе. Сияя лунной белизной, прямо-таки мистической по сравнению с безлунной и бесформенной ночью, гигантский экран косо уходил в сумрак дремотных, ни в чём не повинных полей, и на нём узкий призрак поднимал пистолет, растворяясь, как в мыльной воде, при обострявшемся крене удалявшегося мира, и уже в следующий миг ряд тополей скрыл бесплотную жестикуляцию.

35

Я покинул Привал Бессонных Ловцов около восьми утра и провёл некоторое время в городе. Меня преследовала мысль, что палач я неопытный и могу дать маху. Мне, например, подумалось, что, может быть, патроны в обойме выдохлись за неделю бездеятельности; я заменил их новенькими. Дружка я так основательно выкупал в масле, что теперь не мог избавиться от чёрной гадости. Я забинтовал его в тряпку, как искалеченный член, и употребил другую тряпку на то, чтобы запаковать горсть запасных пуль.

По дороге меня настигла гроза, но, когда я доехал до зловещего замка, солнце уже горело, как мужественный мученик, и птицы вопили в промокшей, дымящейся листве. Гости разъехались. Затеиловый и ветхий дом стоял как в чад, отражая собственное моё состояние, ибо я невольно почувствовал, коснувшись ногами пружинистой и непрочной земли, что я переборщил в смысле подкрепления.

Звонку моему отвечала насторожённая ироническая тишина. В открытом гараже, однако, по-хозяйски стоял автомобиль — на этот раз чёрная машина, похожая на лимузин гробовщика. Я попробовал стукнуть

дверным кольцом. Никонько. С нетерпеливым рычанием я толкнул дверь — и о, чудо! Она подалась, как в средневековой сказке. Тихонько затворив её за собой, я прошёл через просторный и весьма некрасивый вестибюль; кинул взгляд в гостиную справа; заметил там несколько употреблённых бокалов, растущих из ковра; решил, что хозяин всё ещё у себя в спальне.

Что ж, поползём наверх. Моя правая рука сжимала в кармане закутанного в тряпку дружка, левая похлопывала по липкой балюстраде. В последней из трёх спален, которые я осмотрел, кто-то явно провёл ночь. Была библиотечная, полная цветов. Была какая-то особая комната, почти без мебели, но с просторными и глубокими зеркалами и белыми медвежьими шкурами на скользком паркете. Были и другие покои. Меня осенила счастливая мысль. Если и когда появится хозяин (пошёл, может быть, погулять для моциона в парке или сидит в потайной норе), следовало бы ввиду моей общей неустойчивости и того, что процесс истребления может затянуться, помешать милому партнёру запереться в той или другой комнате. Посему, в продолжение пяти минут по крайней мере, я ходил — в ясном помешательстве, безумно-спокойный, зачарованный и вдрызг пьяный охотник, — и поворачивал ключи в замках, свободной рукой суя их в левый карман. Дом, будучи старым, давал больше возможности уединения, чем дают современные элегантные коробки, где супружеской паре приходится прятаться в уборную — единственный запирающийся уголок — для скромных нужд планового детопроизводства.

Кстати, об уборных. Я собрался запереть третью спальню, когда хозяин вышел из соседнего клозета, оставив за собой шум краткого каскада. Загиб коридора не мог скрыть меня полностью. С серым лицом, с мешками под глазами, с растрёпанным пухом вокруг плечи, но всё же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих. Он меня либо не заметил, либо принял за недостойную внимания, безвредную галлюцинацию и, показывая свои волосатые икры, прошествовал сомнамбулической походкой вниз по лестнице. Я последовал за ним в вестибюль. Полуоткрыв и рот и входную дверь, он посмотрел в солнечную щель, как человек, которому показалось, что он слышал неуверенного гостя, позвонившего и потом удалившегося. Засим, продолжая игнорировать привидение в дождевике, остановившееся посреди лестницы, милый хозяин вошёл в уютный будуар через холл по другую сторону гостиной. Зная, что он теперь мой, и не желая спешить, я оставил его там и отправился через гостиную и полубар-полукухню, где я брезгливо разбинтовал моего маленького пачкуна, стараясь не наделать масляных пятен на хроме — мне кажется, я употребил не тот продукт, масло было как дёготь и ужасно прилипчивое. Со свойственной мне дотошностью я перевёл обнажённого дружка в чистую нишу — и прошёл через гостиную в холл. Мой шаг был, как я уже отметил, пружинист — может быть, слишком пружинист для успеха дела; но сердце во мне колотилось от хищного веселья, и помню, как хрустнула коктейльная рюмка у меня под ногой.

Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике.

«А я всё думаю, кто вы такой?», заявил он высоким хриплым голосом, глубоко засунув руки в карманы халата и уставясь в какой-то пункт на северо-восток от моей головы. «Вы случайно не Брюстер?»

Теперь было ясно, что он витает в каком-то тумане и находится всецело в моей власти. Я мог позволить себе поиграть этой мышкой.

«Правильно», отвечал я учтиво. «Je suis Monsieur Brust?re[138]. Давайте-ка поболтаем до того, как начать».

Это ему понравилось. Его чёрные, как клякса, усики дрогнули. Я скинул макинтош. Был я весь в чёрном — чёрный костюм, чёрная рубашка, без галстука. Мы опустились друг против друга в глубокие кресла.

«Знаете», сказал он, громко скребя мясистую, шершавую, серую щеку и показывая в кривой усмешке свои мелкие жемчужные зубы, «вы не так уж похожи на Джека Брюстера. Я хочу сказать, что сходство отнюдь не разительное. Кто-то мне говорил, что у него есть брат, который служит в той же телефонной компании».

Затравить его наконец, после всех этих лет раскаяния и ярости... Видеть чёрные волоски на его пухлых руках...

Скользить всю сотней глаз по его лиловым шелкам и косматой груди, предвкушая пробоины и руду, и музыку мук... Знать, что держу его, этого полуодушевленного, получеловеческого шута, этого злодея, содомским способом насладившегося моей душенькой — о, моя душенька, это было нестерпимой отрадой!

«Нет, к сожалению, я не брат Брюстера, — и даже не сам Брюстер».

Он наклонил набок голову с ещё более довольным видом.

«Ну-ка, гадай дальше, шут».

«Прекрасно», сказал шут, «значит, вы не пришли от телефонной компании мне надоедать этими неоплаченными фантастическими разговорами?»

«А вы что, никогда не звоните?»

«Виноват?»

Я сказал, что мне показалось, что он сказал, что он никогда...

«Нет, я говорю о других — о людях вообще. Я не обвиняю именно вас, Брюстер, но, право же, ужасно глупая манера у людей входить в этот дурацкий дом без стука. Они пользуются сортиром, они пользуются кухней, они пользуются телефоном. Антон звонит в Бостон, Мария в Рио. Я отказываюсь платить. У вас странный акцент, синьор».

«Куильти», сказал я, «помните ли вы маленькую девочку по имени Долорес Гейз? Долли Гейз? Долорес в Колорадо? Гейзер в Вайоминге?»

«Да, да, вполне возможно, что это она звонила во все эти места. Но не всё ли равно?»

«Мне не всё равно, Куильти. Дело в том, что я её отец».

«Вздор. Никакой вы не отец. Вы иностранный литературный агент. Один француз перевёл моё „Живое мясо“ как „La Vie de la Chair“ [139]. Какое идиотство!»

«Она была моим ребёнком, Куильти».

В том состоянии, в котором он находился, его невозможно было по-настоящему смутить, но его наскакивающая манера уже становилась менее уверенной. Какая-то тень насторожённого разума затлелась в его глазах, придав им подобие жизни. Впрочем, они сразу опять потускнели.

«Я сам люблю ребятишек», сказал он, «и у меня много друзей среди отцов».

Он отвернулся, ища чего-то. Стал бить себя по карманам. Попытался привстать.

«Куш!», сказал я — по-видимому, гораздо громче, чем хотел.

«Незачем орать на меня», пожаловался он странным бабьим голосом. «Просто ищу папирос. До смерти хочется курить».

«Вам и так недалеко до смерти».

«Эх, бросьте», сказал он. «Мне это начинает надоедать. Чего вам надо? Вы француз, мистер? Вулэ-ву-буар? Перейдемте в барчик и хлопнем...»

Он увидел маленький чёрный пистолет, лежавший у меня на ладони, словно я его предлагал ему.

«Э-э!», протянул он (подражая теперь типу «глупого гангстера» в кино), «какой у вас шикарный пистолетик. За сколько продаёте?»

Я шлёпнул его по протянутой руке, и каким-то образом он сбил шкатулку с низкого столика подле своего кресла. Шкатулка извергла десяток папирос.

«Вот они!», произнёс он весело. «Помните, как сказано у Киплинга: „Une femme est une femme, mais un Caporal est une cigarette“ [140]. Теперь нам нужны спички».

«Куильти», сказал я. «Попробуйте сосредоточиться. Через минуту вы умрёте. Загробная жизнь может оказаться, как знать, вечным состоянием мучительнейшего безумия. Вы выкурили-вашу последнюю папиросу вчера. Сосредоточьтесь. Постарайтесь понять, что с вами происходит».

Он, меж тем, рвал на части папиросу Дромадер и жевал кусочки.

«Я готов постараться», проговорил он. «Вы либо австралиец, либо немецкий беженец. Как это вообще случилось что вы со мной разговариваете? Это дом — арийский, имейте в виду. Вы бы лучше уходили. И прошу вас перестать размахивать этим кольцом. Между прочим, у меня есть старый наган в соседнем зальце».

Я направил дружка на носок его ночной туфли и нажал на гашетку. Осечка. Он посмотрел себе на ногу, на пистолет, опять на ногу. Я сделал новое ужасное усилие, и с нелепо слабым и каким-то детским звуком пистолет выстрелил. Пуля вошла в толстый розоватый ковёр: я обомлел, вообразив почему-то, что она только скатилась туда и может выскочить обратно.

«Ну, кто был прав?», сказал Куильти. «Вам бы следовало быть осторожнее. Дайте-ка мне эту вещь, чорт возьми».

Он потянулся за кольцом. Я пихнул шута обратно в кресло. Густая отрада редела. Пора, пора было уничтожить его, но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению. Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим.

«Сосредоточьтесь», сказал я, «на мысли о Долли Гейз, которую вы похитили...»

«Неправда!» крикнул он. «Вы чушь порете. Я спас её от извращённого негодяя. Покажите мне вашу бляху, если вы сыщик, вместо того, чтобы палить мне в ногу, скотина! Где бляха? Я не отвечаю за чужие растления. Чушь какая! Эта увеселительная поездка была, признаюсь, глупой шуткой, но вы ведь получили девчонку обратно? Довольно пойдёмте, хлопнем по рюмочке».

Я спросил, желает ли он быть казнённым сидя или стоя.

«Это я должен обдумать», ответил он. «Вопрос серьёзный. Между прочим — я допустил ошибку. О которой

весьма сожалею. Я, видите ли, не получил никакого удовольствия от вашей Долли. Как ни грустно, но я, знаете ли, импотент. А кроме того, я ведь устроил ей великолепные каникулы. Она познакомилась в Техасе с замечательными людьми. Вы слышали, например...»

И, неожиданно подавшись вперёд, он навалился на меня, причём мой пистолет полетел под комод. К счастью, он был более порывист, нежели могуч, и я без труда пихнул его обратно в кресло.

Отдышавшись, он сложил руки на груди и сказал:

«Ну вот, доигрались. Vous voilà dans de beaux draps, mon vieux».[141]

Я наклонился. Он не двинулся. Я наклонился ниже.

«Дорогой сэр», сказал он, «перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург. Я написал много трагедий, комедий, фантазий. Я сделал в частном порядке фильмы из „Жюстины“ Сада и других эскапакоостей восемнадцатого века. Я автор пятидесяти двух удачных сценариев. Я знаю все ходы и выходы. Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга, позвольте мне её принести, и с её помощью мы добудем ваше имущество».

Суетливо, деловито, лукаво, он встал снова, пока говорил. Я пошарил под комодом, стараясь одновременно не спускать с него глаз. Вдруг я заметил, что дружок торчит из-под радиатора близ комода. Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя.

В напечатанном виде эта книга читается, думаю, только в начале двадцать первого века (прибавляю к 1935-ти девяносто лет, живи долго, моя любовь); и пожилые читатели, наверное, вспомнят в этом месте «обязательную» сцену в ковбойских фильмах, которые они видели в раннем детстве. Нашей потасовке, впрочем, недоставало кулачных ударов, могущих сокрушить быка, и летающей мебели. Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками. Всё сводилось к безмолвной, бесформенной возне двух литераторов, из которых один разваливался от наркотиков, а другой страдал неврозом сердца и к тому же был пьян. Когда, наконец, мне удалось овладеть своим драгоценным оружием и усадить опять сценариста в его глубокое кресло, мы оба пыхтели, как королю коров и барону баранов никогда не случается пыхтеть после схватки.

Я решил осмотреть пистолет — наш пот мог, чего доброго, в нём что-нибудь испортить — и отдышаться, до того как перейти к главному номеру программы. С целью заполнить паузу, я предложил ему прочитать собственный приговор — в той ямбической форме, которую я ему придумал. Термин «поэтическое возмездие» особенно удачен в данном контексте. Я передал ему аккуратно написанный на машинке листок.

«Ладно», сказал он. «Прекрасная мысль. Пойду за очками» (он попытался встать).

«Нет»

«Как хотите. Читать вслух?»

«Да».

«Поехали. Ага, это в стихах»:

За то, что ты взял грешника врасплох, За то, что взял врасплох, За то, что взял, За то, что взял врасплох мою оплошность... «Ну, это, знаете, хорошо. Чертовски хорошо!»

...Когда нагим Адамом я стоял Перед законом федеральным И всеми жальщими звёздами его — «Прямо великолепно!»

За то, что ты воспользовался этим Грехом моим, когда Беспомощно линиял я, влажный, нежный, Надеюсь на благу перемену, Воображая брак в гористом штате, И целый выводок Лолит... «Ну, это я не совсем понял».

За то, что ты воспользовался этой Основоу невинности моей, За то, что ты обманом — «Чуточку повторяетесь, а? Где я остановился?.. Да».

За то, что ты обманом отнял Возможность искупленья у меня, За то, что взял её В том возрасте, когда мальчишки Играют пушечкой своей... «Так-с, первая сальность».

Она пушистой девочкой была, Ещё носила маковый веночек, Из фунтика ещё любила есть Поджаренные зёрна кукурузы В цветистом мраке, где с коней за деньги Оранжевые падали индейцы, За то, что ты её украл У покровителя её, — А был он величав, с челом как воск... Но ты — ему ты плюнул В глаз под тяжёлым веком, изорвал Его шафрановую тогу, И на заре оставил кабана Валяться на земле в недуге новом, Средь ужаса фиалок и любви, Раскаянья, отчаянья, а ты Наскучившую куклу взял И, на кусочки растащив её, Прочь бросил голову. За это, За всё, что сделал ты, За всё, чего не сделал я, — Ты должен умереть!» «Ну что ж, сэр, скажу без обиняков, дивное стихотворение! Ваше лучшее произведение, насколько могу судить».

Он сложил листок и отдал мне его.

Я спросил его, хочет ли он сказать что-нибудь для него важное перед смертью. Кольт был опять «применим в отношении к персоне». Он посмотрел на него. Он глубоко вздохнул.

«Послушайте, дядя», сказал он. «Вы пьяны, а я больной человек. Давайте отложим это дело. Я нуждаюсь в покое. Я должен пестовать свою импотентность. Сегодня заходят друзья, чтобы везти меня на большой матч. Этот фарс с пальбой из пистолета становится страшно скучным. Мы с вами светские люди во всём — в эротических вкусах, белых стихах, меткой стрельбе. Если вы считаете, что я вас обидел, я готов на необычайные компенсации. Не исключён даже старомодный поединок, на саблях или пистолетах, в Бразилии или другом удобном месте. Моя память и моё красноречие не на высоте нынче, но, право же, мой дорогой господин Гумберт, вы были далеко не идеальным отчимом, и я отнюдь не заставлял вашу маленькую протеже присоединиться ко мне. Это она заставила меня перевезти её в более весёлое прибежище. Сей дом не столь хорошо оборудован, как ранчо, которое мы делили с дорогими друзьями; всё же он просторен, прохладен и летом и зимовал — словом, комфортабелен, а потому — ввиду того, что я собираюсь навсегда уехать на покой в Англию или Флоренцию, — я предлагаю вам поселиться тут. Дом — ваш, бесплатно. При условии, что вы перестанете направлять на меня этот (он отвратительно выругался) пистолет. Между прочим, — не знаю, любите ли вы диковинки, но если любите, могу вам предложить, тоже бесплатно, в качестве домашнего зверька, довольно волнующего маленького монстра, девицу с тремя грудками, одна из которых — прелесть, и вообще — это редкое и очаровательное чудо природы. А теперь — *soyons raisonnables*[142]. Вы меня только гнусно раните и потом будете гнить в тюрьме, меж тем как я буду поправляться в тропической обстановке. Обещаю вам, Брюстер, что вы заживёте здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и всем доходом с моей следующей пьесы, — у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта. Тут есть ещё одно преимущество, а именно — чрезвычайно надёжная и подкупная уборщица, миссис Вибрисса — интересное имя, — которая приходит из деревни два раза в неделю — увы, не сегодня, — у неё есть внуки и внучки, и я кое-что такое знаю о главе местной полиции, что могу им распорядиться как рабом. Я драматург. Меня прозвали американским Метерлинком. Отвечаю на это: Метерлинк-шметтерлинг. Довольно. Всё это очень унижительно, и я не уверен, что поступаю правильно. Избегайте употреблять геркуланиту с ромом. А теперь будьте благоразумным и уберите пистолет. Я как-то познакомился с вашей незабвенной супругой. Весь мой гардероб в вашем распоряжении. Ах, ещё кое-что. Это вам понравится. У меня есть наверху исключительно ценная коллекция эротики. Назову хотя бы роскошный фолиант „Остров Багратиона“ известной путешественницы и психоаналитки Мелании Вейсс — поразительная женщина, поразительный труд — уберите пистолет — со снимками свыше восьмисот мужских органов, которые она осмотрела и измерила в 1932-ом году на острове в Бардинском Море, и весьма поучительными диаграммами, вычерченными с большой любовью под благосклонными небесами — уберите пистолет, — а кроме того, я могу вам устроить присутствие при казнях, не всякий знает, что электрический стул покрашен в жёлтый...»

Я выстрелил. На этот раз пуля попала во что-то твёрдое, а именно в спинку чёрной качалки, стоявшей в углу (и несколько похожей на скиллеровскую), причём она тотчас пришла в действие, закачавшись так быстро и бодро, что человек, который вошёл бы в комнату, был бы изумлён двойным чудом: движением одинокой качалки, ходуном ходящей в углу, и зияющей пустотой кресла, в котором только что находилась моя фиолетовая мишень. Перебирая пальцами поднятых рук, молниеносно крутя крупом, он мелькнул в соседнее зальце, и в следующее мгновение мы с двух сторон тянули друг у друга, тяжело дыша, дверь, ключ от которой я проглядел. Я опять победил, и с ещё большей прытью Кларий Новус сел за рояль и взял несколько уродливо-сильных, в сущности истерических, громовых аккордов: его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряжённо ухали, а ноздри испускали тот судорожный храп, которого не было на звуковой дорожке нашей кинодраки. Продолжая мучительно напевать в нос, он сделал тщетную попытку открыть ногой морского вида сундучок, подле рояля. Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подыматься с табурета всё выше и выше, как в сумасшедшем доме старик Нижинский, как «Верный Гейзер» в Вайоминге, как какой-то давний кошмар мой, на феноменальную высоту, или так казалось, и, разрывая воздух, ещё сотрясаясь от тёмной сочной музыки, откинув голову, с воем, он одну руку прижал ко лбу, а другой схватился за подмышку, как будто его ужалил шершень; после чего спустился опять на землю и опять, приняв образ толстого мужчины в халате, улепетнул в холл.

Вижу, как я последовал за ним через холл, где с какимто двойным, тройным, кенгуровым прыжком, оставаясь стойком на прямых ногах при каждом скачке, сперва за ним следом, потом между ним и парадной дверью, я исполнил напряжённо-упругий танец, чтобы помешать ему выйти, ибо дверь, как во сне, была неплотно затворена.

Опять преобразившись, став теперь величественным и несколько мрачным, он начал подниматься по широкой лестнице — и, переменив позицию, но не подступая близко, я произвёл один за другим три-четыре выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что я это с ним делал, делал эти ужасные вещи, его лицо нелепо дёргалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль; он замедлял шаг, он закатывал полузакрытые глаза, он выпускал женское «ах» и отзывался вздрагиванием на каждое попадание, как если бы я щекотал его, и, пока мои неуклюжие, слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил вполголоса, с нарочито британским произношением, — всё время ужасно дёргаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлечённым, и даже любезным, видом: «Ах, это очень больно, сэр, не надо больше... Ах, это просто невыносимо больно, мой дорогой сэр. Прошу вас, воздержитесь. Ах, до чего больно... Боже мой! Ух! Отвратительно... Знаете, вы не должны были бы...». Его голос замер, когда он долез до площадки, но он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсулями, в которых играл эликсир молодости. Я снова зарядил пустой кольт — чёрными и обагрёнными руками, — тронул что-то, умащённое его густой кровью. Затем я поспешил присоединиться к нему на верхнем этаже.

Он шагал по галерее, окровавленный и важный, выискивая открытое окно, качал головой и всё ещё старался уговорить меня не совершать убийства. Я попытался попасть ему в висок. Он отступил в свою спальню с пурпурным месивом вместо уха.

«Вон, вон отсюда», проговорил он, кашляя и плюя; и с бредовым изумлением я увидел, как этот забрызганный кровью, но всё ещё подвижный человек влезает в постель и заворачивается в хаос простынь и одеял. Я выстрелил в него почти в упор, и тогда он откинулся назад, и большой розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, дорос до величины игрушечного воздушного шара и лопнул.

Возможно, что в течение двух-трёх секунд я потерял связь с действительностью, но это отнюдь не походило на то потемнение рассудка, на которое норовят сослаться обыкновенные преступники; напротив, хочу подчеркнуть, что я ответствен за каждую пролитую каплю его пузырячатой крови; произошёл, однако, некий временной сдвиг: я сидел в супружеской спальне, где в постели лежала больная Шарлотта. Куильти умирал. Вместо пистолета (на котором я сидел) я держал в руках его туфлю. Я очнулся, устроился удобнее в кресле и взглянул на наручные часы. Стекло пропало, но они шли. Вся эта грустная история заняла больше часа. Он наконец затих. Никакого облегчения я не испытывал; наоборот, меня тяготило ещё более томительное бремя, чем то, от которого я надеялся избавиться. Я не мог заставить себя путём прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком случае, на вид он был мёртв: недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью. Руки у меня были не в лучшем виде, чем у него. Я умылся кое-как в смежной ванной. Теперь мне можно было отбыть. Когда я вышел на площадку лестницы, меня ожидал сюрприз: живое жужжание, которое я уже и прежде слышал и принимал за звон в ушах, оказалось смесью голосов и граммофонной музыки, исходившей из нижней гостиной.

Я нашёл там группу только что, видимо, прибывших людей, которые беззаботно распивали хозяйскую водку. В кресле развалился огромный толстяк; две черноволосых, бледных молодых красотики, несомненно сёстры, одна побольше, другая (почти ребёнок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты. Краснощёкий тип с ярко-голубыми глазами как раз принёс им два стакана с чем-то из кухни-бара, где две-три женщины болтали меж собой и звякали кусочками льда. Я остановился в дверях и сказал: «Господа, я только что убил Клэра Куильти». «И отлично сделали», проговорил краснощёкий тип, предлагая при этом напиток старшей из двух красоток. «Кто-нибудь давно бы должен был его укокошить», заметил толстяк. «Что он говорит, Тони?», спросила увядшая блондинка из-под арки бара. «Он говорит», ответил ей краснощёкий, «что он убил Ку». «Что ж», произнёс ещё другой господин, приподнявшись с корточек в углу гостиной, где он перебирал граммофонные пластинки. «Что ж, мы все в один прекрасный день должны бы собраться и это сделать». «Как бы то ни было», сказал Тони, «ему пора бы спуститься. Мы не можем долго ждать, если хотим попасть к началу игры». «Дайте этому человеку чего-нибудь выпить», сказал толстяк. «Хотите пива?», спросила женщина в штанах, показывая мне издали кружку.

Только красотики на тахте, обе в чёрном, молчали; младшая всё потрагивала медальон на белой шейке, но обе молчали, такие молоденькие, такие доступные. Музыка на мгновение остановилась для перемены пластинки, и тут донёсся глухой шум со стороны лестницы. Тони и я поспешили в холл. Куильти, которого я совершенно не ждал, выполз каким-то образом на верхнюю площадку и там тяжело возился, хлопая плавниками; но вскоре, упав фиолетовой кучей, застыл — теперь уже навсегда.

«Поторопись, Ку», смеясь крикнул Тони, и со словами: «По-видимому, после вчерашнего — не так-то скоро...», он вернулся в гостиную, где музыка заглушила остальную часть его фразы.

Вот это (подумал я) — конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжёлым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошёл сквозь петlistый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться.

36

Всё, что за этим следует, — довольно плоско и бледно. Я медленно поехал под гору и через некоторое время спохватился, что это вовсе не дорога в Паркингтон. Макинтош я оставил в будуаре, а дружка в ванной. Нет, это не был тот дом, в котором мне хотелось бы жить. Мелькнула досужая мысль, что, может быть, гениальный хирург изменит собственную карьеру и вместе с нею — как знать — всю судьбу человечества, тем, что воскресит Курилкуильти, Клэра-Дромадера. Мне, в общем, было, всё равно; хотелось забыть всю эту мерзость, — и, когда я впоследствии узнал, что он не ожил, я только одному обрадовался — не придётся, значит, мысленно следить много месяцев за мучительным и отталкивающим процессом его выздоровления, прерываемого всякими неудобосказуемыми ухудшениями и операциями и увенчанного, может быть, моим визитом к нему с целью перевести его воочию в реальность телесности из положения призрака. Апостол Фома был не так глуп. Но не странно ли, что чувство осязания, которое бесконечно менее ценится человеком, чем зрение, не только теряется реже всего, но становится в критические минуты нашим главным, если не единственным, критерием действительности. Я был весь пропитан несчастным Куильти — весь проникнут ощущением нашей борьбы перед кровопролитием.

Шоссе теперь тянулось среди полей. Мне пришло в голову (не в знак какого-нибудь протеста, не в виде символа или чего-либо в этом роде, а просто как возможность нового переживания), что, раз я нарушил человеческий закон, почему бы не нарушить и кодекс дорожного движения? Итак, я перебрался на левую сторону шоссе и проверил — каково? Оказалось, очень неплохо. Этакое приятное таяние под ложечкой со щекоткой «распространённого осязания» плюс мысль, что нет ничего ближе к опровержению основных законов физики, чем умышленная езда не по той стороне, в общем, испытываемый мной прекрасный зуд был очень возвышенного порядка. Тихо, задумчиво, не быстрее двадцати миль в час, я углублялся в странный, зеркальный мир. Движения на шоссе было мало. Редкие автомобили, проезжавшие по им предоставленной мною стороне, оглушительно гудели на меня. Автомобили же, попадавшиеся навстречу, виляли, шарахались и кричали со страху. Вскоре я стал приближаться к более населённым местам. Проезд сквозь красный свет напомнил мне запретный глоток бургундского вина из времён моего детства. Между тем возникали осложнения. За мной следовали, мне сопутствовали. Затем, впереди меня, две патрульных машины расположились таким способом, чтобы совершенно преградить мне дорогу. Плавным движением я свернул с шоссе и, сильно подскочив два-три раза, взъехал вверх по травянистому склону, среди удивлённых коров, и там, тихонько покачиваясь, остановился. Нечто вроде заботливого гегельянского синтеза соединяет тут двух покойников.

Меня сейчас должны были вынуть из автомобиля (прощай, Икар, спасибо за всё, старина!), и я предвкушал удовольствие отдаться в многочисленные руки и ничем не содействовать им, пока они будут нести меня, спокойного, удобно раскинувшегося, лениво всему поддающегося, как пациент, и извлекающего диковинную усладу из собственной вялости и абсолютно надёжной поддержки со стороны полицейских и представителей скорой помощи. И покуда я ждал, чтобы они взбежали ко мне на высокий скат, я вызвал в воображении последний мираж, образ, полный изумления и безнадежности. Как-то раз, вскоре после её исчезновения, приступ отвратительной тошноты заставил меня оставить машину на старой, ползаросшей горной дороге, которая то сопровождала, то пересекала новенькое шоссе и вся пестрела от диких астр, купавшихся в разбавленном тепле бледно-голубого дня в конце лета. После судорог рвоты, вывернувшей меня наизнанку, я сел отдохнуть на валун, а затем, думая, что свежий горный воздух мне пойдёт впрок, прошёл несколько шагов по направлению к низкому каменному парапету на стремнинной стороне шоссе. Мелкие кузнечики прыскали из сухого придорожного бурьяна. Легчайшее облако как бы раскрывало объятия, постепенно близясь к более основательной туче, принадлежавшей к другой, косной, лазурью полузатопленной системе. Когда я подошёл к ласковой пропасти, до меня донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, поднимавшееся, как пар, над горнопромышленным городком, который лежал у моих ног в складке долины. Можно было разглядеть геометрию улиц между квадратами красных и серых крыш, и зелёные дымки деревьев, и змеистую речку, и драгоценный блеск городской свалки, и, за городком, скрещение дорог, разделяющих тёмные и светлые заплаты

полей, а за этим всем — лесистые громады гор. Но даже ярче, чем эти встречные, безмолвно радовавшиеся краски — ибо есть цвета и оттенки, которые с умилением празднуют свои встречи, — ярче и мечтательнее на слух, чем они для глаза, было воздушное трепетание сборных звуков, не умолкавших ни на минуту при восхождении своём к гранитной полке, на которой я стоял, вытирая мерзостный рот. И вдруг я понял, что все эти звуки принадлежат к одному роду и что никаких других звуков, кроме них, не поднимается с улиц прозрачного городка. Читатель! Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей, только из них, и столь хрустелен был воздух, что в мреющем слиянии голосов, и величественных и миниатюрных, отрешённых и вместе с тем волшебно близких, прямодушных и дивно загадочных, слух иногда различал как бы высвободившийся, почти членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты, или грохоток игрушечной тележки, но всё находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог заметить какое-либо движение на тонко вытравленных по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих вспышек отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда мне стало ясно, что пронзительно-безнадёжный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса её нет в этом хоре.

Итак, вот моя повесть. Я перечёл её. К ней пристали кусочки костного мозга, на ней запеклась кровь, на неё садятся красивые ярко-изумрудные мухи. На том или другом завороте я чувствую, как моё склизкое «я» ускользает от меня, уходя в такие глубокие и тёмные воды, что не хочется туда соваться. Я закамуфлировал то, что могло бы уязвить кого-либо из живых. И сам я перебрал немало псевдонимов, пока не придумал особенно подходящего мне. В моих заметках есть и «Отто Отто», и «Месмер Месмер», и «Герман Герман»... но почему-то мне кажется, что мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность.

Когда я начал, пятьдесят шесть дней тому назад, писать «Лолиту», — сначала в лечебнице для психопатов, где проверяли мой рассудок, а затем в сей хорошо отопленной, хоть и порядком похожей на могилу, темнице, — я предполагал, что употреблю полностью мои записки на суде, чтобы спасти, не голову мою, конечно, а душу. Посредине работы, однако, я увидел, что не могу выставить напоказ живую Лолиту. Я, может быть, воспользуюсь кое-чем из моей повести на закрытых заседаниях, но её напечатание приходится отложить.

По причинам, которые могут показаться более очевидными, чем они есть на самом деле, я против смертной казни; к этому мнению присоединятся, надеюсь, мои судьи. Если бы я предстал как подсудимый перед самим собой, я бы приговорил себя к тридцати пяти годам тюрьмы за растление и оправдал бы себя в остальном. Но даже так Долли Скиллер, вероятно, переживёт меня на много лет. Нижеследующее решение принимается мной со всей законной силой и поддержкой подписанного завещания: я желаю, чтобы эти записки были опубликованы только после смерти Лолиты.

Таким образом, ни тебя, ни меня уже не будет в живых к тому времени, когда читатель развернёт эту книгу. Но куда у меня кровь играет ещё в пишущей руке, ты остаёшься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске. Будь верна своему Дику. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими. Надеюсь, что ты будешь любить своего ребёночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться, ибо в противном случае мой призрак его настигнет, как чёрный дым, как обезумелый колосс, и растащит его на части, нерв за нервом. И не жалей К. К. Пришлось выбрать между ним и Г. Г., и хотелось дать Г. Г. продержаться месяца на два дольше, чтобы он мог заставить тебя жить в сознании будущих поколений. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.

— Конец —

О книге, озаглавленной «Лолита»

(Послесловие к американскому изданию 1958-го года)

После моего выступления в роли приятного во всех отношениях Джона Рэя — того персонажа в «Лолите», который пишет к ней «предисловие» — любой предложенный от моего имени комментарий может показаться читателю — может даже показаться и мне самому — подражанием Владимиру Набокову, разбирающему свою книгу. Некоторые мелочи, однако, необходимо обсудить, и автобиографический приём может помочь мимикрирующему организму слиться со своей моделью.

Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К чему стремился автор?» или ещё гаже:



«Что хочет книга сказать?» Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от неё, и которым, когда их просят объяснить её зарождение и развитие, приходится прибегать к таким устаревшим терминам, как Взаимодействие между Вдохновением и Комбинационным Искусством — что звучит, признаюсь, так, как если бы фокусник стал объяснять один трюк при помощи другого.

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьёзный приступ межрёберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне[143] в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то учёного, набросала углём первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решётку клетки, в которой бедный зверь был заключён. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник»[144], в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года[145] (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере, бросился под колёса грузовика. В одну из тех военных времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочёл мой рассказ маленькой группе людей. Моими слушателями были М. А. Алданов[146], И. И. Фондаминский[147], В. М. Зензинов[148] и женщина-врач Коган-Бернштейн[149]; но вещицей я был недоволен и уничтожил её после переезда в Америку, в 1940-ом году.

Девять лет спустя, в университетском городе Итака[150] (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для неё английский язык — язык моей первой петербургской гувернантки (более шестидесяти лет тому назад), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери — в основе своей — тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у неё втайне выросли когти и крылья романа.

Книга подвигалась медленно, со многими переборами. Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней «реальности» (странное слово, которое ничего не значит без кавычек) в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания. Мешала и работа над другими книгами. Раза два я суть было не сжёг недописанного черновика, и помню, как я уже донёс мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казнённой книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней.

Каждое лето мы с женой ездим ловить бабочек. Собранные экземпляры идут в научные институты, как, например, Американский Музей Естественной Истории в Нью-Йорке, или Музей Сравнительной Зоологии при Гарвардском Университете, или Энтомологический Музей Корнельского Университета. На булавку с бабочкой накальвается снизу этикетка с указанием места поймки, даты и имени ловца; эти мои этикетки чрезвычайно пригодятся в двадцать первом веке иному исследователю литературы, заинтересовавшемуся моей малоизвестной биографией. И вот на этих-то местах ловли, или «станциях», в Теллюриде (Колорадо), а Афтоне (Вайоминг), в Портале (Аризона), в Аштоне (Орегон), я опять принялся за «Лолиту», занимаясь ею по вечерам или в дождливые дни. Гумберт Гумберт написал её в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил её только весной 1955-го года в Итаке, жена перестукала её на машинке в трёх экземплярах, и я тотчас стал искать издателя.

Сначала, кротко следуя совету осторожного друга, я думал выпустить роман анонимно. Анаграмма моего имени и фамилии[151] в имени и фамилии одного из моих персонажей — памятник этого скрытого авторства. Вряд ли когда-либо пожалею, что, вскоре поняв, как легко может маска повредить моей же правде, я решил подписать «Лолиту» своим настоящим именем. Четыре американские издателя, Акс, Якс, Экс и Икс, которым по очереди я предложил книгу и чтецы которых кинули на неё взгляд, были возмущены «Лолитой» в гораздо большей мере, чем предполагал мой старый друг. В конце концов я её отправил литературному агентству в Париж; оно передало «Лолиту» совершенно мне неизвестному издательству «Олимпия Пресс», выпускавшему по-английски книги, почему-либо запрещённые в Англии или Америке, и оно-то издало её осенью 1955-го года.

Хотя не подлежит сомнению, что в старину, и до конца восемнадцатого века (примеры из французской

литературы напрашиваются сами собой), откровенная похабщина не исключала комедийных блёсток и мелких сатирических стрел или даже красочной мощи поэта, поддавшегося легкомысленному настроению, не менее справедливо будет сказать, что в наши дни выражение «порнография» означает бездарность, коммерческую прыть и строгое соблюдение клише. Непристойность должна соединяться с банальщиной, ибо всякую эстетическую усладу следует полностью заменить простой половой стимуляцией, требующей применения общепринятых фраз для прямого воздействия на пациента. Порнограф должен строго придерживаться старых испытанных правил, дабы окружить пациента надёжной атмосферой удовлетворения, атмосферой, знакомой и любителям детективных рассказов — в которых, если недосмотреть, настоящим убийцей может оказаться, к великому негодованию любителя, художественное своеобразие автора (кому нужен, например, детективный рассказ без единого диалога?). Таким образом, в порнографических романах действие сводится к совокуплению шаблонов. Слог, структура, образность — ничто не должно отвлекать читателя от его уютного вождления. Такой роман состоит из чередования эротических сцен. Промежуточные же места должны представлять собой лишь смысловые швы, логические мостики простейшей конструкции, краткие параграфы, посвящённые изложению и разъяснению, которые читатель, вероятно, пропустит, но в присутствии которых он должен быть уверен, чтобы не почувствовать себя обманутым (образ мыслей, проистекающий из рутины «всамделишных» сказок, которых мы требуем в детстве). Кроме того, сексуальные сцены в книге непременно должны развиваться крещендо, всё с новыми вариациями, в новых комбинациях, с новыми влагалищами и орудиями, и постоянно увеличивающимся числом участников (в известной пьесе Сада напоследок вызывают из сада садовника), а потому конец книги должен быть наполнен эротическим бытом гуще, чем её начало.

Некоторые приёмы в первых главах «Лолиты» (дневник Гумберта, например) заставили иных моих первых читателей-туристов ошибочно подумать, что перед ними скабрёзный роман. Они ждали нарастающей серии эротических сцен; когда серия прекратилась, чтение прекращалось тоже, и бедный читатель почувствовал скуку и разочарование. Подозреваю, что тут кроется причина того, что не все четыре издательства прочли мой машинописный текст до конца. Меня мало занимает вопрос, нашли ли они или не нашли вещь слишком неприличной. Но интересно то, что их отказ был основан не на обработке темы, а на самой теме, ибо в Америке было тогда целых три неприемлемых для издателя темы. Две других — это чёрно-белый брак, преисполненный безоблачного счастья, с кучей детей и внуков; и судьба абсолютного атеиста, который, после счастливой и полезной жизни, умирает во сне в возрасте ста шести лет.

Некоторые из издательских отзывов меня очень позабавили. Один чтец предложил компромисс, при котором его фирма согласится, быть может, на издание моего романа: мне предлагалось превратить Лолиту в двенадцатилетнего мальчика, которого Гумберт, теннесийский фермер, соблазняет в амбаре, среди мрачных и чахлых равнин, с полувнутренними монологами, состоящими из коротких, сильных, «реалистических» фраз. («Он парень шалый», «Мы все, я думаю, шалые», «Я думаю, сам Господь Бог — шалый» и тому подобное.) Несмотря на то, что давно известна моя ненависть ко всяким символам и аллегориям (ненависть, основанная отчасти на старой моей вражде к шаманству фрейдизма и отчасти на отвращении к обобщениям, придуманным литературными мифоманами и социологами), один во всех других смыслах умный читатель, перелистав первую часть «Лолиты», определил её тему так: «Старая Европа, развращающая молодую Америку», — между тем как другой чтец увидел в книге «Молодую Америку, развращающую старую Европу». Издатель Якс, чьим советникам Гумберт так осточертел, что они прочли только половину книги, имел наивность написать, что вторая часть слишком длинна. Издатель Экс выразил сожаление, что в романе нет ни одного хорошего человека. Издатель Икс сказал, что если он напечатает «Лолиту», мы оба с ним угодим в тюрьму.

В свободной стране ни один настоящий писатель не должен, конечно, заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность. Поистине комическое задание! Я могу дивиться, но не могу подражать точности глаза фотографов, так снимающих хороших молодых млекопитающих для журнальных картинок, что граница декольте приходится как раз достаточно низко, чтобы ослабилась филистер, и как раз достаточно высоко, чтобы не нахмурился почтмейстер. Полагаю, что существуют читатели, которые разгораются от одного вида заборных слов в одном из тех огромных, безнадежно пошлых романов, которые выстукиваются на машинке тупым первым пальцем бездарнейшего молодца и которые болван рецензент приветствует ходульной хвалой. Найдутся, я знаю, светлые личности, которые признают «Лолиту» книгой бессмысленной, потому что она не поучительна. Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики, и, чего бы ни плёл милый Джон Рэй, «Лолита» вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали. Для меня рассказ или роман существует, только постольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черёд, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то,

где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, случайность, восторг) есть норма. Всё остальное — это либо журналистическая дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подаётся в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предостережениями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну. Обвиняли «Лолиту» и в антиамериканизме. Это меня огорчает гораздо больше, чем идиотский упрёк в безнравственности. Движимый техническими соображениями, заботами о воздушной глубине и перспективе (тут пригородный газон, там горная поляна), я соорудил некоторое количество североамериканских декораций. Мне необходима была вдохновительная обстановка. Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности. Но в смысле мещанской вульгарности нет никакой коренной разности между бытом Старого Света и бытом Нового. Любой пролетарий из Чикаго может быть так же буржуазен (во Флоберовом смысле), как любой английский лорд. Я выбрал американские «мотели» вместо швейцарских гостиниц или французских харчевен только потому, что стараюсь быть американским писателем и намерен пользоваться правами, которыми пользуются американские писатели. С другой стороны, мною изобретённый Гумберт — иностранец и анархист; и я с ним расхожусь во многом — не только в вопросе нимфеток. А кроме того, как знают мои эмигрантские читатели, некогда мною построенные площади и балконы — русские, английские, немецкие, французские — столь же прихотливы и субъективны, как мой новый макет.

Не хочу, чтобы вышесказанное звучало как отголосок каких-то обид, и спешу добавить, что, кроме овечек, читавших «Лолиту» в типоскрипте[152] или в издании «Олимпии» и вопрошавших, «почему, собственно, он это написал?» или «почему мы должны читать о маниаке?», было немало людей разумных, отзывчивых и стойких, понявших внутреннее устройство моей книги значительно лучше, чем сам я могу её объяснить.

Мне кажется, что всякий настоящий читатель продолжает ощущать связь с напечатанной книгой в виде постоянного успокоительного её присутствия. Она ровно горит, как вспомогательный огонёк газа где-то в подвале, и малейшее прикосновение к тайному нашему термостату немедленно производит маленький глухой взрыв знакомого тепла. Это присутствие книги, святящейся в неизменно доступном отдалении, удивительно задушевное чувство, и чем точнее книга совпала с её умозрительными очертаниями и красками, тем полнее и ровнее её свет. Но как бы книга не удалась в целом, есть у автора, там и сям, любимые места, заветные закоулки, которые он вспоминает живее и которыми задним числом наслаждается с большей нежностью, чем остальными частями книги. Я не перечитывал «Лолиты» с тех пор, как держал корректуру первого издания, почти два года тому назад, но её очарование всё присутствует, как бы окружая дом утренней скромной дымкой, за которой чувствуется игра летнего дня. И когда я вспоминаю «Лолиту», я всегда почему-то выбираю для особого своего услаждения такие образы, как учтивый Таксович, или классный список учеников Рамздельской школы, или Шарлотта, произносящая «уотерпруф», или Лолита, как на замедленной плёнке подступающая к подаркам Гумберта, или фотографии, украшающие стилизованную мансарду Гастона Годэна, или Касбимский парикмахер (обошедший мне в месяц труда), или Лолита, лупящая в теннис, или госпиталь в Эльфинстоне, или бледная, брюхатая, невозвратимая Долли Скиллер и её смерть в Грэй Стар, «серой звезде», столице книги, или, наконец, соборный звон из городка, глубоко в долине, доходящей вверх до горной тропы (а именно в Теллуриде, где я поймал неоткрытую ещё тогда самку мной же описанной по самцам голубянки *Lycæides sublivens Nabokov*[153]).

Вот нервная система книги. Вот тайные точки, подсознательные координаты её начертания — хотя, с другой стороны, я вполне отдаю себе отчёт в том, что и эти и другие места лишь бегло просмотрит, или пропустит, или никогда их не достигнет, тот читатель, который приступит к моей книге, думая, что это нечто вроде «Мемуаров Куртизанки» или «Любовных приключений Кулебякина». Мой роман содержит немало ссылок на физиологические позывы извращённого человека — это отрицать не могу. Но в конце концов мы не дети, не безграмотные малолетние преступники и не питомцы английского закрытого среднеучебного заведения, которые после ночи гомосексуальных утех должны мириться с парадоксальным обычаем разбирать древних поэтов в «очищенных» изданиях.

Только очень тёмный читатель изучает беллетристическое произведение для того, чтобы набраться сведений о данной стране, социальном классе или личности автора. Однако один из моих немногих близких друзей, прочитав «Лолиту», был искренно обеспокоен тем, что я (я!) живу «среди таких нудных людей», меж тем как единственное неудобство, которое я действительно испытываю, происходит от того, что живу в мастерской, среди неподшедших конечностей и недоделанных торсов.

Другой американский критик недавно выразил мысль, что «Лолита» представляет собой отчёт о моём «романе с

романтическим романом». Замена последних слов словами «с английским языком» уточнила бы эту изящную формулу. Но тут чувствую, как вкрадывается в мой голос слишком крикливая нотка. Никто из моих американских друзей не читал моих русских книг, а потому всякая оценка, основанная на моей английской беллетристике, не может не быть приблизительной. Личная моя трагедия — которая не может и не должна кого-либо касаться — это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стеснённого, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишённого в моём случае всей той аппаратуры — каверзного зеркала, чёрно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций, — которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебным образом воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов.

12-го ноября, 1956-го года,  
Корнельский Университет,  
Итака, США.

#### Постскриптум к русскому изданию

Научная добросовестность побудила меня сохранить в русском тексте последний параграф вышеприведённого американского послесловия, несмотря на то, что он может только ввести в заблуждение русского читателя, не помнящего, или не понимавшего, или вообще никогда не читавшего книг «В. Сирина», которые выходили за границей в двадцатых и тридцатых годах. Американскому читателю я так страстно твержу о превосходстве моего русского слога над моим слогом английским, что иной славист может и впрямь подумать, что мой перевод «Лолиты» во сто раз лучше оригинала. Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн. История этого перевода — история разочарования. Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, всё ждёт меня где-то, цветёт, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку.

Утешаюсь, во-первых, тем, что в неуклюжести предлагаемого перевода повинен не только отвыкший от родной речи переводчик, но и дух языка, на который перевод делается. За полгода работы над русской «Лолитой» я не только убедился в пропаже многих личных безделушек и невозстановимых языковых навыков и сокровищ, но пришёл и к некоторым общим заключениям по поводу взаимной переводимости двух изумительных языков.

Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, всё нежно-человеческое (как ни странно!), а также всё мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговорённости, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — всё это, а также всё относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зелёным русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но ещё недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пёстрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Всё дыхание человечества в этом сочетании слов.

Библиографические сведения, приведённые в послесловии к американскому изданию (Путнам, 1958), можно теперь пополнить. Первое издание с обильными опечатками, вышедшее в двух томиках в Париже (Олимпия Пресс, 1955), покупалось довольно вяло американскими туристами, пока не попало на глаза Грэхаму Грину, отозвавшемуся о книге с похвалой в одной лондонской газете[154]. На него и на «Лолиту» обрушился в другой лондонской газете реакционный фельетонист, некто Джон Гордон[155], и его-то добродетельный ужас привлек к «Лолите» всеобщее внимание. Что же касается её судьбы в Соединённых Штатах, то следует отметить, что она там никогда не была запрещена (как до сих пор запрещена в некоторых странах). Первые экземпляры парижского издания «Лолиты», выписанные частными лицами, были задержаны и прочтены на американской таможне, но неизвестный друг-читатель, служивший там, признал мою «Лолиту» легальной литературой, и экземпляры были отправлены по адресам. Это разрешило сомнения осторожных американских издателей, и я уже мог выбирать между ними наиболее мне подходящего. Успех путнамского издания (1958) превзошёл, как говорится, все ожидания. Парадоксальным образом, однако, первое английское издание, вышедшее в Париже

ещё в 1955 году, вдруг оказалось под запретом. Я часто спрашиваю себя, как поступил бы я в те дни, когда начались переговоры с «Олимпия Пресс», если бы мне тогда стало известно, что наряду с печатанием талантливых, хотя и вольных, произведений главный свой доход издатель получал от им заказываемых продажным ничтожеством пошлых книжонок совершенно того же сорта, как предлагаемые на тёмных углах снимки монашки с сенбернаром или матроса с матросом. Как бы то ни было, английские таможенники давно уже отнимали, в суровом и трезвом тумане возвращений с каникул, эту порнографическую дрянь — в таких же травянистого цвета обложках, как моя «Лолита». Теперь же английский министр внутренних дел попросил своего французского коллегу, столь же невежественного, сколь услужливого, запретить в продаже весь список изданий «Олимпии», и в течение некоторого времени «Лолита» в Париже разделяла судьбу заборных изданий «Олимпии».

Между тем нашёлся лондонский издатель, пожелавший напечатать её. Дело совпало с обсуждением нового закона о цензуре (1958—59 г.) причём «Лолита» служила аргументом и для либералов и для консерваторов. Парламент выписал из Америки некоторое количество экземпляров, и члены ознакомились с книгой. Закон был принят, и «Лолита» вышла в Лондоне, в издательстве Вайденфельда и Никольсона, в 1959-ом году. Одновременно Галлимар в Париже подготовил её издание на французском языке, — и незадачливое первое английское издание «Олимпия Пресс», деловито и возмущённо оправляясь, опять появилось в киосках. С тех пор «Лолита» переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу её только что разрешили в Австралии, но она всё ещё запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появилась она и в пуританских странах за железным занавесом. Из всех этих переводов я отвечаю, в смысле точности и полноты, только за французский, который я сам проверил до напечатания. Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а ещё яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, «перемещённая дама», недавно научившаяся английскому языку, или американец, который «брал» русский язык в университете. Вопрос же — для кого, собственно, «Лолита» переводится — относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный ли или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы «Лолиту». Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии. Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках[156] или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами[157], мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принёс советскому правительству столько добротной иностранной валюты.

Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга — или, скажем ещё скромнее, одна из лучших моих английских книг — была правильно переведена на мой родной язык. Это — прихоть библиофила, не более. Как писатель, я слишком привык к тому, что вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания — какие уж тут советские издания «Лолиты»! Как переводчик я не тщеславен, равнодушен к поправкам знатоков и лишь тем горжусь, что железной рукой сдерживал демонов, подбивавших на пропуски и дополнения. Как читатель я умею размножаться бесконечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал своими двойниками, представителями, статистами и теми наёмными господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает публике убедиться в отсутствии обмана. Но что мне сказать насчёт других, нормальных читателей? В моём магическом кристалле[158] играют радуги, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролёра-поэта из советской страны, гримёра путешествующей группы, трёх польских или сербских делегатов в многозеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву.

Владимир Набоков  
7-го ноября 1965 г.  
Палермо

Примечания

...двойное название... — Подзаголовок произведения пародирует названия английских «исповедальных» порнографических романов XVIII в., например широко известную в странах английского языка книгу Джона Клееланда «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех, рассказанные Джоном Клееландом» (1749). Вместе с тем он, возможно, отсылает нас к одному из вероятных аллюзивных подтекстов «Лолиты» — сборнику эссе и рассказов французского поэта-символиста Поля Верлена «Записки вдовца» (1883—1884; русск. пер. 1911). В одном из рассказов поэт с умилением описывает свою 11-летнюю дочь, но в финале выясняется, что его дочь «никогда не существовала и, вероятно, уже никогда не родится». Верлен, как полагает А. Долинин, занимает особое место среди исторических лиц и литературных персонажей, с которыми отождествляет себя Гумберт Гумберт, в силу того, что он представляет собой пример «больного гения»: кутила, дебошир, гомосексуалист, пьяница, наркоман и сифилитик, Верлен создал стихи высочайшего класса; к тому же он стрелял в своего «злого гения» Артюра Рембо, отсидел два года в тюрьме, в заключении обратился к христианству и написал цикл покаянных стихов. Обратим внимание на то, что в «Предисловии» и самой «исповеди» сходным образом охарактеризованы обстоятельства, в которых она писалась. А. Аппель также отмечает, что термин «светлокожий вдовец» (white widowed male) встречается в историях болезни пациентов психиатрических клиник.

«Гумберт Гумберт» — Если фамилию Гумберт (Humbert) прочесть на французский манер, то она может восприниматься как омоним слова ombre (тень). Вместе с тем она омонимична испанскому слову hombre (человек). Используемое удвоение — Гумберт Гумберт — может пониматься как «тень человека» (ombre of an hombre), ведь к моменту опубликования своей книги повествователь уже мёртв. Кроме того, здесь можно усмотреть намёк на мрак наваждения и непонимания истинного положения вещей, в котором пребывает главный герой. Добавим также, что Г. Г., как и любой другой повествователь у Набокова, может рассматриваться как тень автора.

Вивиян Дамор-Блок — анаграмма имени и фамилии писателя. Добавленное в русской версии «Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей» намекает на роль, которую сыграла поэзия А. Блока в становлении Набокова-поэта. В тексте в дальнейшем обнаруживаются аллюзии на Блока. В английской версии любовницу Куильти зовут Vivian Darkbloom. Она же «является» автором примечаний к роману Набокова «Ада».

...историческое решение, принятое... судьёй Джоном Вульси... — Суд под председательством нью-йоркского судьи Джона М. Вульси вынес решение, снявшее запрет на издание в США романа Джеймса Джойса «Улисс» как произведения будто бы порнографического и оскорбляющего общественную нравственность, что послужило прецедентом для пересмотра законов о печати.

Биянка Шварцман — Контраст чёрного и белого цветов (от bianco — белый (итал.) и schwarz — чёрный (нем.)) соответствует представлению писателя о том, что для школы психоанализа, пародирование которой — одна из сквозных тем романа, характерно упрощённое, примитивизированное видение и истолкование мира. В первоиздании имеется два варианта написания этого имени: «Биянка» и «Бианка».

Джон Рэй — Это имя появляется не случайно, ибо, как указал ещё А. Аппель, его носил английский натуралист (1627—1705), который создал систему классификации насекомых, основанную на принципе метаморфоза.

7

Мой дорогой папочка

8

Несчастные, роман В. Гюго

9

Человеческая красота

10

Госпожа Р.

11

®Холодное питьё из шоколада.

12

Двух Мартышек

13

«Дитя прелестное и коварное» (мнимая цитата)

14

Костюм

15

Повиливание

16

Сто

17

Ничего не поделаешь

18

Подарочек

19

Восемнадцать

20

Да, это нехорошо

21

Хитёр был, кто изобрёл этот фокус

22

Как мило ты это сказал

23

Перед тем как ляжем

24

Куплю себе чулки

25

Мадмуазель Эдита

26

Полубуйтесь-ка на эту красивую брюнетку

27

Свои деньги

28

Похлёбка

29

Девчонкой

30

Парижская Вечорка

31

Улица Бонапарта

32

Кто же он?

33



Jean-Christophe, — весьма посредственный роман Р. Ролана

34

Прошу прощения... Могу-ли я...

35

Кто есть Что в свете Рампы

36

Сборники рассказов

37

Анналы Взрослой Психофизики

38

Полярные Исследования

39

Господин доктор (нем.)

40

Новооткрытая звезда

41

Незрелый плод

42

Эти серенькие, такие мягкие утра...

43

Продолжайте, продолжайте!

44

Берта Большая-Нога (мать Карла Великого)

45

Прямо ничего

46

Мой дорогой, дорогой господин (неправильно по-французски)

47

Уезжайте! (неправильно по-французски)

48

Мой милый

49

Ночной страх

50

Пытка сильная и тяжёлая

51

Ну и словечко

52

Небольшое внимание

53

Дружок

54

Решать буду я

55

Не тут-то было

56

С синяками под глазами

57

Затем?

58

Это наконец всё?

59

Наконец одни

60

Великий момент

61

Наверняка так уже наверняка (нем.)

62

Как говорится

63

Между нами говоря

64

Спящая красотка или смешной кавалер (название гравюры)

65

Малютка

66

Гримаска

67

Случайное обнажение

68

Моя дорогая Долорес!

69

Как вы хорошо знаете, моя прекрасная

70

Вот и всё

71

Что называется «Диксиланд» (пошлое название южных штатов)

72

Увеселительная прогулка

73

Причина существования

74

Ни с того, ни с сего

75

Лицо, сделанное для пощёчин

76

Искоса (исподтишка, потихоньку) подглядывавшую

77

Ноя предаюсь бредням

78

С томными глазами

79

Темноволосый подросток

80

Корчится

81

Неловкий ангел

82

Весьма приличного вида господин

83

В полном соку

84

Ещё бодрый старец

85

Иметь определённое жилище или занятие

86

Девчонка

87

Любитель непристойных зрелищ

88

Мои вкусы

89

Да, они миленькие

90

Возьмите-ка одну из этих груш. Их мн даёт моя добрая соседка, живущая напротив, в таком количестве, что я не могу всеми ими полакомиться.

91

Миссис Тэйлор только-что подарила мне эти георгины — красивые цветы, которых я не терплю.

92

Шах королю!

93

А все ваши дочери — они хорошо поживают?

94

В грязной истории

95

Не показывайте ляжек

96

Венерическая лихорадка

97

Мой бедный друг, мне уж не доведётся когда-либо вас увидеть опять; вряд ли вы прочтёте мою книгу, но всё-таки разрешите сказать вам, что я очень крепко жму вашу руку и что все мои дочери кланяются вам.

98

С фальшиво-покаянной ужимочкой

Я всегда восхищался ормондским шедевром великого Дублинца (намёк на Джойса)

100

Сговорено?

101

Которая не спешила

102

Переселившийся горец

103

Тигр из поэмы Гольдсмита

104

Разомлевший от любовной истомы

105

Промах

106

Саркастический смех

107

Набалдашник трости

108

Малолетние балерины

109

Будем рассуждать логично

110

Соединённые Штаты

111

Король Эльфов («Лесной царь»)

112

Я принял это за счёт, а не за любовную записку.

113

Здравствуй, малышка!

114

Ты меня не любишь больше, моя Кармен?

115

Прекрасная дама вся в синем

116

Где-то, где-нибудь

117

Синий корабль

118

Пьяная птица

119

Парень

120

Исчезнувшая Долорес

121

Как это всё было далёко

122

А я предлагавший тебе свой гений

123

Зелёное Солнце

124

Намедни вечером от стужи оперной арии она слегла.Надтреснутый звук — «как тот глуп, кто ей вверится»Идёт снег, декорация валится, Лолита!Лолита, что я сделал с твоей жизгью?

125

Воспоминание, воспоминание, чего ты хочешь от меня?

126

Маленькая нимфа, присевшая на корточки (гравюра)

127

Мои окна

128

Знаете, моя малютка в десять лет была от вас без ума?

129

Мой великий, лучезарный грех

130

Переменим жизнь, моя Кармен, заживём где-нибудь, где никогда не разлучимся. (из «Кармен» Меримэ)

131

Кармен, хочешь уехать со мной?

132

Приданое

133

Мой маленький подарок

134

Карменсита, спросил я её

135

Но я любил тебя, любил тебя!

136

Тысяча ужимок

137

Проснитесь! Пора умирать.

138

Я — господин Брюстер.



139

Жизнь плоти

140

Женщина — это женщина, но Капрал — это сорт папиросы.

141

В хорошеньком вы теперь положении, старина.

142

Будем разумны

143

...связан с газетной статейкой об обезьяне... — Похоже на мистификацию, так как никому из исследователей такую заметку обнаружить не удалось.

144

...рассказ, озаглавленный «Волшебник»... — Вопреки этому высказыванию Набокова, рукопись «Волшебника» была найдена и опубликована.

145

...писал романы с 1924-го года... — Первый роман Набокова «Машенька» написан в Берлине осенью 1925 г.

146

Алданов Марк Александрович (псевдоним; наст. фам. Ландау, 1889—1957) — русский писатель-эмигрант, писавший в основном исторические романы. Набоков поддерживал с ним многолетние дружеские отношения.

147

Фондаминский Илья Исидорович (псевдоним И. Бунаков, 1880—1942) — публицист, религиозный писатель, один из редакторов журнала «Современные записки», активный деятель партии эсеров. Взгляды Фондаминского были чужды Набокову, но он относился к тому с уважением.

148

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — соредактор «Современных записок», близкий друг И. Фондаминского.

149

Коган-Бернштейн — женщина-врач, которая лечила Набокова.

150

...в университетском городе Итака... — В этом городе находится Корнельский университет, где Набоков вёл занятия по русской и мировой литературе с 1948 по 1959 г.

151

Анаграмма моего имени и фамилии... — Вивиан Дамор-Блок.

152

типоскрипт — машинописная копия.

153

...в Теллуриде, где я поймал не открытую тогда самку... голубянки *Lyscaides sublivens Nabokov*. — Об этой своей находке Набоков написал специальную энтомологическую работу (1952). Эта бабочка была поймана им рядом с городом Лолита, штат Колорадо.

154

...Грэхаму Грину... в одной лондонской газете — Грэм Грин назвал набоковскую «Лолиту» в газете «The Sunday Times» одной из трёх лучших книг года.

155

...некто Джон Гордон... — редактор газеты «The Sunday Express», на страницах которой он подверг суровой критике с морализаторских позиций и Набокова, и Грэма Грина.

156

...картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках... — Это сказано, разумеется, о «Тихом Доне» М. Шолохова.

157

...лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами... — Набоков невысоко ценил роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» и считал его неуклюжим и мелодраматическим произведением.

158

В моём магическом кристалле... — отсылка к последним строкам «Евгения Онегина»:  
«...И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
Ещё не ясно различал».